

Николай Ульянов

Происхождение украинского сепаратизма

Введение

Особенность украинского самостийничества - в том, что оно ни под какие из существующих учений о национальных движениях не подходит и никакими "железными" законами не объяснимо. Даже национального угнетения, как первого и самого необходимого оправдания для своего возникновения, у него нет. Единственный образец "угнетения" - указы 1863 и 1876 гг., ограничивавшие свободу печати на новом, искусственно создававшемся литературном языке - не воспринимались населением как национальное преследование. Не только простой народ, не имевший касательства к созданию этого языка, но и девяносто девять процентов просвещенного малороссийского общества состояло из противников его легализации. Только ничтожная кучка интеллигентов, не выражавшая никогда чаяний большинства народа, сделала его своим политическим знаменем. За все 300 лет пребывания в составе Российского Государства, Малороссия-Украина не была ни колонией, ни "порабощенной народностью".

Когда-то считалось само собой разумеющимся, что национальная сущность народа лучше всего выражается той партией, что стоит во главе националистического движения. Ныне украинское самостийничество дает образец величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее древним традициям и культурным ценностям малороссийского народа: оно подвергло гонению церковнославянский язык, утвердившийся на Руси со времен принятия христианства, и еще более жестокое гонение воздвигнуто на общерусский литературный язык, лежавший в течение тысячи лет в основе письменности всех частей Киевского Государства, во время и после его существования. Самостийники меняют культурно-историческую терминологию, меняют традиционные оценки героев событий прошлого. Все это означает не понимание и не утверждение, а искоренение национальной души. Истинно национальное чувство приносится в жертву сочиненному партийному национализму.

Схема развития всякого сепаратизма такова: сначала якобы пробуждается "национальное чувство", потом оно растет и крепнет, пока не приводит к мысли об отделении от прежнего государства и создании нового. На Украине этот цикл совершался в обратном направлении. Там сначала обнаружилось стремление к отделению, и лишь потом стала создаваться идейная основа, как оправдание такого стремления.

В заглавии настоящей работы не случайно употреблено слово "сепаратизм" вместо "национализма". Именно национальной базы не хватало украинскому самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, вненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценности и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Если для грузин, армян, узбеков этой проблемы не существует, по причине ярко выраженного их национального облика, то для украинских самостийников главной заботой все еще остается доказать отличие украинца от русского. Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропологических, этнографических и лингвистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили "двумя русскими народностями" (Костомаров), потом - двумя разными славянскими народами, а позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами, русские же отнесены к монголам, к туркам, к азиатам. Ю. Щербакивскому и Ф. Вовку доподлинно стало известно, что русские представляют собою потомков людей ледникового периода, родственных лопарям, самоедам и вогулам, тогда как украинцы - представители переднеазиатской круглоголовой расы, пришедшей из-за Черного моря и осевшей на местах, освобожденных

русскими, ушедшими на север вслед за отступающим ледником и мамонтом {1}. Высказано предположение, усматривающее в украинцах остаток населения тонувшей Атлантиды.

И это обилие теорий, и лихорадочное культурное обособление от России, и выработка нового литературного языка не могут не бросаться в глаза и не зарождать подозрения в искусственности национальной доктрины.

В русской, особенно эмигрантской, литературе существует давнишняя тенденция объяснять украинский национализм исключительно воздействием внешних сил. Особенное распространение получила она после первой мировой войны, когда вскрылась картина широкой деятельности австро-германцев по финансированию организаций, вроде "Союза Вызvolения Украины", по организации боевых дружин ("Сичевые Стрельцы"), воевавших на стороне немцев, по устройству лагерей-школ для пленных украинцев.

Д. А. Одинец, погрузившийся в эту тему и собравший обильный материал, был подавлен грандиозностью немецких планов, настойчивостью и размахом пропаганды в целях насаждения самостийничества {2}. Вторая мировая война явила еще более широкое полотно в этом смысле.

Но с давних пор историки, и среди них такой авторитет, как проф. И. И. Лаппо, обратили внимание на поляков, приписывая им главную роль в создании автономистского движения.

Поляки, в самом деле, по праву могут считаться отцами украинской доктрины. Она заложена ими еще в эпоху гетманщины. Но и в новые времена их творчество очень велико. Так, самое употребление слов "Украина" и "украинцы" впервые в литературе стало насаждаться ими. Оно встречается уже в сочинениях графа Яна Потоцкого {2а}.

Другой поляк, гр. Фаддей Чацкий, тогда же вступает на путь расового толкования термина "украинец". Если старинные польские анналисты, вроде Самуила Грондского, еще в XVII веке выводили этот термин из географического положения Малой Руси, расположенной на краю польских владений ("Margo enim polonice kraj; inde Ukraina quasi provincia ad fines Regni posita") {3}, то Чацкий производил его от какой-то никому кроме него не известной орды "укров", вышедшей якобы из-за Волги в VII веке {4}.

Поляков не устраивала ни "Малороссия", ни "Малая Русь". Примириться с ними они могли бы в том случае, если бы слово "Русь" не распространялось на "москалей".

Внедрение "Украины" началось еще при Александре I, когда, опоялав Киев, покрывши весь правобережный юго-запад России густой сетью своих поветовых школ, основав польский университет в Вильно и прибрав в руки открывшийся в 1804 году харьковский университет, поляки почувствовали себя хозяевами умственной жизни малороссийского края.

Хорошо известна роль польского кружка в харьковском университете, в смысле пропаганды малороссийского наречия, как литературного языка. Украинскому юношеству внушалась мысль о чуждости общерусского литературного языка, общерусской культуры и, конечно, не забыта была идея нерусского происхождения украинцев {5}.

Гулак и Костомаров, бывшие в 30-х годах студентами Харьковского университета, подверглись в полной мере действию этой пропаганды. Ею же подсказана и идея всеславянского федеративного государства, провозглашенная ими в конце 40-х годов. Знаменитый "панславизм", вызывавший во всей Европе яростную брань по адресу России, был на самом деле не русского, а польского происхождения. Князь Адам Чарторыйский на посту руководителя русской иностранной политики открыто провозгласил панславизм одним из средств возрождения Польши.

Польская заинтересованность в украинском сепаратизме лучше всего изложена историком Валерианом Калинкой, понявшим бессмысленность мечтаний о возвращении юга России под польское владычество. Край этот потерян для Польши, но надо сделать так, чтобы он был потерян и для России {5а}. Для этого нет лучшего средства, чем поселение розни между южной и северной Русью и пропаганда идеи их национальной обособленности. В этом же духе составлена и программа Людвиг Мерославского, накануне польского восстания 1863 года.

"Вся агитация малороссианизма - пусть перенесется за Днепр; там обширное пугачевское поле для нашей запоздавшей числом Хмельничины. Вот в чем состоит вся наша панславистическая и коммунистическая школа!... Вот весь польский герценизм!" {6}.

Не менее интересный документ опубликован В. Л. Бурцевым 27 сентября 1917 г., в газете "Общее Дело" в Петрограде. Он представляет записку, найденную среди бумаг секретного архива примаса униатской Церкви А. Шептицкого, после занятия Львова русскими войсками. Записка составлена в начале первой мировой войны, в предвидении победоносного вступления австро-венгерской армии на территорию русской Украины. Она содержала несколько предложений австрийскому правительству на предмет освоения и отторжения от России этого края. Намечалась широкая программа мероприятий военного, правового, церковного порядка, давались советы по части учреждения гетманства, формирования сепаратистски настроенных элементов среди украинцев, придания местному национализму казацкой формы и "возможно полного отделения украинской Церкви от русской".

Пикантность записки заключается в ее авторстве. Андрей Шептицкий, чьим именем она подписана, был польский граф, младший брат будущего военного министра в правительстве Пилсудского. Начав свою карьеру австрийским кавалерийским офицером, он, впоследствии, принял монашество, сделался иезуитом и с 1901 по 1944 г. занимал кафедру львовского митрополита. Все время своего пребывания на этом посту он неустанно служил делу отторжения Украины от России под видом ее национальной автономии. Деятельность его, в этом смысле, один из образцов воплощения польской программы на востоке.

Программа эта начала складываться сразу же после разделов. Поляки взяли на себя роль акушерки при родах украинского национализма и няньки при его воспитании.

Они достигли того, что малороссийские националисты, несмотря на застарелые антипатии к Польше, сделались усердными их учениками. Польский национализм стал образцом для самого мелочного подражания, вплоть до того, что сочиненный П. П. Чубинским гимн "Ще не вмерла Украина" был неприкрытым подражанием польскому: "Jeszcze Polska ne zginiea".

Картина этих более чем столетних усилий полна такого упорства в энергии, что не приходится удивляться соблазну некоторых историков и публицистов объяснить украинский сепаратизм одним только влиянием поляков {7}.

Но вряд ли это будет правильно. Поляки могли питать и взращивать эмбрион сепаратизма, самый же эмбрион существовал в недрах украинского общества. Обнаружить и проследить его превращение в видное политическое явление - задача настоящей работы.

Запорожское казачество.

Когда говорят о "национальном угнетении", как о причине возникновения украинского сепаратизма то либо забывают, либо вовсе не знают, что появился он в такое время, когда не только москальского гнета, но самих москалей на Украине не было. Он существовал уже в момент присоединения Малороссии к Московскому Государству, и едва ли не первым сепаратистом был сам гетман Богдан Хмельницкий, с именем которого связано воссоединение двух половин древнего русского государства. Не прошло и двух лет со дня присяги на подданство царю Алексею Михайловичу, как в Москву стали поступать сведения о нелояльном поведении Хмельницкого, о нарушении им присяги. Проверив слухи и убедившись в их правильности, правительство вынуждено было послать в Чигирин окольного Федора Бутурлина и думного дьяка Михайлова, дабы поставить на вид гетману неблаговидность его поведения. "Обещал ты гетман Богдан Хмельницкий со всем войском запорожским в святой Божией церкви по непорочной Христовой заповеди перед святым Евангелием, служить и быть в подданстве и послушании под высокой рукой его царского величества и во всем ему великому государю добра хотеть, а ныне слышим мы, что ты желаешь добра не его царскому величеству, а Ракоцию и, еще хуже, соединились вы с неприятелем великого государя Карлом Густавом, королем шведским, который с помощью войска запорожского его царского величества, отторгнул многие города польские. И ты гетман оказал пособие шведскому королю без соизволения великого государя, забыл страх Божий и свою присягу перед святым Евангелием" {8}.

Хмельницкого упрекали в своеволии, в недисциплинированности, но не допускали еще мысли об отложении его от Московского Государства. А между тем, ни Бутурлин, ни бояре, ни Алексей Михайлович не знали, что имели дело с двоеданником, признававшим над собой власть двух государей, факт этот стал известен в XIX веке, когда историком Н. И. Костомаровым найдены были две турецкие грамоты Мехмет-Султана к Хмельницкому, из которых видно, что гетман, отдавшись под руку царя московского, состоял в то же время подданным султана турецкого. Турецкое подданство он принял еще в 1650 году, когда ему послали из Константинополя "штуку златоглаву" и кафтан, "чтобы вы с уверенностью возложили на себя этот кафтан, в том смысле, что вы теперь стали нашим верным данником" {9}.

Знали об этом событии, видимо, лишь немногие приближенные Богдана, в то время, как от казаков и от всего народа малороссийского оно скрывалось. Отправляясь в 1654 году в Переяславль на раду, Хмельницкий не отказался от прежнего подданства и не снял турецкого кафтана, надев поверх него московскую шубу.

Через полтора с лишним года после присяги Москве, султан шлет новую грамоту, из которой видно, что Богдан и не думал порывать с Портой, но всячески старался представить ей в неверном свете свое соединение с Москвой. Факт нового подданства он скрыл от Константинополя, объяснив все дело, как временный союз, вызванный трудными обстоятельствами. Он по-прежнему просил султана считать его своим верным вассалом, за что удостоился милостивого слова и заверение в высоком покровительстве.

Двоедушие Хмельницкого не представляло чего-нибудь исключительного; вся казачья старшина настроена была таким же образом. Не успела она принести присягу Москве, как многие дали понять, что не желают оставаться ей верными. Во главе нарушивших клятву оказались такие видные люди, как Богун и Серко. Серко ушел в Запорожье, где стал кошевым атаманом, Богун, уманский полковник и герой Хмельничины, сложив присягу, начал мутить все Побужье.

Были случаи прямого уклонения от присяги. Это касается, прежде всего, высшего духовенства, враждебно относившегося к идее соединения с Москвой. Но и запорожцы, вовсе не высказывавшие такой вражды, вели себя не лучше. Когда Богдан окончательно решил отдаться царю, он запросил мнение Сечи, этой метрополии казачества. Сечевики ответили письмом, выразившим их полное согласие не переход "всего малороссийского народа, по обеим сторонам Днепра живущего, под протекцию великодержавнейшего и пресветлейшего монарха российского". И после того, как присоединение состоялось и Богдан прислал им в Сечь списки с жалованных царских грамот, запорожцы выражали радость по поводу "закрепления и подтверждения превысоким монархом стародавних прав и вольностей войска малороссийского народа"; они воздавали "хвалу и благодарность Пресвятой Троице и поклоняемому Богу и нижайшее челобитствие пресветлейшему государю". Когда же дошло до присяги этому государю, запорожцы притихли и замолчали. Покрывая их, гетман всячески успокаивал московское правительство, уверяя, что "запорожские казаки люди малые, и то из войска переменные, и тех в дело почитать нечего". Только с течением времени Москве удалось настоять на их присяге {10}.

Когда началась война с Польшей и соединенное русско-малороссийское войско осаждало Львов, генеральный писарь Выговский уговаривал львовских мещан не сдавать города на царское имя. Представителю этих мещан Кушевичу, отказавшемуся от сдачи, переяславский полковник Тетеря шепнул по латыни "вы постоянны и благородны".

Сам Хмельницкий к концу войны сделался крайне неприветлив со своими коллегами - царскими воеводами; духовник его, во время молитвы, когда садились за стол, перестал поминать царское имя, тогда как полякам, с которыми воевали, старшина и гетман оказывал знаки приязни. После войны они решились на открытое государственное преступление, нарушив заключенный царем виленский договор с Польшей и вступивши в тайное соглашение с шведским королем и седмиградским князем Ракочи о разделе Польши. Двенадцать тысяч казаков было послано на помощь Ракочи {11}. Все три года, что Хмельницкий находился под московской властью, он вел себя как человек, готовый со дня на день сложить присягу и отпасть от России.

Приведенные факты имели место в такое время, когда царской администрации на Украине не существовало, и никакими насилиями она не могла восстановить против себя малороссов. Объяснение может быть одно: в 1654 году

существовали отдельные лица и группы, шедшие в московское подданство неохотно, и думавшие о том, как бы скорей из него выйти.

Объяснение столь любопытного явления надлежит искать не в малороссийской истории, а в истории днепровского казачества, игравшего руководящую роль в событиях 1654 года. Вообще, истоки украинского самостийничества невозможно понять без обстоятельного экскурса в казачье прошлое. Даже новое имя страны "Украина" пошло от казачества. На старинных картах, территории с надписью "Украина" появляются впервые в XVII веке, и если не считать карты Боплана, надпись эта всегда относится к области поселения запорожских казаков. На карте Корнетти 1657 г., между "Bassa Volinia" и "Podolia" значится по течению Днепра "Ukraine passa de Cosacchi". На голландской карте конца XVII века то же самое место обозначено: "Ukraine of t. Land der Cosacken".

Отсюда оно стало распространяться на всю Малороссию. Отсюда же распространились и настроения положившие начало современному самостийничеству. Далеко не все понимают роль казачества в создании украинской националистической идеологии. Происходит это, в значительной степени, из-за неверного представления о его природе. Большинство почерпает свои сведения о нем из исторических романов, песен, преданий и всевозможных произведений искусства. Между тем, облик казака в поэзии мало сходен с его реальным историческим обликом.

Он выступает там в ореоле беззаветной отваги, воинского искусства, рыцарской чести, высоких моральных качеств, а главное – крупной исторической миссии: он борец за православие и за национальные южно-русские интересы. Обычно, как только речь заходит о запорожском казаке, встает неотразимый образ Тараса Бульбы, и надобно глубокое погружение в документальный материал, в исторические источники, чтобы освободиться от волшебства гоголевской романтики.

На запорожское казачество с давних пор установилось два прямо противоположных взгляда. Одни усматривают в нем явление дворянско-аристократическое – "лыцарское". Покойный Дм. Дорошенко, в своей популярной "Истории Украины з малюнками", сравнивает запорожскую Сечь со средневековыми рыцарскими орденами. "Тут постепенно выработалась, – говорит он, – особая воинская организация наподобие рыцарских братств, что существовали в Западной Европе". Но существует другой, едва ли не более распространенный взгляд, по которому казачество воплощало чаяния плебейских масс и было живым носителем идеи народовластия с его началами всеобщего равенства, выборности должностей и абсолютной свободы.

Эти два взгляда, не примиренные, не согласованные между собой, продолжают жить по сей день в самостийнической литературе. Оба они не казачьи, и даже не украинские. Польское происхождение первого из них не подлежит сомнению. Он восходит к XVI веку, и встречается впервые у польского поэта Папроцкого. Наблюдая панские междоусобия, грызню магнатов, забвение государственных интересов и весь политический разврат тогдашней Польши, Папроцкий противопоставляет им свежую, здоровую, как ему казалось, среду, возникшую на окраинах Речи Посполитой. Это – среда русская, казацкая. Погрязшие во внутренних распрях поляки, по его словам, и не подозревали, что много раз были спасены от гибели этим окраинным русским рыцарством, отражавшим, подобно крепостному валу, напор турецко-татарской силы. Папроцкий восхищается его доблестью, его простыми крепкими нравами, готовностью постоять за веру, за весь христианский мир [12]. Произведения Папроцкого были не реалистическим описанием, а поэмами, вернее памфлетами. В них заложена та же тенденция, что и в "Германии" Тацита, где деморализованному, вырождающемуся Риму противопоставляется молодой, здоровый организм варварского народа.

В той же Польше, начинают появляться сочинения, описывающие блестящие воинские подвиги казаков, сравнить с которыми можно только подвиги Гектора, Диомеда или самого Ахилла. В 1572 году вышло сочинение панов Фредро, Ласицкого и Горецкого, описывающее похождение казаков в Молдавию под начальством гетмана Ивана Свирговского. Каких только чудес храбрости там не показано! Сами турки говорили взятым в плен казакам: "В целом королевстве польском нет подобных вам воинственных мужей!". Те скромно возражали: "Напротив, мы самые последние, нет нам места между своими, и потому мы пришли сюда, чтобы или пасть со славою, или воротиться с военной добычей".

Все попавшие к туркам казаки носят польские фамилии: Свирговский, Козловский, Сидорский, Янчик, Копытский, Решковский. Из текста повествования видно, что все они шляхтичи, но с каким-то темным прошлым; для одних разорение, для других провинности и преступления были причиной ухода в казаки. Казацьи подвиги рассматриваются ими, как средство восстановления чести: "или пасть со славою, или воротиться с военною добычею". Потому они и расписаны так авторами, которые сами могли быть соратниками Свирговского {13}. Еще П. Кулиш заметил, что сочинение их продиктовано менее высокими мотивами, чем поэмы Папроцкого. Они преследовали цель реабилитации провинившихся шляхтичей и их амнистии. Подобные сочинения, наполненные превознесением храбрости дворян ушедших в казаки, наделяли рыцарскими чертами и все казачество. Литература эта, без сомнения, рано стала известна запорожцам, способствуя распространению среди них высокого взгляда на свое общество. Когда же "реестровые" начали, в XVII веке, захватывать земли, превращаться в помещиков и добиваться дворянских прав, популяризация версии об их рыцарском происхождении приобрела особенную настойчивость. "Летопись Грабянки", "Краткое описание о казацком малороссийском народе" П. Симоновского, труды Н. Маркевича и Д. Бантш-Каменского, а также знаменитая "История Русов" – наиболее яркие выражения взгляда на шляхетскую природу казачества.

Несостоятельность этой точки зрения вряд ли нуждается в доказательстве. Она попросту выдумана и никакими источниками, кроме фальшивых, не подтверждается. Мы не знаем ни одного проверенного документа, свидетельствующего о раннем запорожском казачестве, как о самобытной военной организации малороссийской шляхты. Простая логика отрицает эту версию. Будь казаки шляхтичами с незапамятных времен, зачем бы им было в XVII и XVIII веках добиваться шляхетского звания? К тому же, Литовская Метрика, русские летописи, польские хроники и прочие источники дают в достаточной мере ясную картину происхождения подлинного литовско-русского дворянства, чтобы у исследователей мог возникнуть соблазн вести его генезис от запорожцев.

Еще труднее сравнивать запорожскую Сечь с рыцарским орденом. Ордена хоть и возникли, первоначально, за пределами Европы, но всем своим существом связаны с нею. Они были порождением ее общественно-политической и религиозной жизни, тогда как казачество рекрутировалось из элементов вытесненных организованным обществом государств европейского востока. Возникло оно не в гармонии, а в борьбе с ними. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против Ислама и католичества разбивается об исторические источники. Наличие в Сечи большого количества поляков, татар, турок, армян, черкесов, мадяр и прочих выходцев из не православных стран не свидетельствует о запорожцах, как ревнителях православия.

Данные, приведенные П. Кулишем, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого – главы Ислама. С крымскими же татарами, этими "врагами креста Христова", казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкуче ходили на польские и на московские украины.

Современники отзывались о религиозной жизни днепровского казачества с отвращением, усматривая в ней больше безбожия, чем веры. Адам Кисель, православный шляхтич, писал, что у запорожских казаков "нет никакой веры" и то же повторял униатский митрополит Рутский. Православный митрополит и основатель киевской духовной академии – Петр Могила – относился к казакам с нескрываемой враждой и презрением, называя их в печати "ребелизантами". Сравнить сечевую старшину с капитулом, а кошевого атамана с магистром ордена – величайшая пародия на европейское средневековье. Да и по внешнему виду, казак походил на рыцаря столько же, сколько питомец любой восточной орды. Тут имеются в виду не столько баранья шапка, оселедец и широкие шаровары, сколько всякое отсутствие шаровар. П. Кулиш собрал на этот счет яркий букет показаний современников, вроде оршанского старосты Филиппа Кмиты, изображавшего в 1514 году черкасских казаков жалкими оборванцами, а французский военный эксперт Дальрак, сопровождавший Яна Собесского в знаменитом походе под Вену, упоминает о "дикой милиции" казацкой, поразившей его своим невзрачным видом.

Уже от начала XIII века сохранилось любопытное описание одного из

казацких гнезд, своего рода филиала Сечи, составленное московским попом Лукьяновым. Ему пришлось посетить Хвастов – стоянку знаменитого Семена Палея и его вольницы:

"Вал земляной, по виду не крепок добре, да сидельцами крепок, а люди в нем что звери. По земляному валу ворота частые, а во всяких воротах копаны ямы, да солома постлана в ямы. Там палеевина лежит человек по двадцати, по тридцати; голы что бубны без рубах нагие страшны зело. А когда мы приехали и стали на площади, а того дня у них случилось много свадеб, так нас обступили, как есть около медведя; все казаки палеевина, и свадьбы покинули; а все голудьба безпорточная, а на ином и клочка рубахи нет; страшны зело, черны, что арапы и лихи, что собаки: из рук рвут. Они на нас стоя дивятся, а мы им и втрое, что таких уродов мы отроду не видали. У нас на Москве и в Петровском кружале не скоро сыщешь такого хочь одного" {14}.

Сохранился отзыв о палеевцах и самого гетмана Мазепы. По его словам, Палей "не только сам повседневным пьянством помрачаясь, без страха Божия и без разума живет, но и гультайство также единонравное себе держит, которое ни о чем больше не мыслит, только о грабительстве и о крови невинной".

Запорожская Сечь, по всем дошедшим до нас сведениям, недалеко ушла от палеевского табора – этого подобия "лицарських орденів, що існували в західній Європі".

Что касается легенды демократической, то она – плод усилий русско-украинских поэтов, публицистов, историков XIX века, таких как Рылеев, Герцен, Чернышевский, Шевченко, Костомаров, Антонович, Драгоманов, Мордовцев. Воспитанные на западно-европейских демократических идеалах, они хотели видеть в казачестве простой народ ушедший на "низ" от панской неволи и унесший туда свои вековые начала и традиции. Не случайно, что такой взгляд определился в эпоху народничества и наиболее яркое выражение получил в статье "О казачестве" ("Современник", 1860 г.) где автор ее, Костомаров восставал против распространенного взгляда на казаков, как на разбойников, и объяснял казачье явление "последствием идей чисто демократических".

Костомаровская точка зрения живет до сих пор в СССР. В книге В. А. Голобуцкого "Запорожское казачество" {15} казаки представлены пионерами земледелия, распахивателями целины в Диком поле. Автор видит в них не воинское, а хлебопашеское, по преимуществу, явление. Но его аргументация, рассчитанная на непосвященную читательскую массу, лишена какой либо ценности для исследователей. Он часто прибегает к недостойным приемам, вроде того, что хозяйство реестровых казаков XVII века выдает за дореестровый период казачьего быта и не стесняется зачислять в казаки неказачьи группы населения, мещан, например. Кроме того, он совершенно уклонился от возражения на труды и публикации, не согласные с его точкой зрения.

Когда Костомаров, вместе с Белозерским, Гулаком, Шевченко, основал в Киеве, в 1847 году, "Кирилло-Мефодиевское Братство", он написал "Книги бытия украинского народу" – что-то вроде политической платформы, где казацкое устройство противопоставлялось аристократическому строю Польши и самодержавному укладу Москвы.

"Не любила Украина ни царя, ни пана, скомпонувала собі козацтво, есть то истее братство, куды кожный пристаючи був братом других, чи вин був преж того паном, чи невольником, аби христианин, и були козаки миж собою вси равни и старшины выбиравались на ради и повинни були слугувати всим по слову христовому, и жадной помпи панской и титула не було миж козаками".

Костомаров приписывал казакам высокую миссию:

"Постановило козацтво виру святую обороняти и визволяти ближних своих з неволи. Тим то гетман Свирговский ходив обороняти Волощину, и не взяли козаки миси з червонцами, як им давали за услуги, не взяли тим, що кровь проливали за виру та за ближних и служили Богу, а не идолу золотому" {16}.

Костомаров в тот период был достаточно невежественен в украинской истории. Впоследствии он хорошо узнал, кто такой был Свирговский и зачем ходил в Валахию. Но в эпоху Кирилло-Мефодиевского Братства авантюрная грабительская экспедиция польских шляхтичей легко сошла у него за крестовый поход и за служение "Богу, а не идолу золотому".

По Костомарову, казаки несли Украине такое подлинно демократическое устройство, что могли осчастливить не одну эту страну, но и соседние с нею.

Приблизительно так же смотрел на запорожскую Сечь М. П. Драгоманов. В казачьем быту он видел общинное начало и даже склонен был называть Сечь

"коммуной". Он не мог простить П. Лаврову, что тот в своей речи на банкете, посвященном 50-летию польского восстания 1830 г., перечислив наиболее яркие примеры революционно-демократического движения (Жакерия, Крестьянская война в Германии, Богумильство в Болгарии, Табориты в Чехии) – не упомянул "Товариства (коммуны) Запорожского" {16а}. Драгоманов полагал, что Запорожье "самый строй таборами заимствовало от чешских таборитов, которым ходили помогать наши Волынцы и подоляне XV века". Одной из прямых задач участников украинифильского движения Драгоманов считал обязанность "отыскивать в разных местах и классах населения Украины воспоминания о прежней свободе и равноправности". (Он включил это в качестве особого пункта в "Опыт украинской политико-социальной программы", выпущенной им в 1884 г. в Женеве. Там, популяризации казачьего самоуправления в эпоху Гетманщины и, особенно, "Сечи и вольностей товариства запорожского" – придается исключительное значение. "Программа" требует от поборников украинской идеи всемирно их пропагандировать "и подводить их к теперешним понятиям о свободе и равенстве у образованных народов" {17}).

Это вполне объясняет широкое распространение подобного взгляда на запорожское казачество, особенно среди "прогрессивной" интеллигенции. Она его усвоила в результате энергичной пропаганды деятелей типа Драгоманова. Без всякой проверки и критики, он был принят всем русским революционным движением. В наши дни он нашел выражение в тезисах ЦК КПСС по случаю 300-летия воссоединения Украины с Россией:

"В ходе борьбы украинских народных масс против феодально-крепостнического и национального гнета, – говорится там, – а также против турецко-татарских набегов, была создана военная сила в лице казачества, центром которого в XVI веке стала Запорожская Сечь, сыгравшая прогрессивную роль в истории украинского народа".

Составители тезисов проявили значительную осторожность, ни о коммунизме казачьем, ни о свободе и равенстве не упоминают – оценивают казачество исключительно, как военную силу, но "прогрессивную роль" его отмечают в соответствии с традиционной украинифильской точкой зрения.

Между тем, историческая наука давно признала неуместность поисков "прогресса" и "демократии" в таких явлениях прошлого, как Новгородская и Псковская республики, или Земские Соборы Московского Государства. Их своеобразная средневековая природа мало имеет общего с учреждениями нового времени. Тоже старое казачество. Объективное его изучение разрушило как аристократическую, так и демократическую легенды. Сам Костомаров, по мере углубления в источники, значительно изменил свой взгляд, а П. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Обращение к нему и по сей день обязательно для всякого, кто хочет понять истинную сущность казачества.

Демократия в наш век расценивается не по формальным признакам, а по ее общественно-культурной и моральной ценности. Равенство и выборность должностей в общине, живущей грабежом и разбоем, никого не восхищают. Не считаем мы также достаточным для демократического строя одного только участия народа в решении общих дел и выборности должностей. Ни древняя, античная, ни новейшая демократия не мыслили этих начал вне строгой государственной организации и твердой власти. Господства толпы никто сейчас с понятием народовластия не сблизает. А запорожским казакам *именно государственного начала и не доставало*. Они воспитаны были в духе отрицания государства. К своему собственному войсковому устройству, которое могло бы рассматриваться, как прообраз государства, у них существовало мало почтительное отношение, вызывавшее всеобщее удивление иностранцев. Популярнейший и сильнейший из казачьих гетманов – Богдан Хмельницкий – немало терпел от своевольства и необузданности казаков. Все, кто бывал при дворе Хмельницкого, поражались грубому и панибратскому обхождению полковников со своим гетманом. По словам одного польского дворянина, московский посол, человек почтенный и обходительный, часто принужден был опускать в землю глаза. Еще большее возмущение вызвало это у венгерского посла. Тот, несмотря на радушный прием, оказанный ему, не мог не вымолвить по-латыни: "Занесло меня к этим диким зверям!" {18}.

Казачество не только гетманский престиж ни во что не ставили, но и самих гетманов убивали с легким сердцем. В 1668 г. под Диканькой они убили левобережного гетмана Брюховецкого. Правда, это убийство было совершено по приказу его соперника Дорошенко, но когда тот выкатил несколько бочек горелки, казаки, подвыпив, надумали убить к вечеру и самого Дорошенко. Приемник Брюховецкого, Демьян Многогрешный, признавался:

"Желаю прежде смерти сдать гетманство. Если мне смерть приключится, то у казаков такой обычай - гетманские пожитки все разнесут, жену, детей и родственников моих нищими сделают; да и то у казаков бывает, что гетманы своею смертью не умирают; когда я лежал болен, то казаки собирались все пожитки мои рознести по себе" {19}.

К "розносу" гетманских пожитков казаки готовы были в любую минуту. Сохранилось описание банкета, данного Мазепой в шведском стане в честь прибывших к нему запорожцев. Подвыпив, запорожцы начали тянуть со стола золотую и серебряную посуду, а когда кто-то осмелился указать на неблаговидность такого поведения, то был тут же прирезан.

Если такой стиль царил в эпоху Гетманщины, когда казачество пыталось создать что-то похожее на государственное управление, то что было в сравнительно ранние времена, особенно в знаменитой Сечи? Кошевых атаманов и старшину поднимали на щит или свергали по капризу, либо под пьяную руку, не предъявляя даже обвинения. Рада верховный орган управления - представляла собой горластое неорганизованное собрание всех членов "братства". Боярин В. В. Шереметев, взятый татарами в плен и проживший в Крыму много лет, описывал в одном письме к царю Алексею Михайловичу свое впечатление от татарского Курултая или, как он его называет, "Думы". "А дума бусурманская похожа была на раду казацкую; на что хан и ближние люди приговорят, а черные кртовые люди не захотят, и то дело никакими мерами сделано не будет". На необычайное засилье самовольной толпы жалуются все гетманы. Казачество, по словам Мазепы, "никогда никакой власти и начальства над собой иметь не хочет". Казачья "демократия" была на самом деле охлократией.

Не здесь ли таится разгадка того, почему Украина не сделалась в свое время самостоятельным государством? Могли ли его создать люди, воспитанные в антигосударственных традициях? Захватившие Малороссию "казаченки" превратили ее как бы в огромное Запорожье, подчинив весь край своей дикой системе управления. Отсюда частые перевороты, свержения гетманов, интриги, подкопы, борьба друг с другом многочисленных группировок, измены, предательства и невероятный политический хаос, царивший всю вторую половину XVII века. Не создав своего государства, казаки явились самым неуживчивым элементом и в тех государствах, с которыми связывала их историческая судьба.

Объяснения природы казачества надо искать не на Западе, а на Востоке, не на почве удобренной римской культурой, а в "диком поле", среди тюрко-монгольских орд. Запорожское казачество давно поставлено в прямую генетическую связь с хищными печенегам, половцами и татарами, бушевавшими в южных степях на протяжении чуть не всей русской истории. Осевшие в Приднепровьи и известные чаще всего, под именем Черных Клобуков, они со временем христианизировались, обрусели и положили начало, по мнению Костомарова, южнорусскому казачеству. Эта точка зрения получила сильное подкрепление в ряде позднейших изысканий, среди которых особенным интересом отличается исследование П. Голубовского. Согласно ему, между степным кочевым миром и русской стихией не было в старину той резкой границы, какую мы себе обычно представляем. На всем пространстве от Дуная до Волги, "лес и степь" взаимно проникали друг друга, и в то время как печенег, торки и половцы оседали в русских владениях, сами русские многочисленными островками жили в глубине тюркских кочевий. Происходило сильное смешение кровей и культур. И в этой среде, по мнению Голубовского, уже в киевскую эпоху стали создаваться особые воинственные общины, в составе которых наблюдались как русские, так и кочевые инородческие элементы. Основываясь на известном "Codex Samanicus" конца XIII века, Голубовский самое слово "казак" считает половецким, в смысле стража передового, дневного и ночного {20}.

Толкований этого слова много и выводилось оно всегда из восточных языков, но прежние исследователи сопровождали свои утверждения аргументацией и соответствующими лингвистическими выкладками. Только В. А. Голобуцкий, автор недавно вышедшей работы о запорожском казачестве, отступил от этой хорошей академической традиции. Отметив тюркское его происхождение и

истолковав, как "вольного человека", он ничем не подкрепил своего открытия. Не трудно заметить руководившее им желание – закрепить филологически за словом "казак" то значение, которое придавалось ему в националистической публицистике и поэзии XIX века.

Некоторые исследователи идут дальше Голубовского и ищут следов казачества в скифских и в сарматских временах, когда на нашем юге подвизались многочисленные ватаги, добывавшие пропитание грабежами и набегами. Степь искони дышала разбоем, хищничеством и той особой вольностью, которую так трудно отождествить с современным понятием свободы. Наиболее яркую печать наложила на казачество самая близкая к нему по времени, татарская эпоха степной истории. Давно обращено внимание на тюркско-татарское происхождение казачьей терминологии. Слово "чабан", например, означающее пастуха овец, заимствовано от татар. От них же заимствовано и слово "атаман", производное от "одаман", означающее начальника чабанов сводного стада. Сводное же стадо составляли десять соединенных стад, по тысяче овец в каждом. Такое стало называлось "кхощ". Казачье "кош" (становище, лагерь, сборное место) и "кошевой атаман" вышли из этого степного лексикона. Оттуда же "курень" и "куренный атаман". "Значение куреня, – по словам Рашид-Дина, – таково: когда в поле кибитки во множестве стоят кругом в виде кольца, то называют это КУРЕНЬ".

Объяснить проникновение в среду днепровских казаков тюрко-монгольской кочевой терминологии не так уж трудно, ввиду близости Крыма. Но наиболее вероятным ее источником были казаки же, только не свои русские, а татарские. Представление о казачестве как специально русском явлении до такой степени распространено у нас и в Европе, что о существовании иноплеменных казачьих скопищ редко кому известно. Между тем, Дон и Запорожье были, надо думать, младшими братьями и учениками казаков татарских.

На существование татарских казаков имеется множество указаний. Оставляя в стороне вопрос о большой Казахской орде за Каспием, которую некоторые историки, как Быкадоров и Эварницкий, ставят в родственную связь со всем казацким миром, мы ограничимся более близкой нам территорией – Причерноморьем.

В 1492 г. хан Менгли-Гирей писал Ивану III, что войско его, возвращаясь из под Киева с добычей, было ограблено в степи "ордынскими казаками". Об этих ордынских или "азовских" казаках-татарах неоднократно пишут русские летописцы со времен Ивана III, характеризуя их, как самых ужасных разбойников, нападавших на пограничные города и чинивших необычайные препятствия при сношениях Московского Государства с Крымом. "Поле не чисто от азовских казаков", читаем мы постоянно в донесениях послов и пограничных воевод государю. Татарские казаки, так же как русские, не признавали над собой власти ни одного из соседних государей, хотя часто поступали к ним на службу. Так, отряды татарских казаков состояли на службе у Москвы, не гнушалась ими и Польша. Известно, по крайней мере, что король Сигизмунд-Август призывал к себе белгородских (аккерманских) и перекопских казаков и посылал им сукно на жалованье. Но чаще всех привлекал их себе на помощь крымский хан, имевший постоянно в составе своих войск крупные казачьи отряды. Разбойничая на пространстве между Крымом и московской Украиной, татарские казаки были в военном, бытовом и экономическом отношении самостоятельной организацией, так что польские летописцы, зная четыре татарские орды (заволжскую, астраханскую, казанскую, перекопскую), причисляли к ним, иногда, пятую – казацкую {21}.

Надо ли после этого ходить далеко на Запад в поисках образца для запорожской Сечи? Истинной школой днепровской вольницы была татарская степь, давшая ей все от воинских приемов, лексикона, внешнего вида (усы, чуб, шаровары), до обычаев, нравов и всего стиля поведения. Прославленные морские походы в Туреччину выглядят совсем не патриотическим и не благочестивым делом. Сами, украинофилы прошлого века знали, что казаки "розбивали по Черному морю христианске купецтво заодно с бесурменским, а дома плиндровали руськи свои городи татарским робом" {22}.

"Были в Швеции казаки запорожские, числом 4.000, пишет одна польская летопись, – над ними был гетманом Самуил Кошка, там этого Самуила и убили. Казаки в Швеции ничего доброго не сделали, ни гетману, ни королю не пособили, только на Руси Полоцку великий вред сделали, и город славный Витебск опустошили, золота и серебра множество набрали, мещан знатных рубили

и такую содомию чинили, что хуже злых неприятелей или татар".

Под 1603 годом повествуется о походе казаков под начальством некоего Ивана Куцки в Боркулабовской и Шупенской волостях, где они обложили население данью в деньгах и натуре.

"В том же году в городе Могилеве Иван Куцка сдал гетманство, потому что в войске было великое своевольство: что кто хочет, то делает. Приехал посланец от короля и панов радных, напоминал, грозил казакам, чтоб они никакого насилия в городе и по селам не делали. К этому посланцу приносил один мещанин на руках девочку шести лет, прибитую и изнасилованную, едва живую; горько, страшно было глядеть: все люди плакали, Богу Создателю молились, чтобы таких своевольников истребил навеки. А когда казаки назад на Низ поехали, то великие убытки селам и городам делали, женщин, девиц, детей и лошадей с собою брали; один казак вел лошадей 8, 10, 12, детей 3, 4, женщин или девиц 4 или 3" {23}.

Чем эта картина отличается от вида крымской орды возвращающейся с ясырем из удачного набега? Разница может быть, та, что татары своих единоверцев и единоплеменников не брали и не продавали в рабство, тогда как для запорожских "лыцарей" подобных тонкостей не существовало.

Школа Запорожья была не рыцарская и не трудовая крестьянская. Правда, много крепостных мужиков бежало туда, и много было поборников идеи освобождения селянства от крепостного права. Но принесенные извне, эти идеи замирали в Запорожье и подменялись другими. Не они определяли образ Сечи и общий тонус ее жизни. Здесь существовали свои вековые традиции, нравы и свой взгляд на мир. Попадавший сюда человек переваривался и переталкивался, как в котле, из малоросса становился казаком, менял этнографию, менял душу. В глазах современников, как отдельные казаки, так и целые их объединения, носили характер "добычников". "Жен не держат, землю не пашут, питаются от скотоводства, звериной ловли и рыбного промысла, а в старину больше в добычах, от соседственных народов получаемых, упражнялись" {24}. Казакование было особым методом добывания средств к жизни, и тот же Папроцкий, воспевавший казаков, как рыцарей, признается в одном месте, что в низовьях Днепра "сабля приносила больше барышей, чем хозяйство". Именно поэтому в казачество шли не одни простолюдины, но и шляхта, подчас из очень знатных родов. Насколько возвышенными были их цели и устремления, видно из случая с знаменитым Самуилом Заборовским. Отправляясь в Запорожье, он мечтал о походе с казаками на московские пределы, но явившись в Сечь и ознакомившись с обстановкой, меняет намерение и предлагает поход в Молдавию. Когда же татары приходят с дружеским предложением идти совместно грабить Персию, он охотно соглашается и на это. Запорожские мораль и нравы хорошо были известны в Польше: коронный гетман Ян Замойский, обращаясь к провинившимся шляхтичам, выставлявшим в оправдание прежних проступков свои заслуги в запорожском войске, говорил: "Не на Низу ищут славной смерти, не там возвращаются утраченные права. Каждому рассудительному человеку понятно, что туда идут не из любви к отчеству, а для добычи" {25}.

Даже в поздние времена, в начале XVIII века, казаки не стеснялись называть свое ремесло его собственным именем. Когда Булавин поднял на Дону восстание против Петра Великого, он отправился в Запорожье с целью прибрать там себе помощников. Сечь заволновалась. Одни стояли за немедленное соединение с донским атаманом, другие боялись порывать с Москвой. Дошло до смены кошевого и старшины. Умеренная группа одержала верх и порешили всей Сечью не выступать, а разрешить желающим присоединиться к Булавиному на свой риск. Булавин встал в Самарских городках и обратился к запорожцам с призывом:

"Атаманы молодцы, дорожные охотники, вольные всяких чинов люди, ВОРЫ и РАЗБОЙНИКИ! Кто похочет с военным походным атаманом Кондратием Афанасьевичем Булавиным, кто похочет с ним погулять по чисту полю, красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте в черны вершины самарские!" {26}.

До учреждения оседлого реестрового казачества в середине XVI века, термином "казак" определялся особый образ жизни. "Ходить в казаки" означало удалиться в степь за линию пограничной охраны и жить там наподобие татарских казаков, т. е., в зависимости от обстоятельств, ловить рыбу, пасти овец или грабить.

Фигура запорожца не тождественна с типом коренного малороссиянина, они

представляют два разных мира. Один – оседлый, земледельческий, с культурой, бытом, навыками и традициями, унаследованными от киевских времен. Другой – гулящий, нетрудовой, ведущий разбойную жизнь, выработавший совершенно иной темперамент и характер под влиянием образа жизни и смешения со степными выходцами. Казачество порождено не южнорусской культурой, а стихией враждебной, пребывавшей столетиями в состоянии войны с нею.

Высказанная многими русскими историками, мысль эта поддержана ныне немецким исследователем Гюнтером Штеклем, полагающим, что первыми русскими казаками были обрусевшие крещеные татары. В них он видит отцов восточнославянского казачества.

Что касается легенды, приписывающей запорожцам миссию защиты славянского востока Европы от татар и турок, то она, ныне, достаточно развенчана накопившимся документальным материалом и трудами исследователей. Казацкая служба на краю Дикого поля создана инициативой и усилиями польского государства, а не самого казачества. Вопрос этот давно ясен для исторической науки.

Захват Малороссии казаками

Кто не понял хищной природы казачества, кто смешивает его с беглым крестьянством, тот никогда не поймет ни происхождения украинского сепаратизма, ни смысла события ему предшествовавшего, в середине XVII века. А событие это означало не что иное, как захват небольшой кучкой степной вольницы огромной по территории и по народонаселению страны. У казаков, с давних пор жила мечта получить в кормление какое-нибудь небольшое государство. Судя по частым набегам на Молдаво-Валахию, эта земля была раньше всех ими облюбована. Они ею чуть было не овладели в 1563 г., когда ходили туда под начальством Байды-Вишневецкого. Уже тогда шла речь о возведении этого предводителя на господарский престол. Через 14 лет, в 1577 г., им удается взять Яссы и посадить на трон своего атамана Подкову, но и на этот раз успех оказался непродолжительным, Подкова не удержался на господарстве. Невзирая на неудачи, казаки чуть не целое столетие продолжали попытки завоевания и захвата власти в дунайских княжествах. Прибрать их к рукам, учредиться там в качестве чиновничества, завладеть урядами – таков был смысл их усилий.

Судьба к ним оказалась благосклоннее, чем они могли предполагать, она отдала им гораздо более богатую и обширную, чем Молдавия, землю – Украину. Выпало такое счастье, в значительной мере неожиданно для них самих, – благодаря крестьянской войне, приведшей к падению крепостного права и польского владычества в крае.

Но прежде чем говорить об этом, необходимо отметить одну важную перемену, совершившуюся в середине XVI века. Речь идет о введении так называемого "реестра", под которым разумелся список тех казаков, что польское правительство приняло к себе на службу для охраны окраинных земель от татарских набегов. Строго ограниченные числом, доведенным с течением времени до 6.000, подчиненные польскому коронному гетману и получившие свой войсковой и административный центр в городе Терехтемирове над Днестром, реестровые казаки наделены были известными правами и льготами: избавлялись от налогов, получали жалованье, имели свой суд, свое выборное управление. Но, поставив эту избранную группу в привилегированное положение, польское правительство наложило запрет на всякое другое казачество, видя в нем развитие вредного, гулящего, антиправительственного элемента.

В ученой литературе, эта реформа рассматривается обычно как первое юридическое и экономическое разделение внутри казачества. В реестровых видят избранную касту, получившую возможность обзаводиться домом, землей, хозяйством и применять, нередко в больших размерах, труд работников и всевозможных слуг. Советским историкам это дает материал для бесконечных рассуждений о "расслоении", об "антагонизме".

Но антагонизм существовал не в казачьей среде, а между казаками и хлопам. В Запорожье, как и в самой Речи Посполитой, хлопов презрительно называли "чернью". Это те, кто, убежав от панского ярма, не в силах

оказались преодолеть своей хлеборобной мужицкой природы и усвоить казачьи замашки, казачью мораль и психологию. Им не отказывали в убежище, но с ними никогда не сливались; запорожцы знали случайность их появления на низу и сомнительные казачьи качества. Лишь небольшая часть, пройдя степную школу, бесповоротно меняла крестьянскую долю на профессию лихого добычника. В большинстве же своем, холопский элемент расплылся: кто погибал, кто шел работниками на хутора к реестровым, а когда наплыв такого люда был большим, образовывал скопища, служившие пушечным мясом для ловких предводителей из старых казаков, вроде Лободы или Наливайки, и натравливался на пристепные имена польских магнатов.

Взаимоотношения же между реестровыми и нереестровыми, несмотря на некоторые размолвки, никогда не выражались в форме классовых или сословных распрей. Сечь для тех и других была колыбелью и символом единства. Реестровые навещают ее, бегут туда в случае невзгод или ссор с польским правительством, часто объединяются с сечевиками для совместных грабительских экспедиций.

Реестровая реформа не только не встречена враждебно на низу, но окрылила все степное гультайство; попасть в реестр и быть причисленным к "лыцарству" стало мечтой каждого запорожского молодца. Реестр явился не разлагающим, а скорей объединяющим началом и сыграл видную роль в развитии "самосознания".

Вчерашняя разбойная вольница, сделавшись королевским войском, призванным оберегать окраины Речи Посполитой, возгорелась мечтой о некоем почетном месте в панской республике; зародилась та идеология, которая сыграла потом столь важную роль в истории Малороссии. Она заключалась в сближении понятия "казак" с понятием "шляхтич". Сколь смешной ни выглядела эта претензия в глазах тогдашнего польского общества, казаки упорно держались ее.

Шляхтич владеет землями и крестьянами по причине своей воинской службы в пользу государства; но казак тоже воин и тоже служит Речи Посполитой, почему же ему не быть помещиком, тем более, что бок о бок с ним, в Запорожьи жили, нередко, природные шляхтичи из знатных родов, шедшие в казаки? Свои вожделения реестровое войско начало выражать в петициях и обращениях к королю и сейму. На конвокационном сейме 1632 года, его представители заявили:

"Мы убеждены, что дождемся когда-нибудь того счастливого времени, когда получим исправление наших прав рыцарских и ревностно просим, чтобы сейм изволил доложить королю, чтобы нам были дарованы те вольности, которые принадлежат людям рыцарским" {27}.

Скапливая богатства, обзаводясь землей и слугами, верхушка казачества, в самом деле, стала приближаться, экономически, к образу и подобию шляхты. Известно, что у того же Богдана Хмельницкого было земельное владение в Субботове, дом и несколько десятков челяди. К середине XVII века, казачья аристократия, по материальному достатку, не уступала мелкому и среднему дворянству. Отлично понимая важность образования для дворянской карьеры, она обучает своих детей панским премудростям. Меньше, чем чрез сто лет после введения реестра, среди казацкой старшины можно было встретить людей употреблявших латынь в разговоре. Имея возможность, по характеру службы, часто общаться со знатью, старшина заводит с нею знакомства, связи, стремится усвоить ее лоск и замашки. Степной выходец, печенег, готов, вот-вот, появиться в светской гостиной. Ему не хватает только шляхетских прав.

Но тут и начинается драма, обращающая ни во что и латынь, и богатства, и земли. Польское панство, замкнувшись в своем кастовом высокомерии, слышать не хотело о казачьих претензиях. Легче завоевать Молдавию, чем стать членом благородного сословия в Речи Посполитой. Не помогают ни лояльность, ни верная служба. При таком положении, многие издавна начали подумывать о приобретении шляхетства вооруженной рукой.

Украинская националистическая и советская марксистская историографии до того затуманили и замутили картину казачьих бунтов конца XVI и первой половины XVII века, что простому читателю трудно бывает понять их подлинный смысл. Меньше всего подходят они под категорию "национально-освободительных" движений. Национальной украинской идеи в то время в помине не было. Но и "антифеодальными" их можно назвать лишь в той степени, в какой принимали в

них участие крестьяне, бежавшие на Низ в поисках избавления от нестерпимой крепостной неволи. Эти крестьяне были величайшими мучениками Речи Посполитой. Иезуит Скарга – яростный гонитель и ненавистник православия и русской народности, признавал, что нигде в мире помещики не обходятся более бесчеловечно со своими крестьянами, чем в Польше. "Владелец или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет, и никто не скажет ему за это дурного слова".

Крестьянство изнемогало под бременем налогов и барщины; никаких трудов не хватало оплачивать непомерное мотовство и роскошь панов. Удивительно ли, что оно готово было на любую форму борьбы со своими угнетателями? Но, нашедши такую готовую форму в казачьих бунтах, громя панские замки и фольварки, мужики делали не свое дело, а служили орудием достижения чужих выгод. Холопская ярость в борьбе с поляками всегда нравилась казачеству и входила в его расчеты. Численно казаки представляли ничтожную группу; в самые хорошие времена она не превышала 10.000 человек, считая реестровых и сечевиков вместе. Они никогда, почти, не выдерживали столкновений с коронными войсками Речи Посполитой. Уже в самых ранних казачьих восстаниях наблюдается стремление напустить прибежавших за пороги мужиков на замки магнатов. Но механизм и управление восстаниями находились, неизменно, в казачьих руках, и казаки добивались не уничтожения крепостного порядка, но старались правдами и неправдами втереться в феодальное сословие. Не о свободе шла тут речь, а о привилегиях. То был союз крестьянства со своими потенциальными поработителями, которым удалось, с течением времени, прибрать его к рукам, заступив место польских панов.

Конечно, запорожцам предстояло, рано или поздно, – либо быть раздавленными польской государственностью, либо примириться с положением особого воинского сословия, наподобие позднейших донцов, черноморцев, терцев, если бы не грандиозное всенародное восстание 1648 г., открывшее казачеству возможности, о которых оно могло лишь мечтать. "Мне удалось совершить то, о чем я никогда и не мыслил" – признавался впоследствии Хмельницкий.

Выступления мужиков поляки боялись гораздо больше, чем казаков. "Число его сообщников простирается теперь до 3.000, – писал королю гетман Потоцкий по поводу выступления Хмельницкого. – Сохрани Бог, если он войдет с ними в Украину, тогда эти три тысячи возрастут до ста тысяч". Уже первая битва при Желтых Водах выиграна была благодаря тому, что служившие у Стефана Потоцкого русские жолнеры перешли на сторону Богдана. В битве под Корсунем содействие и помощь русского населения выразились в еще большей степени. К Хмельницкому шли со всех сторон, так что войско его росло с необыкновенной быстротой. Под Пилявой оно было столь велико, что первоначальное ядро его, вышедшее из Запорожья, потонуло в толпе новых ополченцев. Когда в самый разгар восстания была собрана рада в Белой Церкви, на нее явилось свыше 70.000 человек. Никогда доселе казацкое войско не достигало подобной цифры. Но она далеко не выражает всего числа восставших. Большая часть шла не с Богданом, а рассыпалась в виде так называемых "загонов" по всему краю, внося ужас и опустошение в панские поместья. Загоны представляли собою громадные орды под начальством какого-нибудь Харченко Гайчуры или Лисенко Вовгуры. Поляки так их боялись, что один крик "вовгуровцы идут" повергал их в величайшее смятение.

На Подоле свирепствовали загоны Ганжи, Остапа Павлюка, Половьяна, Морозенко. Каждый из этих отрядов представлял солидное войско, а некоторые могли, по тем временам, почитаться громадными армиями. "Вся эта сволочь, – по выражению польского современника, – состояла из презренного мужичья, стекавшегося на погибель панов и народа польского".

"Было время, – говорил гетман Сапега, – когда мы словно на медведя ходили укрощать украинские мятежи; тогда они были в зародыше, под предводительством какого-нибудь Павлюка; теперь иное дело! Мы ополчаемся за веру, отдаем жизнь нашу за семейства и достояние наше. Против нас не шайка своевольников, а великая сила целой Руси. Весь народ русский из сел, деревень, местечек, городов, связанный узами веры и крови с казаками, грозит искоренить шляхетское племя и снести с лица земли Ръчь Посполитую".

Чего в течение полустолетия не могло добиться ни одно казачье восстание, было в несколько недель сделано "презренным мужичьем" – панская

власть на Украине сметена точно ураганом. Мало того, всему польскому государству нанесен удар, повергший его в состояние беспомощности. Казалось, еще одно усилие – и оно рухнет. Не успела Речь Посполитая опомниться от оглушительных ударов при Желтых Водах и под Корсунем, как последовала ужасающая катастрофа под Пилявой, где цвет польского рыцарства обращен в бегство, как стадо овец, и был бы, безусловно, истреблен, если бы не богатейший лагерь, грабежом которого увлеклись победители, прекратив преследование. Это поражение, вместе с повсеместной резней панов, ксендзов и евреев, вызвало всеобщий ужас и оцепенение. Польша лежала у ног Хмельницкого. Вздумай он двинуться со своими полчищами вглубь страны, он до самой Варшавы не встретил бы сопротивления. Если бывают в жизни народов минуты, от которых зависит все их будущее, то такой минутой для украинцев было время после пилявской победы. Избавление от рабства, уничтожение напора воинствующего католичества, полное национальное освобождение – все было возможно и достижимо в тот миг. Народ это инстинктивно чувствовал и горел желанием довести до конца дело свободы. К Хмельницкому со всех сторон неслись крики: "Пане Хмельницкий, веди на ляхив, кинчай ляхив!".

Но тут и выяснилась разница между чаяниями народа и устремлениями казачества. Повторилось то, что наблюдалось во всех предыдущих восстаниях, руководимых казаками: циничное предательство мужиков во имя специально казачьих интересов.

Возглавивший волею случая ожесточенную крестьянскую войну, Хмельницкий явно принял сторону иноземцев и иноверцев-помещиков против русских православных крестьян. Он не только не пошел на Варшаву и не разрушил Польши, но придумал обманный для своего войска маневр, двинувшись на Львов и потом долго осаждая без всякой надобности Замостье, не позволяя его в то же время взять. Он вступил в переговоры с поляками насчет избрания короля, послал на сейм своих представителей, дал торжественное обещание повиноваться приказам нового главы государства и, в самом деле, прекратил войну и отступил к Киеву по первому требованию Яна Казимира.

Для хлопов это было полной неожиданностью. Но их ждал другой удар: еще не достигнув Киева, где он должен был дожидаться посланников короля, гетман сделал важное политическое заявление, *санкционировавшее существование крепостного права в Малой России*. В обращении к дворянству универсале он выражал пожелание, "чтобы сообразно воле и приказанию его королевского величества, вы не замыслили ничего дурного против нашей греческой религии и против ваших подданных, но жили с ними в мире и содержали их в своей милости" {28}. Мужиков возвращали опять в то состояние, из которого они только что вырвались.

Измена продолжалась и при новом столкновении с Польшей, в 1649 г. Когда крестьянская армия под Зборовом наголову разбила королевское войско, Хмельницкий не только не допустил пленения короля, но преклонил перед ним колени и заключил договор, который был вопиющим предательством малороссийского народа. По этому договору Украина оставалась по-прежнему под польской властью, а об отмене крепостного права не было сказано ни слова. Зато казачество возносилось на небывалую высоту. Состав его увеличивался до 40.000 человек, которые наделялись землей, получали право иметь двух подпомощников и становились на заветный путь постепенного превращения в "льцарей". Старшина казачья приобретала право владеть "ранговыми маетностями" – особым фондом земель, предназначенным для пользования чинов казачьего войска на то время, пока человек занимал соответствующую должность. Самое войско казачье могло теперь смотреть на себя, как на войско короля и Речи Посполитой в русских землях; недаром Богданов посланный сказал, однажды, гетману Потоцкому: "Речь Посполитая может положиться на казаков; мы защищаем отечество". Гетман казачий получал все чигиринское староство с городом Чигирином "на булаву", да к этому прихватил еще богатое местечко Млиев, доставлявшее своему прежнему владельцу, Конецпольскому, до 200.000 талеров дохода {29}.

Но зборовским условиям так и не пришлось стать действительностью. Крестьянство не мирилось с положением, при котором лишь 40.000 счастливых получают землю и права свободных людей, а вся остальная масса должна оставаться в подневольном состоянии. Крестьяне вилами и дубинами встречали панов возвращавшихся в свои имения, чем вызвали шумные протесты поляков. Гетману пришлось, во исполнение договора, карать ослушников смертью, рубить

головы, вешать, сажать на кол, но огонь от этого не утихал. Казни раскрыли народу глаза на роль Богдана и ему, чтобы не лишиться окончательно престижа, ничего не оставалось, как снова возглавить народное ополчение, собравшееся в 1652 г. для отражения очередного польского нашествия на Украину.

В исторической литературе давно отмечено, что страшное поражение, постигшее на этот раз русских под Берестечком, было прямым результатом антагонизма между казаками и крестьянством.

Здесь не место давать подробный рассказ о восстании Хмельницкого, оно описано во многих трудах и монографиях. Наша цель – обратить внимание на нерв событий, ясный для современников, но необычайно затемненный историками XIX-XX в.в. Это важно, как для того, чтобы понять причину присоединения Украины к Московскому Государству, так и для того, чтобы понять, почему на другой же день после присоединения там началось "сепаратистское" движение.

Москва, как известно, не горела особенным желанием присоединить к себе Украину. Она отказала в этом Киевскому митрополиту Иову Борецкому, отправившему в 1625 г. посольство в Москву, не спешила отвечать согласием и на слезные челобитья Хмельницкого, просившего неоднократно о подданстве. Это важно иметь в виду, когда читаешь жалобы самостийнических историков на "лихих соседей", не позволивших будто бы учредить независимой Украине в 1648-1654 г. г. Ни один из этих соседей – Москва, Крым, Турция – не имели на нее видов и никаких препятствий ее независимости не собирались чинить. Что же касается Польши, то после одержанных над нею блестящих побед ей можно было продиктовать любые условия. Не в соседях было дело, а в самой Украине. Там, попросту, не существовало в те дни идеи "незалежности", а была лишь идея перехода из одного подданства в другое. Но жила она в простом народе – темном, неграмотном, непричастном ни к государственной, ни к общественной жизни, не имевшем никакого опыта политической организации. Представленный крестьянством, городскими жителями – ремесленниками и мелкими торговцами, он составлял самую многочисленную часть населения, но вследствие темноты и неопытности, роль его в событиях тех дней заключалась только в ярости, с которой он жег панские замки и дрался на полях сражений. Все руководство сосредотачивалось в руках казачьей аристократии. А эта не думала ни о независимости, ни об отделении от Польши. Ее усилия направлялись как раз на то, чтобы удержать Украину под Польшей, а крестьян под панями, любой ценой. Себе самой она мечтала получить панство, какового некоторые добились уже в 1649 г., после Зборовского мира.

Политика казачества, его постоянные предательства были причиной того, что победоносная, вначале, борьба стала оборачиваться, под конец, неудачами для Украины. Богдан и его приспешники постоянно твердили одно и то же: "Нехай кождый з своего тишится, нехай кождый своего глядит – казак своих вольностей, а те, которые не приняты в реестр, должны возвращаться к своим панам и платить им десятую копу". Между тем, по донесениям московских осведомителей, "те де казаки попрежнему у пашни быть не хотят, а говорят что они вместе все за христианскую веру стояли, кровь проливали" {30}.

Удивительно ли, что измученный изменами, изверившийся в своих вождах, народ усматривал единственный выход в московском подданстве? Многие, не дожидаясь политического разрешения вопроса, снимались целыми селами и поветами и двигались в московские пределы. За каких-нибудь полгода выросла Харьковщина – пустынная прежде область, заселенная теперь сплошь переселенцами из польского государства.

Такое стихийное тяготение народной толпы к Москве сбilo планы и расстроило всю игру казаков. Противостоять ему открыто они не в силах были. Стало ясно, что народ пойдет на что угодно, лишь бы не остаться под Польшей. Надо было либо удерживать его попрежнему в составе Речи Посполитой и сделаться его откровенным врагом, либо решиться на рискованный маневр – последовать за ним в другое государство и, пользуясь обстоятельствами, постараться удержать над ним свое господство. Избрали последнее.

Произошло это не без внутренней борьбы. Часть матерых казаков во главе с Богунем откровенно высказалась на Тарнопольской раде 1653 г. против Москвы, но большая часть, видя как "чернь" разразилась восторженными криками при упоминании о "царе восточном", приняла сторону хитрого Богдана.

Насчет истинных симпатий Хмельницкого и его окружения двух мнений быть не может – это были полонофилы; в московское подданство шли с величайшей неохотой и страхом. Пугала неизвестность казачьих судеб при новой власти.

Захочет ли Москва держать казачество, как особое сословие, не воспользуется ли стихийной приязнью к себе южнорусского народа и не произведет ли всеобщего уравнивания в правах, не делая разницы между казаком и вчерашним хлопом? Свидетельством такого тревожного настроения явилась идея крымского и турецкого подданства, сделавшаяся вдруг популярной среди старшины в самый момент переговоров с Москвой. Казачьей элите она сулила полное бесконтрольное хозяйничанье в крае под покровительством такой власти, которая ее совсем бы не ограничивала, но от которой можно всегда получить защиту.

В середине 1653 года Иван Выговский рассказывал царским послам о тайной раде, на которой присутствовали одни полковники, да высшие войсковые чины. Там обсуждался вопрос о турецком подданстве. Все полковники на него согласились, за исключением киевского Антона Ждановича, да самого Выговского. Подчеркивая свое москвофильство, Выговский нарисовал довольно бурную сцену: "И я гетману и полковником говорил: хто хочет тот поддавайся турку, а мы едем служить великому государю христианскому и всем черкасом вашу раду скажем, как вы забыли Бога так делаете. И гетман де меня за то хотел казнить. И я де увидя над собою такое дело, почал давать приятелем своим ведомость, чтоб они до всего войска доносили тою ведомость. И войско де, сведав про то, почали говорить: все помрем за Выговского, кроме ево никто татарам не смеет молыть" {31}. Так ли на самом деле вел себя Выговский - неизвестно; вернее всего, рисовался перед московскими послами, но факт описанного им сборища вполне вероятен.

Турецкий проект - свидетельство смятения казацких душ, но вряд ли кто из его авторов серьезно верил в возможность его осуществления, по причине одиозности для народа турецко-татарского имени, а также потому, что народ уже сделал свой выбор. Роман Ракушка Романовский, известный под именем Самовидца, описывая в своей летописи переяславское присоединение, с особым старанием подчеркнул его всенародный характер: "По усией Украине увесь народ с охотой тое учинил".

То был критический момент в жизни казачьей старшины, и можно понять нервность, с которой она старалась всеми способами получить от царских послов документы гарантирующие казачьи вольности. Явившись к присяге, старшина и гетман потребовали, вдруг, чтобы царь в лице своих послов присягнул им со своей стороны и выдал обнадеживающие грамоты. "Николи не бывало и впредь не будет, - сказал стольник Бутурлин, - и ему и говорить о том было непристойно, потому что всякий подданный повинен веру дати своему государю" {32}. Он тут же, в церкви, объяснил Хмельницкому недопустимость такой присяги с точки зрения самодержавного принципа. Столь же категорический ответ был дан через несколько дней после присяги, когда войсковой писарь И. Выговский с полковниками явился к Бутурлину с требованием "дать им письмо за своими руками, чтобы вольностям и маютностям быть по-прежнему". При этом, послам было сказано, что если они "такова письма не дадут и стольником де и дворяном в города ехать не для чево, для того что всем людем в городех будет сумление" {33}. Это означало угрозу срыва кампании по приведению к присяге населения Малороссии. Послов пугали опасностью передвижения по стране, вследствие разгула татарских шаек. Послы не испугались и ни на какие домогательства не поддались, назвав их "непристойными". "Мы вам и преж сего сказывали, что царское величество вольностей у вас не отнимает и в городех у вас указал государь до своего государева указу быть попрежнему вашим урядником и судитца по своим правам и маютностей ваших отнять государь не велит". Бутурлин настаивал лишь на том, чтобы казаки, вместо требования гарантийного документа, обратились к царю с челобитьем. Просимые блага могут быть получены только путем пожалования со стороны монарха.

Не будем здесь вдаваться в рассмотрение самостийнической легенды о так называемой "переяславской конституции", о "переяславском договоре"; она давно разоблачена. Всякого рода препирательства на этот счет могут сколько угодно тянуться в газетных статьях и в памфлетах - для науки этот вопрос ясен. Источники не сохранили ни малейшего указания на документ похожий хоть в какой-то степени на "договор" {34}. В Переяславле в 1654 г, происходило не заключение трактата между двумя странами, а безоговорочная присяга малороссийского народа и казачества царю московскому, своему новому суверену.

Не обещавший ничего в момент принятия присяги, царь оказался потом необычайно щедрым и милостивым к своим новым подданным. Ни одна, почти, их просьба не осталась без удовлетворения. Сущей неправдой должно быть объявлено утверждение М. С. Грушевского, будто "далеко не все эти желания были приняты московским правительством". Москва дала уклончивый ответ только на просьбу о жаловании запорожскому войску. Бояре при этом ссылались на частный разговор Хмельницкого с Бутурлиным в Переяславле, в котором гетман сказал, что на жаловании не настаивает. Москва, однако, вовсе не отказалась платить казакам, она лишь хотела, чтобы жалованье шло из тех сумм, что будут собираться с Украины в царскую казну, и потому откладывала этот вопрос до упорядочения общих фискальных дел.

Городам, хлопотавшим перед царем об оставлении за ними Магдебургского права, оно было предоставлено, духовенство, просившее о земельных пожалованиях и о сохранении за собою прежних владений и прав, - получило их, остатки уцелевшей шляхты получили подтверждение своих старинных привилегий. Казачеству предоставлено было все, о чем оно "било челом". Реестр казачий сохранен и увеличен до небывалой цифры - 60.000 человек, весь старый уряд сохранен полностью, оставлено право выбирать себе старшину и гетмана, кого захотят, только с последующим доведением до сведения Москвы. Разрешено было принимать и иностранные посольства.

Царское правительство предоставило широкую возможность каждому из сословий ходатайствовать об установлении наилучших для себя условий и порядков. Такие ходатайства поступили от городов (через гетмана), от духовенства, от казачества. Только голос крестьянства - самого многочисленного, но, в то же время, самого темного и неорганизованного класса, не раздался ни разу и не был услышан в Москве.

Произошло это в значительной мере оттого, что казачество заслонило от нее крестьянство. Это было тем легче сделать, что само крестьянство ничего так не хотело, как называться казаками. Как до Хмельницкого, так и при нем, оно шло в казацкие бунты с единственной целью избавиться от панской неволи. Попасть в казацкое сословие - значит стать свободным человеком. Оттого все сотни тысяч мужиков, поднявшихся в 1648-1649 г. г., так охотно именовали себя казаками, брили головы и надевали татарские шаровары, и оттого подняли они возмущенный вопль, когда узнали, что зборовский трактат возвращает их в прежнее мужицкое состояние, взявши в казачий парадиз всего 40.000 счастливых. По донесениям московских пограничных воевод, расспрашивавших украинских беженцев, можно составить себе представление о необычайной давке, создавшейся вокруг реестрования. Каждый хотел попасть в список и ничего не жалел для этого. Гетман сделал из этого источник собственного обогащения, "имал с тех людей, которых писал в реестр, золотых червонных по 30-ти и по 40-ку и больше. Кто ково больше мог дать, того и в реестр писал, для того, что никто в холопстве быть по прежнему не хотел" {35}.

Крестьяне, в момент присоединения к Москве, не выступили как сословие и не сформулировали своих пожеланий, потому что отождествили себя с казаками, наивно полагая, что этого достаточно, чтобы не числиться мужиками. Московскому же правительству трудно было разобраться в тогдашней обстановке.

Подводя итог челобитьям и выданным в ответ на них царским грамотам, исследователи приходят к заключению, что внутреннее устройство и социальные отношения на Украине после переяславского присоединения установились такие, каких хотели сами малороссы. Царское правительство формировало это устройство в соответствии с их просьбами и пожеланиями. Казаки хотели оставить все так, "как при королях польских было". Лично Б. Хмельницкий, в разговоре с Бутурлиным, выразил пожелание, чтобы, "кто в каком чину был по ся места и ныне бы государь пожаловал, велел быть по тому, чтоб шляхтич был шляхтичем, а казак казаком, а мещанин мещанином; а казаком бы не судитца у полковников и сотников". То же было выражено и письменно в челобитной царю: "права, уставы, привилеи и всякия свободы... елико кто имяше от веков от князей и панов благочестивых и от королей польских... изволь твое царское величество утвердить и своими грамотами государскими укрепить навеки" {36}. В подтверждение этих своих пожеланий и челобитий, гетман прислал в Москву копии жалованных грамот польских королей. И эти грамоты, и собственные просьбы казаков выражали взгляд на них, как на сословие, а весь их "устрий" мыслился, как внутренняя сословная организация. Соответствующим образом и гетманская власть понималась, как власть военная, распространявшаяся только

на войско запорожское, но не имевшая никакого касательства к другим сословиям и вовсе не призванная управлять целым краем.

До 1648 года казачество было явлением посторонним для Украины, жило в "диком поле", на степной окраине, вся же остальная Малороссия управлялась польской администрацией. Но в дни восстания польская власть была изгнана, край оказался во власти анархии и для казаков появилась возможность насаждать в нем свои запорожские обычаи и свое господство. Картина их внедрения темна, как по недостатку источников, так и по неуловимости самого явления. За шесть ужасных лет, когда непрестанно горели села и города, татарские шайки охотились за людьми и тысячами уводили в Крым, когда гайдамаки с одной стороны, польские карательные отряды, с другой, превращали в пустыни целые местности, когда огромные территории переходили из рук в руки - трудно было установить какой либо администрации. Историческое исследование до сих пор не касалось этого вопроса. Если искать в тогдашней Малороссии подобия управления, то это было, вернее всего, то, что принято называть "законами военного времени", т. е. воля начальника армии или воинского отряда, занимавшего ту или иную территорию.

В силу своего военного опыта и организованности, казаки завладели всеми важными постами в народном ополчении, придав ему свое запорожское устройство, подразделения, обозначения, свою субординацию. Потому казацкие чины - полковники, сотники - явились властью также для малороссийского населения тех мест, которые были заняты их отрядами. И над всеми стоял гетман войска запорожского с войсковой канцелярией, генеральным писарем, обозным, войсковым судьей и прочей запорожской старшиной. Выработанная и сложившаяся в степи для небольшой самоуправляющейся военно-разбойничьей общины, система эта переносилась теперь на огромную страну с трудовым оседлым населением, с городами, знавшими магдебургское право.

Как действовала она на практике, мы не знаем, но можно догадываться, что "практика" меньше всего руководилась правовым сознанием, каковое не было привито степному "лыцарству", воспитанному в антигосударственных традициях.

Пока существовала надежда удержать Малую Русь под польским владычеством, гетман и его окружение рассматривали свою власть в ней, как временную. Зборовский и Белоцерковский трактаты не оставляют места ни для какой гетманской власти на Украине после ее замирения и возвращения под королевскую руку. Положение казачества и его предводителей, согласно этим трактатам, значительно улучшается, оно увеличивается в числе, ему предоставляется больше прав и материальных средств, но оно по-прежнему не мыслится ничем, кроме особого вида войска Речи Посполитой. Гетман - его предводитель, но отнюдь не правитель области, он лицо военное, а не государственно-административное. Такой же взгляд внушала старшина и царским послам в Переяславле в дни присоединения к Московскому государству. Верховной властью в крае считалась отныне власть царская. Это было до такой степени всем понятно, что ни Богдану, ни старшине, ни кому бы то ни было из тогдашних малороссиян, в голову не приходило ходатайствовать перед царем о создании краевого правительства или какой-нибудь автономной, местной, по своему происхождению, административной власти. Такой мысли не высказывалось даже в устных разговорах с Бутурлиным. По словам Д. М. Одинца, очень авторитетного историка, "кроме московского государя, акты 1654 г. не предусматривали существования на территории Украины никакого другого общегосударственного органа власти" {37}.

Но в ученой литературе поднят, с некоторых пор, вопрос: неужели казаки, пришедшие в московское подданство в качестве фактических хозяев Малороссии, так таки ни разу и не пожалели об утрате своего первенствующего положения? Почему ни в одной челобитной, ни в одном разговоре нет намека на желание продолжать управление страной? Некоторые исследователи (В. А. Мякотин, Д. М. Одинец), объясняют это консерватизмом старшины и гетмана, не сумевших за шесть бурных лет осознать перемены происшедшей в их положении и продолжавших держаться за старую форму казачьих выгод. Вряд ли можно согласиться с таким соображением. Хмельницкому, сказавшему однажды в подпитии: "Я теперь единовластный самодержец русский" (это было еще в первый период восстания, в конце 1648 г.) - конечно ясна была его общекраевая роль. Понимала ее и старшина. Если, тем не менее, в Переяславле о ней не было сказано ни слова, то в этом надо видеть не близорукость, а как раз наоборот - необычайную дальновидность и тонкое знание политической обстановки. Хмельницкий знал,

что ни на какое умаление своих суверенных прав Москва не пойдет; а выдвигать идею гетманской власти значило, покушаться на ее верховные права. Всякая заминка в деле воссоединения могла дорого обойтись Богдану и казачьей верхушке, в виду категорического требования народа, не желавшего ни о чем слышать, кроме присоединения к Москве. Гетман и без того замаран был своей крепостнической полонофильской политикой. Он мог разом лишиться всего, что с таким трудом завоевал в течение шести лет. Нам сейчас ясно, что если бы московское правительство лучше разобралось в социальной обстановке тех дней, оно могло бы совершенно игнорировать и гетмана, и старшину, и все вообще, казачество, опираясь на одну народную толщу. Старшина это отлично понимала и этим объясняется ее скромность и стоворчивость в Переяславле. Она не оспаривала царского права собирать налоги с Малороссии. Напротив, Хмельницкий сам внушал Бутурлину, "чтобы великий государь, его царское величество указал с городов и мест, которые поборы наперед сего бираны на короля и на римские кляшторы и на панов, собирать на себя". То же говорил генеральный писарь Выговский, предлагая скорей прислать налоговых чиновников для производства переписи. Единственно, о чем просил Хмельницкий, это, чтобы сбор податей в царскую казну предоставить местным людям, дабы избежать недоразумений между населением и московскими чиновниками, непривычными к малороссийским порядкам и малороссийской психологии. Москве эта просьба показалась вполне резонной и была удовлетворена без возражений.

Боярам, конечно, в голову не приходило, какое употребление сделают из нее казаки. Оставаясь верными своей степной природе добычников они никогда не принесли реальных, практических выгод в жертву отвлеченным принципам. "Суверенные права", "национальная независимость" не имели никакой цены в сравнении с фактической возможностью управлять страной, распоряжаться ее богатствами, расхищать земли, закабалить крестьян. О национальной независимости они даже не думали, как потому, что в то время никто не знал, что с нею делать, так и по причине крайней опасности этой материи для казачьего благополучия. В независимой Украине казаки никогда бы не смогли превратиться в правящее сословие, тем более – сделаться помещиками. Революционное крестьянство, только что вырвавшееся из панского ярма и не собиравшееся идти ни в какое другое, хлынуло бы целиком в казаки и навсегда разрушило привилегированное положение этого сословия. Но казачество не для того наполнило половину столетия бунтами во имя приобретения шляхетских прав, не для того прошло через кровавую эпопею хмельничины, чтобы так просто отказаться от вековой мечты. Оно избрало самый верный метод – как можно меньше говорить о ней. Хлопоча о сословных казачьих правах и выговаривая привилегии, Богдан с товарищами думал о гораздо большем – об удержании захваченной ими реальной власти. Хитрость их в предупреждении подозрений сказалась в безоговорочном признании установившегося во время восстания порядка на Украине, как временного. На самом деле, это был тот порядок о котором они мечтали и который намерены были удерживать всеми средствами. Стремилась только выиграть время, получше изучить московских политиков, проникнуть в их замыслы и узнать их слабые места.

Когда это было сделано, когда царское правительство допустило несколько ошибок, способствовавших укреплению положения Богдана, обстановка для него стала складываться благоприятно. С этих пор он и мысли не допускал о временности гетманского режима, но учинился таким неограниченным властителем в Малороссии, каким никогда не был польский король. Из предводителя войска он сделался правителем страны. Что же до русского царя, то его административный аппарат, попросту, не был допущен в Малороссию до самого XVIII века. Власть на Украине оказалась узурпированной казаками.

Борьба казачества против установления государственной администрации Малороссии

Считалось само собой разумеющимся, что после присяги и прочих формальностей, связанных с присоединением Малороссии, московские воеводы должны заступить место польских воевод и урядников. Так думал простой народ, так говорили казаки и старшина, Выговский и Хмельницкий. Два года спустя, после переяславской рады, Павел Тетеря, посланный Хмельницкого, уверял в Москве думных людей, будто войско запорожское желает, "чтобы всеми городами и месты, которые в запорожском войске, владеть одному царскому величеству".

Но московское правительство до самой смерти Хмельницкого не удосужилось этого сделать. Все его внимание и силы устремлялись на войну с Польшей,

возгоревшуюся из-за Малороссии. Оно поддавалось на уговоры Богдана, просившего повременить как с описью на предмет обложения, так и с присылкой воевод, ссылаясь на военное время, на постоянное пребывание казачества в походах, на незаконченность реестрования. В течение трех лет Москва воздерживалась от реализации своих прав. А за это время, гетман и старшина, распоряжаясь, как полные хозяева, приобрели необычайный вкус к власти и к обогащению собирали налоги со всех слоев населения в свою пользу, судили, издавали общеобязательные приказы. Казачьи учреждения присвоили себе характер ведомств верховной власти. Появись московские воеводы в Малороссии сразу же после переяславской присяги, у казаков не было бы повода для такого эксперимента. Теперь они проделали его удачно и окрыленные успехом сделались смелыми и наглыми. Когда правительство, в 1657 г., решительно подняло вопрос о введении воевод и взимании налогов, Хмельницкий отказался от собственных слов в Переяславле и от речей своих посланных в Москве. Оказалось, что "и в мысли у него не было, чтоб царское величество в больших городах, в Чернигове, в Переяславле, в Нежине, велел быти своего царского величества воеводам, а доходы бы собирая, отдавати царского величества воеводам. Будучи он, гетман, на трактатах царского величества с ближним боярином В. В. Бутурлиным с товарищи, только домолвили, что быти воеводам в одном г. Киеве..." {38}.

Смерть Богдана помешала разгореться острому конфликту, но он вспыхнул при преемнике Хмельницкого Иване Выговском, начавшем длинную цепь гетманских измен и клятвопреступлений. В его лице старшина встала на путь открытого противодействия введению царской администрации и, тем самым, на путь нарушения суверенных прав Москвы. "Воеводский" вопрос приобрел исключительное политическое значение. Строго говоря, он был причиной всех смут заполнивших вторую половину XVII века. Воеводы сделались страшилищем, кошмаром преследовавшим казачью старшину во сне и наяву. Малейший намек на их появление повергал ее в лихорадочное состояние. Воеводами старались запугать весь народ, представляя их людьми жестокими, алчными, бессердечными; говорили, будто они запретят малороссам ношение сапог и введут лапти, что все население погонят в Сибирь, местные обычаи и церковные обряды заменят своими москальскими, крестить младенцев прикажут посредством погружения в воду, а не обливанием... Такими рассказами москвичам создали репутацию задолго до их появления в крае.

Характерно для всей второй половины XVII века обилие жалоб на всевозможные москальские насилия. Но тщетно было бы добираться до реальных основ этих жалоб. Всегда они выражались в общей форме, без ссылок на конкретные факты и всегда исходили от старшины. Делалось это чаще в устной, а не в письменной форме на шумных радах при избрании гетманов или при объяснениях по поводу каких-нибудь казачьих измен. Ни в московских, ни в малороссийских архивах не найдено делопроизводств и расследований по поводу обид или притеснений учиненных над малороссами царскими чиновниками, нет указаний на самое возникновение таких документов. Зато много оснований думать, что их и не было.

Вот эпизод, относящийся к 1662 году. Наказной гетман Самко жаловался царю на московских ратных людей, которые, якобы, били, грабили переяславцев и называли их изменниками. По его уверениям, даже воевода кн. Волконский принимал в этом участие и мирволил буянам, вместо того, чтобы карать их. Но когда царь отправил в Переяславль стольника Петра Бунакова для сыска виновных - Самко отказался от расследования и приложил все усилия, чтобы замять дело. Он заявил, что иные обиженные пали на войне, другие в плену, третьим некого привлекать к ответственности, потому, что обидчики исчезли. Бунаков прожил в Переяславле месяц - с 29 мая по 28 июня - и за все это время привели к нему одного только драгуна, пойманного в краже. Его били кнутом на козле и провели сквозь строй. Призвав казачьих начальников, Бунаков спросил: будут ли наконец челобитные от переяславцев на московских ратных людей? Те отвечали, что многие переяславцы уже помирились со своими обидчиками, а новых челобитий, по их мнению, скоро не будет и потому они полагают, что ему, Бунакову, нет смысла проживать здесь долее {39}. На глуховской раде, при избрании в гетманы Д. Многогрешного, в 1668 году, царский посланный кн. Ромодановский в ответ на заявления старшины о том, что служилые люди устраивают пожары с целью грабежа, - говорил: "О том великому государю не бывало ни от кого челобитья ни прежде сего, ни в последнее

время; если же бы челобитье такое было, против челобитья был бы сыск, а по сыску, смотря по вине, тем вором за их воровство и казнь учинена была бы. Знатно, то дело ныне затеяли вы, чтоб воеводам в городах не быть" {40}. Гетман и старшина не нашлись, что на это возразить. Не получив отражения в актовом, документальном материале, злоупотребления царских властей расписаны, зато, необычайно пышно, во всякого рода памфлетах, воззваниях, анонимных письмах, в легендарных историях Украины. Этого рода материал настолько обилен, что соблазнил некоторых историков XIX века, вроде Костомарова, принимавшего его без критики и повторявшего в своих ученых сочинениях версию о злоупотреблениях московских властей.

Что московская бюрократия XVII века не может служить образцом добродетели, хорошо известно. Но какова бы она ни была у себя дома, она обладала редким политическим тактом в деле присоединения и колонизации чужих земель. В противоположность англичанам, португальцам, испанцам, голландцам, истреблявшим целые народы и цивилизации, заливавшим кровью острова и материи, Москва владела тайной удержания покоренных народов не одним только принуждением. Меньше всего у нее было склонности применять жестокие методы в отношении многочисленного, единокровного, единоверного народа малороссийского, добровольно к ней присоединившегося. Правительство царя Алексея Михайловича и все последующие превосходно знали, что такой народ, если он захочет отойти, никакой силой удержать невозможно. Пример его недавнего отхода от Польши у всех был в памяти. В Москве, поэтому, ревниво следили, чтобы чиновники попадавшие в Малороссию, не давали своим поведением повода к недобольству. От единичных, мелких злоупотреблений уберечься было трудно, но борьба с ними велась энергичная. Когда стольник Кикин, в середине 60-х годов, обнаружил, что в списках податного населения попадают казаки, занесенные туда по небрежности или по злой воле царских писцов - оным писцам учинено было строгое наказание. Такому же сыску и наказанию подверглись все переписчики замеченные в лихоимстве, по каковому поводу гетман со всеми полтавскими казаками приносили царю благодарность. В Москве следили за тем, чтобы малороссиян, даже, худым словом не обижали. После измен гетманов - Выговского, Юрия Хмельницкого, Брюховецкого, после бесчисленных переходов казаков от Москвы к Польше, от Польши к Москве, когда самые корректные люди не в силах были сдерживать своего раздражения на такое непостоянство, некоторые русские воеводы, в прилегающих к Украине городах, взяли привычку называть приезжавших к ним для торга малороссов изменниками. Когда в Москве об этом стало известно, воеводам был послан указ с предупреждением, что "если впредь от них такие неподобные и поносные речи пронесутся, то будет им жестокое наказание безо всякой пощады". Даже самых знатных особ резко одергивали за малейшее нарушение малороссийских "вольностей". До нас дошла отписка из Москвы на имя кн. М. Волконского - воеводы Каневского. В 1676 году, этому воеводе попался в руки лазутчик с правого берега Днепра, признавшийся, что ходил от враждебного гетмана Дорошенко с "воровским листом" к полковнику Гурскому. Это же подтвердил и слуга полковника. Волконский, не предупредив левобережного гетмана Самойловича, которому подчинен был Гурский, начал дело о его измене. Самойлович обиделся и пожаловался в Москву. Оттуда Волконский получил отставку и выговор: "То ты дуростию своею делаешь негораздо, вступаешься в их права и вольности, забыв наш указ; и мы указали тебя за то посадить в тюрьму на день, а как будешь на Москве, и тогда наш указ сверх того учинен тебе будет" {41}. Запрещал и Петр попрекать украинцев изменой Мазепы. В некоторых важных случаях он грозил даже смертной казнью за это.

При таких строгостях и при таком уважении к дарованным им правам, казаки имели возможность мирным, лояльным путем добиваться устранения воеводских злоупотреблений, если бы таковые были. Но злоупотреблений было меньше, чем разговоров о них. Московская администрация на Украине, не успев появиться и пустить корни, была форменным образом вытеснена оттуда. Не она нарушала дарованные украинцам права и привилегии, а казачество постоянно нарушало верховные права Москвы, принятые и скрепленные присягой в Переяславле.

Впервые о введении войск в Малороссию заявлено было гетману Выговскому, в конце 1657 г. Для этой цели отправлен в Малороссию стольник Кикин с известием, что идут туда войска под начальством кн. Г. Г. Ромодановского и В. В. Шереметева. Кроме того, для участия в раде, едут царские посланные -

кн. А. Н. Трубецкой и Б. М. Хитрово. Войска посылались в города в качестве обыкновенных гарнизонов и воеводам не было дано административных прав – ни суд, ни сбор податей, ни какие бы то ни было отрасли управления их не касались. Рассматривались они, как простая воинская сила для удержания царских владений. Кикину приказано было разъяснить городским жителям, что их вольностям опасности не грозит, и что войска присылаются для оберегания края от ляхов и от татар. Поляки, в свое время, не допускали возведения крепостей на Украине, вследствие чего она оставалась беззащитной в случае внешнего нападения. Об укреплении ее и о защите с помощью царских войск просили Хмельницкий и старшина в 1654 г., включив в свою мартовскую челобитную специальный пункт по этому поводу. И позднее, как Хмельницкий, так и Выговский настаивали на удовлетворении этой просьбы. О присылке войск ходатайствовал в 1656 г. Павел Тетеря, – в бытность свою послом в Москве. Со стороны казачества, Москва меньше всего могла ожидать какой-нибудь оппозиции. Но тут и выяснилось, как плохо знала она своих врагов и своих друзей на Украине. Получилось так, что в городах и селах весть о приходе московских войск встречена была с одобрением, даже с восторгом, тогда как враждебная реакция последовала со стороны гетмана и казаков. Мещане, мужики и простые казаки выражали царскому стряпчему Рагозину, когда он ехал к Выговскому, желание полной замены казачьей администрации администрацией царской. Котляр наказной войт в Лубнах – говорил: "Мы все были рады, когда нам сказали, что будут царские воеводы, бояре и ратные люди; мы мещане с казаками и чернью заодно. Будет у нас в Николин день ярмарка и мы станем советоваться, чтоб послать к великому государю бить челом, чтоб у нас были воеводы". То же говорили бедные казаки: "Мы все рады быть под государевою рукою, да лихо наши старшие не станут на мере, мятутся, только вся чернь рада быть за великим государем". Нежинский протопоп Максим Филимонов прямо писал боярину Ртищеву: "Изволь милостивый пан советовать царю, чтоб не откладывая взял здешние края и города черкасские на себя и своих воевод поставил, потому что все желают, вся чернь рада иметь одного подлинного государя, чтоб было на кого надеяться; двух вещей только боятся: чтоб их отсюда в Москву не гнали, да чтоб обычаев здешних церковных и мирских не переменили... Мы все желаем и просим, чтоб был у нас один Господь на небе и один царь на земле. Противятся этому некоторые старшие для своей прибыли: возлюбивши власть не хотят от нее отступиться" {42}. Примерно то же говорили запорожцы отправившие в Москву свое посольство тайно от Выговского.

В июне 1658 г., когда воевода В. Б. Шереметев шел в Киев, жители на всем пути приветствовали его, выходили навстречу с иконами, просили прислать царских воевод в остальные города {43}. Зато у гетмана и старшины весть о приходе царских войск вызвала панику и злобную настороженность. Она усилилась, когда стало известно, что стольник Кикин, по дороге, делал казакам разъяснения, касательно неплатежа им жалованья. Царское правительство не требовало с Малороссии, в течение четырех лет, никаких податей. Оно и теперь не настаивало на немедленной их уплате, но его тревожили слухи о недовольстве простого казачества, систематически не получавшего жалованья. Боясь, как бы это недовольство не обратилось на Москву, оно приказало Кикину ставить народ в известность, что все поборы с Украины идут не в царскую, а в гетманскую казну, собираются и расходуются казацкими властями.

Выговский почувял немалую для себя опасность в таких разъяснениях. Мы уже знаем, что Москва, согласившись на просьбу Богдана платить жалованье казакам, связывала этот вопрос с податным обложением; она хотела, чтобы жалованье шло из сумм малороссийских сборов.

Ни Хмельницкий, ни его посланные Самойло Богданов и Павел Тетеря, никаких возражений по этому поводу не делали, да и трудно представить себе какие-либо возражения, но содержащая пункт о жаловании челобитная Богдана, которую он посылал в Москву в марте 1654 г., оказалась утаенной от всего казачества, даже от старшины. Лишь несколько лиц, в том числе войсковой писарь Выговский, знали об изложенных там просьбах {44}. Старый гетман, видимо, не хотел привлекать чье бы то ни было внимание к вопросу о сборе податей и к финансовому вопросу в целом. В "бюджет" Малороссии никто, кроме гетманского уряда, не должен был посвящаться. Нельзя не видеть в этом нового доказательства низменности целей, с которыми захвачена власть над Южной Русью. Впервые статьи Хмельницкого оглашены в 1659 г. во время избрания в

гетманы его сына Юрия, но в 1657 г. Выговский столь же мало заинтересован был в их огласке, как и Богдан. Разъяснения Кикина ускорили разрыв его с Москвой. Он приехал в Корсунь, созвал там полковников и положил булаву. "Не хочу быть у вас гетманом; царь прежние вольности у нас отнимает, и я в неволе быть не хочу". Полковники вернули ему булаву и обещали за вольности стоять вместе. Затем гетман произнес фразу, означавшую форменную измену: "Вы полковники должны мне присягать, а я государю не присягал, присягал Хмельницкий". Это, по-видимому, даже для казачьей старшины было не вполне пристойное заявление, так что полтавский полковник Мартын Пушкарь отозвался: "Все войско запорожское присягало великому государю, а ты чему присягал, сабле или пищали?" {45}. В Крыму, московскому посланнику Якушкину удалось проведать, что Выговский щупает почву на случай перехода в подданство к хану Мегмет Гирею. Известна и причина: "царь присылает к ним в черкасские города воевод, а он гетман не хочет быть у них под началом, а хочет владеть городами сам, как владел ими Хмельницкий" {46}.

Между тем, кн. Г. Г. Ромодановский с войском семь недель дождался гетмана в Переяславле, и когда Выговский явился – упрекал его за медлительность. Он ставил на вид, что пришел по просьбе Хмельницкого, да и самого же Выговского, тогда как теперь, ему не дают кормов в Переяславле, отчего он поморил лошадей, и люди от бескормицы начинают разбегаться. Если и впредь кормов не дадут, то он, князь, отступит назад в Белгород. Гетман извинился за неполадки, но решительно просил не отступать, ссылаясь на шаткость в Запорожье и в других местах. Весьма возможно, что он был искренен, в данном случае. Выговский пользовался чрезвычайной непопулярностью среди "черни"; в нем справедливо усматривали проводника идеи полного главенства старшины в ущерб простому казачеству. Запорожцы тоже его не любили за то, что он запрещал им рыбу ловить и вино держать на продажу. Они готовы были при первом удобном случае восстать на него. Гетман это знал и боялся. Присутствие московских войск на Украине было ему, в этом смысле, на руку. Ромодановскому он прямо говорил: "После Богдана Хмельницкого во многих черкасских городах мятежи и шатости и бунты были, а как ты с войском пришел, и все утихло. А в Запорожье и теперь мятеж великий...". Но, видимо, опасность пребывания царских войск в крае перевешивала в его глазах ту выгоду, которую они ему приносили. Именно в этот момент, т. е. с приходом Ромодановского, у него окончательно созрело решение об измене.

Между тем, на гетмана восстал Мартын Пушкарь – полтавский полковник. Среди других начальных людей замечена была тоже шатость, так что Выговский казнил в Гадяче некоторых из них, а на Пушкаря отправился походом, призвав на помощь себе крымских татар. В Москве встревожились. К гетману послали Ивана Апухтина с приказом не расправляться самовольно со своими противниками и не приводить татар, но ждать царского войска. Апухтин хотел ехать к Пушкарю, чтобы уговорить его, но Выговский не пустил. Он в это время уже был груб и бесцеремонен с царскими посланниками. Он осадил Полтаву, взял Пушкаря вероломством и отдал город на ужасающий погром татарам. Москва, тем временем, успела вполне узнать о его намерениях. Со слов митрополита киевского, духовных лиц, родни покойного Хмельницкого, киевских мещан и всяких чинов людей стало известно о сношениях Выговского с поляками на предмет перехода к ним. 16 августа 1658 года прибежали в Киев работники из лесов с известием, что казаки и татары идут под город, а 23 августа Данило Выговский – брат гетмана – явился к Киеву с двадцатитысячным казацко-татарским войском. Воевода Шереметев не дал застигнуть себя врасплох и отбил нападение с большим для Выговского уроном. Казаки, таким образом, объявили Москве настоящую войну. 6 сентября 1658 г., гетман Выговский заключил в Гадяче договор с польским послом Беневским, согласно которому запорожское войско отказывалось от царского подданства и заложило за короля. По этому договору, Украина соединялась с Речью Посполитой на правах, якобы, самобытного государства под названием "Великого Княжества Русского". Гетман избирался казаками и утверждался королем пожизненно. Ему принадлежала верховная исполнительная власть. Казачий реестр определялся в 30.000 человек. Из них, гетман имел право ежегодно представлять королю несколько человек для возведения в шляхетское достоинство с таким расчетом, чтобы число их из каждого полка не превышало 100. Договор был составлен так, что многие жизненные для Украины вопросы оставались неразрешенными и туманными. Такова была проблема Унии. Малороссы видеть ее у себя не хотели, но фанатизм

польских католиков был не меньший. Они приходили в ярость при одной мысли о возможных уступках схизматикам. Польскому комиссару Беневскому, заключавшему договор с Выговским, пришлось долго уламывать депутатов сейма в Варшаве. "Мы теперь должны согласиться для вида на уничтожение Унии, чтобы их приманить этим, - говорил он, - а потом... мы создадим закон, что каждый может верить, как ему угодно, - вот и Уния останется в целости. Отделение Руси в виде особого княжества будет тоже не долго: казаки, которые теперь думают об этом, - перемрут, а наследники их не так горячо будут дорожить этим и мало по малу все примет прежний вид" {47}. Такой же коварный замысел у поляков существовал относительно реставрации крепостного права. Ни полномочия земельных владельцев, ни права крестьян, что будут жить на их землях совершенно не оговаривались в трактате. Выговский и старшина молчаливо продавали простой народ в рабство, из которого он с такими мучениями вышел во время Хмельничины. Несмотря на то, что рада состояла из избранной части казачества, договор вызвал у нее так много сомнений, что едва не был отвергнут. Спас положение Тетеря, крикнув: "Эй! згодимоса панове-молодцы, з ляхами - бильшо будемо мати, покирливо телятко дви матери ссет!". На последовавшем после этого пиру, Выговский уверял казаков, будто все они по этому договору будут произведены в шляхетство {48}.

Выяснилось, однако, что далеко не все войско запорожское последовало за Выговским, многие остались верны Москве, и выбрав себе нового гетмана Беспалого, начали войну с Выговским. 15 января 1659 г., кн. А. Н. Трубецкой с большим войском выступил на помощь Беспалому. Но в конце июня это войско постиг жестокий разгром под Конотопом. Туда пришли татарский хан и Выговский со своими приверженцами. Один из русских предводителей, кн. С. Р. Пожарский, увлекшись преследованием казаков, попал в ловушку, был смят татарами и очутился со своим войском в плену. Самого его за буйное поведение (он плюнул хану в лицо) казнили; остальных русских пленных, в количестве 5.000 человек, казаки вывели на поле и перерезали, как баранов {49}. Узнав о гибели отряда Пожарского, Трубецкой в страшном беспорядке отступил в Путивль. Если бы татары захотели, они могли бы в этот момент беспрепятственно дойти до самой Москвы. Но хан, поссорившись с Выговским, увел свои войска в Крым, а Выговский должен был вернуться в Чигирин. Он пробовал оттуда действовать против москвичей, выслав на них своего брата Данилу с войском, но 22 августа Данило был наголову разбит.

30 августа, воевода Шереметев писал из Киева царю, что полковники переяславский, нежинский, черниговский, киевский и лубенский - снова присягнули царю. Услышав об этом, западная сторона Днепра тоже стала волноваться и почти вся отошла от Выговского. Казаки собрались вокруг Юрия Хмельницкого - сына Богдана, который 5 сентября писал Шереметеву, что он и все войско запорожское хочет служить государю. В тот же день, воевода Трубецкой двинулся из Путивля на Украину и везде был встречаем с триумфом, при громе пушек. Особенно торжественную встречу устроил Переяславль. Население повсеместно присягало царю.

Получилось так, как предсказывал Андрей Потоцкий, прикомандированный поляками к Выговскому и командовавший при нем польским вспомогательным отрядом. Наблюдая события, он писал королю: "Не изволь ваша королевская милость ожидать для себя ничего доброго от здешнего края. Все здешние жители (Потоцкий имел в виду обитателей правого берега) скоро будут московскими, ибо перетянет их к себе Заднепровье (восточная сторона), а они того и хотят и только ищут случая, чтоб благовиднее достигнуть желаемого" {50}. Измена Выговского показала, как трудно оторвать Украину от Московского Государства. Каких-нибудь четыре года прошло со дня присоединения, а народ уже сжился с новым подданством так, что ни о каком другом слышать не хотел. Больше того, он ни о чем так не мечтал, как об усилении этого подданства. Ему явно не нравились те широкие права и привилегии, что казачество выхлопотало себе в ущерб простому народу. Некоторые из писем направленных в Москву содержали угрозу: если царь не пресечет казачий произвол и не утвердит своих воевод и ратных людей, то мужики и горожане разбегутся со своих мест и уйдут, либо в великорусские пределы, либо за Днепр. Этот голос крестьянского и городского люда слышится на протяжении всех казачьих смут второй половины XVII столетия. Протопоп Симеон Адамович писал в 1669 г.: "Воля ваша; если прикажете из Нежина, Переяславля, Чернигова и Остра вывести своих ратных людей, то не думайте, чтоб было добро. Весь народ кричит, плачет: как

израильтяне под египетскою, так они под казацкою работою жить не хотят; воздев руки молят Бога, чтоб по-прежнему под вашей государскою державою и властью жить; говорят все: за светом государем живучи, в десять лет того бы не видели, что теперь в один год за казаками" {51}. 10 октября 1659 г., Юрий Хмельницкий со старшиной прибыл в Переяславль к Трубецкому. Старшина извинялась за измену и жаловалась, что принудил ее к этому "Ивашко Выговский".

Измена Выговского раскрыла московскому правительству глаза на страшный антагонизм между казачеством и крестьянством. Начали в Москве понимать, также, что десятки тысяч казаков только называются казаками, а на самом деле - те же крестьяне, которых матерые казаки и притесняют, как мужиков. После Зборова и Переяславля им удалось правдами и неправдами попасть в реестр и получить формальное наименование казака, но не воспользоваться ни одной из казачьих привилегий. Старое казачество их знать не хотело. Их устраняли от участия в казацких радах, пускали туда в незначительных количествах, а то и вовсе не пускали. При избрании Выговского, в Чигирине, рада сплошь состояла из старшины, полковников, сотников; когда "чернь" захотела проникнуть во двор в котором происходила рада, перед нею захлопнули ворота. Во всех петициях предъявленных старшиною московскому правительству, после измены Выговского, неизменно значился пункт о недопущении "черни" к разрешению войсковых дел. Борьба с нею приняла столь острый характер, что, начиная с конца шестидесятых годов XVII века, полковники начинают заводить себе "компании" - наемные отряды, помимо тех казаков, над которыми начальствовали и, как раз, для удержания в повиновении этих самых казаков. Гетманы, точно так же, создают при себе гвардию составленную чаще всего из иноземцев. Еще при Хмельницком состояло 3.000 татар, правобережные гетманы нанимали поляков, а Мазепа выпросил у московского правительства стрельцов для охраны своей особы, так что один иностранный наблюдатель заметил: "Гетман стрельцами крепок. Без них хохлы давно бы его уходили, да стрельцов боятся" {52}. Постепенно, Мазепа заменил их польскими сердюцкими полками. В 1696 году, киевский воевода кн. Барятинский получил от стародубского жителя Суслова письмо, в котором тот пишет: "Начальные люди теперь в войске малороссийском все поляки. При Обидовском, племяннике Мазепы, нет ни одного слуги казака. У казаков жалоба великая на гетманов, полковников и сотников, что для искоренения старых казаков, прежние вольности их все отняли, обратили их себе в подданство, земли все по себе разобрали. Из которого села прежде на службу выходило казаков по полтораста, теперь выходит только человек по пяти или по шести. Гетман держит у себя в милости и призрении только полки охотничьие, компанейские и сердюцкие, надеясь на их верность и в этих полках нет ни одного человека природного казака, все поляки... Гетман в нынешнем походе стоял полками порознь, опасаясь бунту; а если б все полки были в одном месте, то у казаков было совершенное намерение старшину всю побить" {53}.

Бунт полтавского полковника Пушкаря против Выговского был бунтом этой демократической части казачества против значных. Когда старшина, бросив Выговского и собравшись вокруг Юрия Хмельницкого, искала путей возвращения под царскую руку, она прежде всего домогалась устранения простого народа от участия в политической жизни и добивалась полной его зависимости от "значных". В предъявленных кн. Трубецкому 14 статьях, значился пункт и о воеводах, которых казачество нигде кроме Киева не хотело видеть.

Но события 1657-1659 г.г. укрепили Москву в сознании необходимости внимательнее прислушиваться к голосу низового населения и по возможности ограждать его от хищных поползновений старшины. Это отнюдь не выразилось в потакании "черни", в натравливании ее на "значных", как утверждает Грушевский. Будучи государством помещичьим, монархическим, пережившим в XVII веке ряд страшных бунтов и народных волнений, Москва боялась играть с таким огнем, от которого сама могла стореть. Не установлено ни одного случая, когда бы царское правительство применяло подобные методы в Малороссии. Но оно прекрасно поняло, что не казаки удерживают страну под царской властью, а простой народ. В ответ на 14 статей, Трубецкой выдвинул свои пункты: Гетману без совета всей черни в полковники и в начальные люди никого не выбирать и не увольнять. Самого гетмана, без царского указа не сменять. Начальных людей гетман не может казнить смертью, как это делал Выговский, без участия царского представителя. Запрещается распространять казачьи порядки на

Белоруссию. Воеводам царским быть в Переяславле, Нежине, Чернигове, Браสลавле, Умани, но в войсковые казачьи права и вольности не вступаться, у реестровых казаков на дворах не ставиться и подвод у них не брать. Без царского указа войн не начинать и на войну не ходить. За самовольное ведение войны - смертная казнь.

Сопоставление этих условий и контр-условий ясно обнаруживает стремление старшины изменить дух и букву переяславского присоединения, в то время как Москва упорно стоит на их сохранении.

Хотя новый гетман и руководившие им казацкие воротилы приняли требования Трубецкого и подписали их не прошло и года, как Юрий Хмельницкий изменил.

Необычайный переплет событий на Украине, вызванный изменой Выговского, сорвал фактически и отсрочил еще на несколько лет намеченное Москвой введение воевод. Только в Киеве им удалось удержаться; в большинстве же других городов, вследствие поднявшейся сумятицы, воеводы не утвердились. Возобновление переговоров о введении воеводского управления началось лишь в 1665 году по инициативе гетмана Брюховецкого. Но, чтобы понятной стала самая его инициатива, необходимо сказать несколько слов о приходе к власти этого человека.

Иван Мартынович Брюховецкий начал свою карьеру, как кошевой атаман в Сечи. Отсюда он стал вмешиваться в события левого берега, заявив себя ревностным сторонником Москвы, но в отличие от Самка и Золотаренка, представлявших значное казачество, Брюховецкий держал сторону "черни". Его соперничество носило, таким образом, социальный характер. Когда, 18 июня 1663 г., собралась в Нежине "черневая" рада, т. е. такая в которой участвовали наряду со значными также простые казаки, ни в каких реестрах не состоявшие, то царскому посланнику кн. Гагину не дали даже прочитать царского указа об избрании гетмана - толпа начала выкрикивать имена кандидатов, главным образом, Самка и Брюховецкого. Запорожцы кинулись на сторонников Самка, столкнули кн. Гагину с его места и провозгласили гетманом Брюховецкого. В свалке убито было несколько человек, а Самко едва спасся бегством в воеводский шатер. Он жаловался на незаконность выборов. Гагин созвал новую раду, но она оказалась для Самко еще более печальной по своим результатам. Те, что стояли, вначале, за него, - перешли теперь на сторону Брюховецкого.

"Чернь", не довольствуясь "избирательной" победой, кинулась грабить возы старшины, а потом резать и саму старшину. Три дня продолжались убийства. Самко и Золотаренко выволокли на войсковой суд, обвинили в измене и казнили вместе с толпой их сторонников.

Пред нами - первый случай прихода к власти "черни", сумевшей выдвинуть на гетманство своего ставленника. Этим объясняется успех Брюховецкого в первые годы его гетманства. Ему удается довольно быстро навести порядок на левой стороне Днепра, а потом перекинуться и на правый, где его влияние стало расти так быстро, что встревожило П. Тетерю, заставив его искать путей для перехода на сторону Москвы. Сам Иван Выговский, всеми оставленный, но носивший титул "гетмана русского и сенатора польского", стал подумывать об измене королю.

В 1664 г. он снесся с полковником Сулимою, дабы поднять восстание в пользу царя, перебить польских старост и отнять имения у шляхты. Он был расстрелян поляками. "Чернь", по обеим сторонам Днепра, тяготела, как прежде, к Москве. Почувствовав за собой мощь низового казачества, крестьянства и горожан, Брюховецкий сразу понял, какую позицию должен занять в отношении Москвы. В 1665 г. выражает он желание "видеть пресветлые очи государевы" и 11 сентября является в Москву во главе пышной свиты в 535 человек. Поведение его в Москве столь необычно, что заслуживает особого внимания. Он сам просит царя о присылке воевод и ратных людей в украинские города и сам выражает пожелание, чтобы сборы с мещан и с поселян, все поборы с мельниц, кабаков, а также таможенные сборы шли в пользу государя. Просит он и о том, чтобы митрополит киевский зависел от Москвы, а не от Константинополя. Казалось, появился наконец гетман за хотевший всерьез уважать суверенные права Москвы и понимающий свое подданство не формально, а по настоящему. Желая дать как можно больше доказательств благих намерений, Брюховецкий выражает пожелание жениться на девушке из почтенного русского семейства. За него сватают княжну Долгорукую и самому ему жалуют боярское

звание.

Враги Брюховецкого, значные казаки, находившиеся в лагере П. Тетери и П. Дорошенко, объявили его изменником и предателем казачества, но, совершенно очевидно, поведение Брюховецкого объясняется желанием быть популярным в народе. От гетмана выбранного "чернью" народ ждал политики согласной с его чаяниями. Известно, что когда воеводы стали прибывать в малороссийские города, жители говорили казацким старшинам в лицо: "Вот наконец Бог избавляет нас; впредь грабить нас и домов наших разорять не будете" {54}.

Тем не менее, по прошествии известного времени, "боярин-гетман", по примеру Выговского и Хмельницкого, изменил Москве. Причины были те же самые. Почувствовав себя прочно, завязав крепкие связи в Москве, заверив ее в своей преданности и в то же время снискав расположение простого украинского народа, гетман вступил на путь своих предшественников – на путь беззастенчивого обогащения и обирания населения.

Окружавшая его старшина, вышедшая из "черни", очень скоро забыла о своем происхождении и начала притеснять вчерашнюю братию с таким усердием, что превзошла прежнюю "значную" старшину. Результат не замедлил сказаться. Прелесть добычи породила ревность и боязнь лишиться хотя бы части ее. В московской администрации, которую сами же пригласили, стали усматривать соперницу. И это несмотря на то, что воеводы лично никаких податей не собирали, собирали по-прежнему "полковники с бурмистрами и войтами по их обычаям". Собранные суммы передавались воеводам. Местная казачья администрация не упразднилась и не подменялась москалями. Тем не менее, не успели воеводы с ратными людьми прибыть в города, а им уже стали говорить: "Вот казаки заведут гиль и вас всех отсюда погонят". Русских стали называть злодеями и жидами. Особенно заволновалось Запорожье. Запорожцы, в отличие от реестровой старшины, боялись воевод не по фискальным, а по военным соображениям. Они заботились, чтобы не было пресечено их привольное разбойничье житье в Сечи. Малейший намек на покушение, в этом смысле, вызывал у них реакцию. Когда Москва, по совету Брюховецкого, решила послать свой гарнизон в крепость Кодак, расположенную близко к Сечи и служившую как бы ключом к Запорожью, это послужило причиной антимосковских выпадов сечевиков. В мае 1667 г. ими было зверски перебито московское посольство во главе со стольником Лодыженским, ехавшее по Днепру в Крым. Кроме того, они стали сноситься с правобережным гетманом Дорошенко, с Крымом, с поляками, со всеми врагами Москвы. К казачьему недовольству присоединилось открытое раздражение высшего духовенства, перепуганного просьбой Брюховецкого о поставлении в Киев митрополита московской юрисдикции. Сам царь отклонил это ходатайство, заявив, что без согласия константинопольского патриарха не может этого сделать, но малороссийское духовенство насторожилось и повело интригу для отпадения Украины. Совокупность этих причин, к которым примешалось множество личных дел и обстоятельств, вроде того, что Дорошенко поманил Брюховецкого перспективой распространения его власти на оба берега, обещав поступиться ему своей булавой, при условии измены Москве, – привели к тому, что Брюховецкий в конце 1667 г. собрал раду из полковников и старшины, где выработан был план изгнания московских войск и воевод из Малороссии. Сначала запретили платить подати царю. Крестьяне, чуя недоброе, неохотно повиновались, а кое-где и совсем противились приказам старшины, как это имело место в Батурином и Батманском уездах. За это их мучили и грабили до того, что им нечем стало платить. Сборщиков податей жестоко преследовали, особенно мещан-откупщиков; им резали бороды и грозили: будьте с нами, а не будете, то вам, воеводе и русским людей жить всего до масленицы" {55}.

В Москве, узнав о начавшейся шатости, решили сделать последнее усилие, чтобы удержать старшину от измены – послали 6 февраля 1668 г. увещательную грамоту гетману: "А если малодушные волнуются за то, что нашим воеводам хлебных и денежных сборов не ведать, хотят взять эти сборы на себя, то пусть будет явное челобитье от всех малороссийских жителей к нам, мы его примем милостиво и рассудим, как народу легче и Богу угоднее" {56}. Но быть может, именно эта грамота и ускорила взрыв. Из нее видно, что царь не прочь был пересмотреть вопрос о воеводских функциях, при условии челобитья ОТ ВСЕХ малороссиян. Ему хотелось слышать голос всей земли, а не одной старшины, не одного казачества. Этого старшина больше всего и боялась.

Разрыв с Москвой произошел 8 февраля. Воевода и начальники московского

войска в Гадяче, явившись в этот день к гетману, чтобы ударить челом, - не были приняты. Потом гетман призвал немца - полковника Ягана Гульца, командовавшего московским отрядом, и потребовал, чтобы тот немедленно уходил из города. Гулец взял с него клятву, что при выходе ничего худого ему сделано не будет. Воеводе Огареву с криком и бранью сказали: "Если вы из города не пойдете, то казаки вас побьют всех". Московских людей в Гадяче стояло всего 200 человек, крепости в городе не было, воеводе ничего не оставалось, как отдать приказ о выступлении. Но когда подошли к воротам, они оказались запертыми. Гульца с начальными людьми выпустили, но стрельцов, солдат и воеводу остановили. На них бросились казаки. Только немногим удалось вырваться из города, но и их настигли и убили. Догнали и убили немца Гульца с товарищами. Огарев, раненый в голову, был взят местным протопопом и положен у себя, а жену его с позором водили по городу, учинив величайшее зверство. Ей отрезали грудь. После этого гетман разослал листы во все концы с призывом очищать остальные города от московских ратных людей.

Через четыре месяца, 7 июня 1668 г., Брюховецкий был убит казаками. Он весьма просчитался в своих сношениях с Дорошенко; тот не только не был намерен отдавать ему булаву, но потребовал, чтобы Брюховецкий сложил свою. Выяснилось, также, что приближенные Брюховецкого не любят его и ждут случая перейти на сторону Дорошенко. В таком положении, гетман решил поддаться турецкому султану и отправил послов в Константинополь. Но дни его были сочтены. Под Диканькой он узнал о приближении Дорошенко и когда тот явился, свои же собственные казаки, совместно с дорошенковцами, убили "боярина-гетмана".

В результате его измены турецкий подданный Дорошенко захватил 48 городов и местечек. Москва потеряла, кроме фуража и продовольствия, 183 пушки, 254 пищали, 32 тысячи ядер, всякого имущества на 74 тысячи рублей, да деньгами 141.000 руб. {57}. По тем временам это были крупные суммы.

Как только Дорошенко ушел на правую сторону Днепра, вся левобережная Украина снова стала переходить к Москве.

Здесь нельзя не сказать несколько слов о Дорошенке, который по сей день остается одним из кумиров самостийнического движения и поминается в качестве борца за "незалежность". Этот человек причинил украинскому народу едва ли не больше несчастий, чем все остальные гетманы вместе взятые. История его такова. После измены Выговского, только Киев продолжал оставаться в московских руках, вся остальная правобережная Украина отдана была полякам. С избранием Юрия Хмельницкого она на короткое время вернулась к царю с тем, чтобы с его изменой опять попасть в польские руки. Тетеря, в продолжении своего короткого гетманства, удерживал ее в королевском подданстве, а когда на смену ему, в 1665 году, пришел Петр Дорошенко, тот заложился за турецкого султана главу обширной рабовладельческой империи. У турок существовал взгляд на юго-восток Европы, как на резервуар рабской силы, почерпаемой с помощью крымских, азовских и белгородских (аккерманских) татар. Их набеги на Русь и Польшу представляли собой экспедиции за живым товаром. Десятки и сотни тысяч славян поступали на невольничьи рынки в Константинополе и в Малой Азии. Но до сих пор этот ясырь добывался путем войн и набегов; теперь, с утверждением на гетманстве Дорошенко, татары получили возможность административно хозяйничать в крае. Период с 1665 по 1676 г., в продолжении которого Дорошенко оставался у власти, был для правобережной Украины временем такого опустошения, с которым могут сравниться только набеги Девлет Гирея в середине XVI века. Татары, приходившие по зову Дорошенка и без него, хватили людей направо и налево. Правый берег превратился в сплошной невольничий рынок. Торговля в Чигирине шла чуть не под самыми окнами гетманского дома. Жители начали "брести розно", одни бежали в Польшу, другие на левый берег, третьи - куда глаза глядели. В 1672 г. Дорошенко привел в Малороссию трехсоттысячное турецкое войско и разрушил Каменец Подольский, в котором все церкви обращены были в мечети. "Здесь все люди видят утеснение от турок, Дорошенко и нас проклинаят и всякое зло мыслят" - писал про правый берег каневский полковник Лизогуб. Под конец, там начался голод, так как люди годами ничего не сеяли из-за татарского хищничества. По словам гетмана Самойловича, Дорошенко и сам, в конце концов, увидел, что ему "не над кем гетманить, потому что от Днестра до Днепра нигде духа человеческого нет, разве где стоит крепость польская". Лавируя между Польшей, Москвой и Крымом, Дорошенко нажил себе множество врагов среди, даже, значного казачества.

Против него действовали не только левобережные гетманы, но поднялись также избранные запорожцами Суховой, Ханенко и другие. Залавировавшись и заинтриговавшись, он кончил тем, что сдался на милость гетману Самойловичу, обещавшему ему от имени Москвы приют и безопасность. Переехав в Москву, Дорошенко назначен был вятским воеводой, в каковой должности и умер. Сбылось, таким образом, слово, сказанное, как-то раз, Демьяном Многогрешным - преемником Брюховецкого: "А сколько своевольникам ни крутиться, кроме великого государя деться им негде". Многогрешный, видимо, понимал, что пока вся толща украинского народа стихийно тяготеет к Москве, казачья крамола обречена на неудачу.

Знаменитая украинская исследовательница и патриотка А. Я. Ефименко, которую трудно заподозрить в симпатии к самодержавию, писала: "Как союз Малороссии с Россией возник в силу тяготения к нему массы, так и дальнейшая политика русского правительства, вплоть до второй половины XVIII столетия, имела демократический характер, не допускавший никакой решительной меры, направленной в интересах привилегированного сословия против непривилегированного" {58}.

Кончилось, однако, тем, что "привилегированным" удалось восторжествовать и над этой политикой, и над непривилегированным населением Украины. Соблюдая все дарованные ей права и вольности, но, постоянно терпя нарушение своих собственных прав, Москва вынуждена была, в сущности, капитулировать перед половецкой ордой, зубами и когтями вцепившейся в ниспосланную ей судьбой добычу.

В течение полустолетия, протекшего со смерти Богдана Хмельницкого до измены Мазепы, Москва была измотана непрерывными гетманскими интригами, "замятнями", переходами на польскую сторону. Не успевала вводить воевод, как через некоторое время приходилось выводить их снова. В этом и заключался метод казачьей борьбы против царской администрации. Существенной его частью была антимосковская агитация, жалобы на воеводские притеснения и неустанные требования полного упразднения воевод. Бывали случаи, когда Москва сурово вычитывала казакам их измены; особенно сильную речь произнес в 1668 г. на глуховской раде кн. Г. Г. Ромодановский. В ответ на просьбу старшины о выводе государевых ратных людей из малороссийских городов, он прямо спросил: "Какую вы дадите поруку, что впредь измены никакой не будет?" Гетман и старшина на это промолчали. "И прежде были договоры, - сказал Ромодановский, - перед святым Евангелием душами своими их крепили и что ж? Соблюди их Ивашка Выговский, Юраська Хмельницкий, Ивашка Брюховецкий? Видя с вашей стороны такие измены, чему верить? Вы беретесь все города оборонять своими людьми, но это дело несбыточное. Сперва отберите от Дорошенки Полтаву, Миргород и другие; а если бы в остальных городах царских людей не было, то и они были бы за Дорошенком" {59}.

Несмотря на столь категорические заявления, Москва не выдержала бесконечной гетманской крамолы и сдалась. Как только удалось заключить более или менее прочный мир с поляками и объединить всю оставшуюся Украину под одним гетманом Самойловичем - она свела свою администрацию на нет, и фактически отдала край в гетманское, старшинское управление.

До учреждения "Малороссийской коллегии" в 1722 г., правительство довольствовалось номинальным пребыванием Малороссии в составе Российского Государства. Оно содержало в некоторых городах воинские гарнизоны, но от управления краем, фактически, устранилось. Все доходы с городов и сел Малороссии остались в гетманской казне. Пропагандистские измышления самостийников о грабеже Украины царским правительством рассчитаны на невежественных людей и не выдерживают соприкосновения с серьезным исследованием этого вопроса. Даже за короткое пребывание воевод в некоторых украинских городах, правительство не пожилось ни одним рублем из местных сборов - все шло на военные нужды Малороссии. Приходилось нередко посылать туда кое-что из московских сумм, потому что казачье начальство совершенно не заботилось о состоянии крепостей.

Старшина дошла до того, что и этими присылками воспользовалась, как прецедентом, чтобы выпрашивать у царя денежные подачки. Когда Мазепа своим хищничеством довел край до финансового истощения, генеральная канцелярия обратилась в Москву за деньгами на жалованье охотничьему войску. Там были немало удивлены и ответили, что если раньше и были дотации, то объяснялось это военным временем, а теперь никакой войны нет. Москва напоминала, что

"всякие доходы в Малороссии за гетманом, старшиною и полковниками, и бить еще челом о деньгах стыдно". Петр Великий, позднее, говорил: "Можем непостыдно речи, что некоторый народ под солнцем такими свободами и привилегиями и легкостью похвалиться не может, как по нашей царского величества милости, малороссийский, ибо ни единого пенязя в казну нашу во всем малороссийском краю с них брать мы не повелеваем". Это была правда.

Полвека спустя, в 1764 г., было разработано секретное наставление Н. А. Румянцеву, при назначении его малороссийским генерал-губернатором, где между прочим говорилось: "От сей толь обширной, многолюдной и многими полезными произращениями преизобильной провинции, в казну государственную (чему едва кто поверить может) доходов никаких нет. Сие однакож так подлинно, что напротив того еще отсюда отпускается туда по сороку по восьми тысяч рублей" {60}.

М. С. Грушевский, возмущавшийся тем, что Москва в Переяславле не удовлетворила, якобы, казачью просьбу о том, "чтобы все доходы с Украины поступали в местную казну и выдавались на местные нужды", - мог бы совершенно успокоиться при виде практики фактически установившейся в Малороссии. Из страны, действительно, не уходило "ни единого пенязя", все оставалось в руках местных властей. Другой вопрос, действительно ли собиравшиеся деньги "выдавались на местные нужды?" Если бы выдавались, не было бы такого вопиющего неурядиства во всех делах, не было бы народного ропота и недовольства, и не было бы волшебного превращения, за ничтожно-короткий срок, запорожских голодранцев в обладателей огромных состояний. Уже в XVIII веке малороссийские помещики оказываются гораздо богаче великорусских, как землями, так и деньгами. Когда у Пушкина читаем: "Богат и славен Кочубей, его поля необозримы" - это не поэтический вымысел. Петр Великий глубоко ошибался, полагая, будто "свободами", "привилегиями" и "легкостью" пользуется весь малороссийский народ. Народ чувствовал себя не лучше, чем при поляках, тогда как "свободы" и "легкости" выпали на долю одному значному казачеству, налегшему тяжелым прессом на все остальное население и обдиравшему и грабившему его так, как не грабила ни одна иноземная власть. Только абсолютно бездарные, ни на что не способные урядники не скопили себе богатств. Все остальные быстро пошли в гору. Мечтая издавна о шляхетстве и стараясь всячески походить на него, казаки лишены были характерной шляхетской брезгливости к ростовщичеству, к торговле, ко всем видам мелкой наживы. Особенно крупный доход приносили мельницы и винокурни. Все они оказываются в руках старшины. Но главным источником обогащения служил, конечно, уряд. Злоупотребление властью, взяточничество, вымогательство и казнокрадство лежат в основе образования всех крупных частных богатств на Украине.

Величайшими стяжателями были гетманы. Нежинский протопоп Симеон Адамович писал про гетмана Брюховецкого, что тот "безмерно побрал на себя во всей северской стране дани великие медовые, из винного котла у мужиков: по рублю, а с казака по полтине, и с священников (чего и при польской власти не бывало) с котла по полтине; с казаков и с мужиков поровну от сохи по две гривны с лошади, и с вола по две же гривны, с мельницы по пяти и по шести рублей же брал, а кроме того от колеса по червонному золотому, а на ярмарках, чего никогда не бывало, с малороссиян и с великороссиян брал с воза по десять алтын и по две гривны; если не верите, велите допросить путивльцев, севчан и рылян..." {61}. Сохранилось много жалоб на хищничество гетмана Самойловича. Но всех превзошел Мазепа. Он еще за время своей службы при Дорошенко и Самойловиче скопил столько, что смог, согласно молве, проложить золотом путь к булаве. А за то время, что владел этой булавой, - собрал несметные богатства. Часть из них хранилась в Киево-Печерском монастыре, другая в Белой Церкви и после бегства Мазепы в Турцию досталась царю. Но Петру сообщили, что это далеко не все - много было зарыто и запрятано. С собой Мазепа успел захватить такие богатства, что имел возможность в изгнании дать взаймы 240.000 талеров Карлу XII, а после смерти гетмана при нем найдено было 100.000 червонцев, не считая серебряной утвари и всяких драгоценностей. Петру, как известно, очень хотелось добиться выдачи Мазепы, для каковой цели он готов был пожертвовать крупными суммами на подкуп турецких властей. Но гетман оказался богаче и перекупил турок на свою сторону {62}.

Сам собой возникает вопрос, почему царское правительство допустило

такое закабаление Малороссии кучкой "своевольников", почему не вмешалось и не пресекло хозяйничанья самочинно установившегося, никем не уполномоченного, никем не избранного казачьего уряда? Ответ прост: в правление Алексея Михайловича, Московское царство, не успевшее еще оправиться от последствий Смуты, было очень слабо в военном и экономическом отношении. Потому и не хотело принимать, долгое время, в свой состав Малой России. Приняв ее, обрекло себя на изнурительную тринадцатилетнюю войну с Польшей. Оно само постоянно содрогалось от внутренних бунтов и потрясений. С восьмидесятых годов начались дворцовые перевороты, правление малолетних царей и временщиков. До самого XVIII века оно пребывает в состоянии слабости. А там начинается Великая Северная война, поглотившая на целую четверть столетия его внимание и энергию.

Удерживать при таких обстоятельствах обширный, многолюдный край с помощью простой военной силы не было никакой возможности. Только с ее же собственной помощью можно было удержать Малороссию – завоевать ее симпатии или, по крайней мере, лояльность. Казачье буйство, само по себе, ничего страшного не представляло, с ним легко было справиться; опасным делала его близость Польши и Крыма. Каждый раз, когда казаки приводили татар или поляков, москвичи терпели неудачу. Так было под Конотопом, так было под Чудновым. Казаки знали, что они страшны возможностью своего сотрудничества с внешними врагами, и играли на этом. Надо было уступать их прихотям, не раздражать без особой нужды, смотреть сквозь пальцы на многие проступки и строго следить за соблюдением дарованных им прав. Все первые пятьдесят лет после присоединения Малороссии представляются старательным приручением степного зверя. Многие государственные люди в Москве теряли терпение в этой игре и приходили к мысли отказаться от Украины. Таков был знаменитый А. Л. Ордин-Нащокин, вершитель внешней политики при Алексее Михайловиче. Своими непрерывными изменами и путчами казаки до того ему опротивели, что он открыто высказывался за лишение Украины русского подданства. Только глубокая религиозность царя Алексея Михайловича, приходившего в ужас при мысли об отдаче православного народа католикам или магометанам, не позволяла распространения подобных тенденций при дворе.

Начало "идеологии"

Решающие перемены в судьбах народов, вроде тех, что пережила Малороссия в середине XVII века, проходят, обычно, под знаком каких-нибудь популярных лозунгов, чаще всего религиозных или национальных. С 1648 по 1654 г., когда шла борьба с Польшей, простой народ знал, за что он борется, но у него не было своего Томаса Мюнцера, способного сформулировать идею и программу движения. Те же, которые руководили восстанием, преследовали не народные, а свои узко-кастовые цели. Они беззастенчиво предавали народные и национальные интересы, а к религиозным были достаточно равнодушны. Ни ярких речей или проповедей, ни литературных произведений, никаких вообще значительных документов отражающих дух и умонастроения той эпохи, Хмельничина не оставила. Зато много устных и письменных "отложений" оставила по себе вторая половина XVII века, отмеченная знаком господства казачества в крае. В эту эпоху выработалось все то, что потом стало навязываться малороссийскому народу, как форма национального сознания. Идеологией это назвать трудно по причине полного отсутствия всего, что подходило бы под такое понятие; скорей, это была "психология" – комплекс настроений созданный пропагандой. Складывался он постепенно, в практике борьбы за власть и за богатства страны. Практика была низменная, требовавшая сокрытия истинных целей и вожделиний; надо было маскировать их и добиваться своего под другими, ложными предлогами, мутить воду, распускать слухи. Клевета, измышления, подделки – вот арсенал средств пущенных в ход казачьей старшиной.

В психологическом климате, созданном таким путем, первое место занимала ненависть к государству и к народу, с которыми Южная Русь соединилась добровольно и "с радостью", но которые стояли на пути осуществления хищных замыслов казачества.

Семидесятилетие, протекшее от Хмельницкого до Полуботка, может

считаться настоящей лабораторией антимосковской пропаганды. Началась она при жизни Богдана и едва ли не сам он положил ей начало.

Первым поводом послужил инцидент 1656 года, разыгравшийся в Вильне, во время мирной конференции с поляками. Хмельницкий послал туда своих представителей, давши повод думать, что рассматривает себя не царским подданным, а главой независимого государства. Весьма возможно, что то была не простая безтактность, а провокационный шаг, предпринятый с целью проследить реакцию, которая последует с разных сторон и прежде всего со стороны Москвы. На царских дипломатов он произвел тягостное впечатление. Они вынуждены были напомнить казакам об их присяге, и о неуместности их поступка. Те уехали, но пустили по Украине слух, будто московский царь снова хочет отдать ее ляхам за согласие, после смерти Яна Казимира, избрать его на польский престол. Особенно усердно прибегали к этому приему после Андрусовского перемирия 1667 г., по которому русские вынуждены были уступить полякам всю правую сторону Днепра, за исключением Киева. Но и Киеву, по истечении двух лет, надлежало отойти к той же Польше. Всем воочию было видно, что русские это делают по горькой необходимости, в силу несчастного оборота войны, принудившего их помириться на формуле: "кто чем владеет". Известно было, что и исход войны определился, в значительной мере, изменами Выговского, Ю. Хмельницкого, Тетери и Дорошенко. "Ведомо вам самим, – говорил в 1668 г. кн. Ромодановский на Глуховской раде – что той стороны Днепра казаки и всякие жители от царского величества отлучились и польскому королю поддались сами своею охотою прежде Андрусовских договоров, а не царское величество их отдал, по тому их отлученью и в Андрусове договор учинен". Гетман Демьян Многогрешный перед всей радой должен был признать правильность этих слов. "Нам ведомо подлинно, – заявил он, – что тамошние казаки поддались польскому королю сами; от царского величества отдачи им не бывало" {63}. Тем не менее, по всей стране разнесена была клеветническая молва.

Другим излюбленным мотивом антирусской пропаганды служили пресловутые воеводы, их мнимые зверства и притеснения. Легенда о притеснениях складывалась не из одних слухов и нашептываний, но имела и другой источник – гетманские универсалы. Редкий гетман не изменял царю, и каждый вынужден был оправдывать свою измену перед народом и казаками.

Выговский, задумав отпадение от Москвы, тайно поручил миргородскому полковнику Лесницкому послать в Константинов воззвание и созвав у себя раду из сотников и атаманов, обратиться к ней с речью: "Присылает царь московский к нам воеводу Трубецкого, чтоб войска запорожского было только 10.000, да и те должны жить в Запорожьи. Пишет царь крымский очень ласково к нам, чтоб ему поддались; лучше поддаться крымскому царю: Московский царь всех вас драгунами и невольниками вечными сделает, жен и детей ваших в лаптях лычных водить станет, а царь крымский в атласе, аксамите и сапогах турецких водить будет" {64}.

Измена Ю. Хмельницкого сопровождалась выступлением П. Тетери перед народом. Казачий златоуст порассказал таких страхов о замыслах Москвы против Украины, которые он якобы разузнал во время своего посольства, что казаки пришли в неопиcуемый ужас.

Но самые яркие универсалы вышли из-под пера Брюховецкого: "Послы московские с польскими комиссарами присягою утвердились с обеих сторон: разорять Украину отчизну нашу милую, истребив в ней всех жителей больших и малых. Для этого Москва дала ляхам на наем чужеземного войска четырнадцать миллионов денег. О таком злом намерении неприятельском и ляцком узнали мы через Духа Святого. Спасаясь от погибели, мы возобновили союз с своею братьею. Мы не хотели выгонять саблею Москву из городов украинских, хотели в целости проводить до рубежа, но москали сами закрытую в себе злобу объявили, не пошли мирно дозволенною им дорогою, но почали было войну. Тогда народ встал и сделал над ними то, что они готовили нам; мало их ушло живых".

На Дон отправлено было более красочное послание. В нем москали обвинялись в том, что "постановили православных христиан на Украине, живущих всякого возраста и малых отрочат, мечем выгубить, слобожан захватив, как скот в Сибирь загнать, славное Запорожье и Дон разорить и в конец истребить, чтобы на тех местах, где православные христиане от кровавых трудов питаются, стали дикие поля, зверям обиталище, да чтобы здесь можно было селить иноземцев из оскуделой Польши". Для большей убедительности, Брюховецкий

приводит и конкретные примеры московской жестокости: "В недавнее время, под Киевом, в городах: Броварах, Гоголеве и других, всех жителей вырубили не пощадив и малых деток". В заключение, донцов призывают подняться против Москвы: "Будьте в братском единении с господином Стенькою, как мы находимся в неразрывном союзе с заднепровскою братьею нашею" {65}.

Неразборчивостью лжи поражают все гетманские универсалы такого рода. Вот что писал Мазепа в объяснение причин побудивших его перейти к Карлу XII: "Московская потенция уже давно имеет всезлые намерения против нас, а в последнее время начала отбирать в свою область малороссийские города, выгонять из них ограбленных и доведенных до нищеты жителей и заселять своими войсками. Я имел от приятелей тайное предостережение, да и сам вижу ясно, что враг хочет нас, гетмана, всю старшину, полковников и все войсковое начальство прибрать к рукам в свою тиранскую неволю, искоренить имя запорожское и обратить всех в драгуны и солдаты, а весь малороссийский народ подвергнуть вечному рабству". По словам Мазепы, трусливые москали, всегда удиравшие от непобедимаго шведского войска, явились теперь в Малороссию не для борьбы с Карлом, "не ради того, чтобы нас защищать от шведов, а чтобы огнем, грабежом и убийством истреблять нас" {66}. Чем менее благовидны и менее народны были мотивы измены, тем большим количеством "тиранств" московских надо было ее оправдать. Измена Мазепы породила наибольшее количество агитационного материала и антимосковских легенд. Особенно старались мазепинцы-эмигранты, вроде Орлика, войскового писаря - самого доверенного человека Мазепы. Читая его письма, прокламации, меморандумы, можно подумать, что москали, в царствование Петра, учредили какое-то египетское рабство на Украине, - били казаков палками по голове, обрубали шпагами уши, жен их и дочерей непременно насиловали, скот, лошадей, имущество забирали, даже старшину били "смертным боем".

Мятежных гетманов поддерживала высшая церковная иерархия на Украине. Несмотря на жестокое польское гонение, малороссийский епископат проникнут был польскими феодальными замашками и традициями. Свою роль в православной Церкви он привык мыслить на католический образец. "Князь Церкви" - таков был идеал украинского архиерея. Именно на почве ущемления этого "княжества" со стороны братств, многие вроде Кирилла Терлецкого, Ипатия Потeya, Михаила Рагозы, ударились в Унию. Оставшимся верными православию, хоть и пришлось пережить эпоху преследований, но как только поляки, проученные Хмельничной, заговорили ласковым голосом, пообещав распространить на них права и привилегии католических бискупов, верхушка украинской Церкви колебнулась в их сторону. Пугал ее переход в московскую юрисдикцию. Числясь в ведении Константинополя, она фактически оставалась независимой. Подчиненность тамошнему патриарху была номинальная и ничем ее не стесняла, особенно в экономической области. Грек Паисий Лигарид указывал, что суммы на Церковь собираются большие, а Св. София и прочие соборы приходят в ветхость, попы и меньшая церковная братия живут бедно, куда идут деньги - неизвестно.

Боязнь контроля и ограничения сделала малороссийских архиереев противниками царского подданства. Они уклонились от присяги после Переяславской Рады. Когда в Киев явился воевода кн. Куракин, митрополит Сильвестр Коссов мешал ему строить там крепость, пуская в ход угрозы и проклятия. Дионисий Балабан, ставший митрополитом после Сильвестра, был неприкрытым сторонником польской ориентации и состоял в стоворе с Выговским. Таким же полонофилом, связанным с интригами гетмана Дорошенко, был епископ Иосиф Тукальский, а другой епископ, Мефодий Филимонов, произносил открыто в Киеве проповеди против Москвы.

Но все это не шло в сравнение с активностью львовского епископа Иосифа Шумлянського - униата, тайного католика. В случае отторжения Украины от Москвы, поляки метили сделать его митрополитом Киевским. Шумлянський создал целый агитационный аппарат и когда, при царевне Софье, в Кремле начались смуты, он при поддержке поляков отправил на Украину армию монахов, снабженных письменной инструкцией, дававшей указания, как сеять порочащие Москву слухи. Инструкция предписывала запугивать казаков готовящимся искоренением их со стороны Москвы и обнадеживать королевской милостью. Духовенство приказано было манить обещанием полной церковной автономии. Туча прокламаций занесена была на Украину.

Заслуживает внимания одна нота, звучащая в "прелестных листах" и в речах: обвинение москвичей в отступлении от православного благочестия.

Сначала это выражалось в сдержанной форме, Москве приписывалось намерение изменить малороссийские религиозные обряды, ввести погружение младенцев в воду при крещении, вместо обливания. Не успели это высказать, как пошел слух, будто украинские попы, непривычные к такому способу крещения, потопили множество младенцев. Во время конфликта царя с патриархом Никоном, гетман Брюховецкий писал в своем универсале: "Святейший отец наставлял их (москвичей), чтобы не присовокуплялись к латинской ереси, но теперь они приняли Унию и ересь латинскую; ксендзам служить в церквах позволили. Москва уже не русским, но латинским письмом писать начала" {67}. Легенда об отступничестве получила столь широкое распространение, что ее счел нужным повторить, в своих воззваниях к малороссийскому народу, Карл XII. Он тоже уверял, будто Петр давно задумал искоренить в своем государстве греческую веру, по каковому случаю вел переговоры с Папой Римским. Инспирированы были эти курьезные манифесты Мазепой, открывшим Карлу главную причину единения малоруссов с великоруссами – православную веру. Идея представлять москалей неправославными принадлежит не Мазепе и не казакам; она родилась в Польше. На Гадячской раде 6 сентября 1658 г., польский посол Беневский говорил казакам: "Что приманило народ русский под ярмо московское? Вера? Неправда: у вас вера греческая, а у москалей вера московская! Правду сказать, москали так верят, как царь им прикажет. Четырех патриархов святые отцы установили, а царь сделал пятого и сам над ним старшинствует; чего соборы вселенские не смели сделать, то сделал царь!" {68}.

Нам уже приходилось говорить, что Польша издавна была фабрикой памфлетов, книг, речей, направленных против России.

В XVI столетии это были богословско-полемические сочинения, по преимуществу. После Ливонской войны и Смуты к ним начали примешиваться политические памфлеты, полные хвастовства о том, как "мы их часто одолевали, побивали и лучшую часть их земли покорили своей власти". Литература эта вызвала в XVII веке дипломатические конфликты и требования со стороны Москвы уничтожения "безчестных" книг и наказания их авторов и издателей.

Но с особенной энергией заработала польская агитация после присоединения Малороссии к Московскому Государству. Боярин А. С. Матвеев, управлявший одно время Малороссийским Приказом, писал впоследствии, как он затребовал к себе в Москву образцы этой агитации.

"И из черкасских городов привезли многие прописные листы, которые объявились противны Андрусовским договорам и московскому постановлению и книгу Пашквиль, речением славенским: подсмеяние или укоризна, печатную, которая печатана в Польше. В этой книге положен совет лукавствия их: время доходит поступать с Москвою таким образом, и время ковать цепь и Троянского коня, а прочее явственнее в той книге" {69}.

Весь фонд анекдотов, сарказмов, шуточек, легенд, антимосковских выдумок, которыми самостийничество пользуется по сей день, – создан поляками. Знаменитая "История Русов" представляет богатейшее собрание этого агитационного материала, наводнившего Украину после ее присоединения к России. Часто, речи, вложенные авторами этого произведения в уста казачьим деятелям и татарам, не требуют даже анализа для выявления своего польского происхождения. Такова, например, речь крымского хана о России: "В ней все чины и народ почти безграмотны и множеством разностей и странных мольбищ сходятся с язычеством, а свирепостью превосходят диких... между собою они безпрестанно дерутся и тиранствуют, находя в книгах своих и крестах что-то неладное и не по нраву каждого". Казачьему предводителю Богуну приписаны тоже слова, выражающие распространенный польский взгляд на Россию: "В народе московском владевает самое неключимое рабство и невольничество в высочайшей степени, и что у них кроме Божьего да царского, ничего собственного нет и быть не может и человеки, по их мыслям, произведены в свет будто для того, чтобы в нем не иметь ничего, а только рабствовать. Самые вельможи и бояре московские титулуются обыкновенно рабами царскими и в просьбах своих всегда пишут они, что бьют ему челом; касательно же посполитова народа, то все они читаются крепостными" {70}.

Когда Выговский изменил царю и собрал раду в Гадяче, туда приехал польский посланный Беневский. Речь его к казакам – великолепный образец красноречия рассчитанного на слушателей знающих, что каждое слово оратора – ложь, но принимающих ее, как откровение.

"Все доходы с Украины царь берет на себя, установили новые пошлыны,

учредили кабаки, бедному казаку нельзя уже водки, меда или пива выпить, а про вино уже и не вспоминают. Но до чего, паны-молодцы, дошла московская жадность? Велят вам носить московские зипуны и обуваться в московские лапти! Вот неслыханное тиранство!.. Прежде вы сами старшин себе выбирали, а теперь москаль дает вам кого хочет; а кто вам угоден, а ему не нравится, того прикажет известить. И теперь вы уже живете у них в презрении; они вас чуть за людей считают, готовы у вас языки отрезать, чтоб вы не говорили и глаза вам выколоть, чтоб не смотрели... да и держат вас здесь только до тех пор, пока нас поляков вашей же кровью завоюют, а после переселят вас за Белоозеро, а Украину заселят своими московскими холопами" {71}.

Казакам, конечно, лучше было знать, приказано ли им носить зипуны и обуваться в лапти, но какой-то "идейный базис" надо было подвести под измену. Потому, когда их спросили: "А що! Чи сподибалась вам, панове-молодцы, рацея его милости пана комиссара?" – последовал восторженный крик: "Горазд говорить!".

Пасквилями, наветами, подметными письмами, слухами полна вся вторая половина XVII века. Поколения выросли в атмосфере вражды и кошмарных рассказов о московских ужасах.

Зная по опыту могущество пропаганды, мы только чуду можем приписать, что малороссийский народ в массе своей не сделался русофобом.

Сочинение антирусских памфлетов продолжалось до самого упразднения гетманства в 1780 г. Теперь достаточно хорошо выяснено, что рассадником этого творчества на Украине была войсковая канцелярия – бюрократический центр казачьего уряда. Чинов этого учреждения помянул в XX веке Грушевский, как беззаветных патриотов, трудившихся "в честь, славу и в защиту всей Малороссии".

Установлено, что стараниями этих "патриотов" размножились и долгое время ходили по рукам фальшивые речи Мазепы к казакам в 1708 году и столь же фальшивая речь Полуботка. Кроме школы войсковых канцеляристов существовал новгород-северский кружок, возглавлявшийся сначала Г. А. Полетикой, а после его смерти О. Лобысевичем. Недавно одним самостийническим историком высказано предположение, что именно членами этого кружка инспирирована книга Бенуа Шерера "Annales de la Petite Russie ou Histoire des cosaques sarogoues", вышедшая в 1788 г. в Париже {72}. Книга эта, написанная вполне в казацком духе, полна извращений истины. По мнению упомянутого историка, новгород-северцы не только снабдили Шерера материалами, но и впоследствии, через своих заграничных агентов, представляли ему новые сведения "спонукаячи його до новой публикации".

Как им, так в особенности чинам войсковой канцелярии, принадлежит честь обобщения и оформления казачьего творчества, заложившего основу современной самостийнической "платформы". Их стараниями стал меняться взгляд и на гетманскую власть. До Хмельницкого гетманы были простыми военными предводителями; недаром слово "гетман" произошло от "Hauptmann". В лучшем случае, это был глава казачьего сословия. Но после того, как Богдан усвоил тон народного вождя, после того, как царь Алексей Михайлович предельно ослабил свою власть в Малороссии, к военному характеру гетманских функций стали прибавляться черты гражданского правителя. Этого оказалось достаточно, чтобы пылкие головы забыли о подданстве и стали смотреть на булаву как на скипетр. Следствием этого явилось некое освящение личности самих держателей булавы.

После смерти Богдана мы не видим на его месте ни одного сколько-нибудь значительного человека. Все это простые властолюбцы типа Выговского и Самойловича, авантюристы вроде Тетери и Дорошенко, алчные печенегии вроде Брюховецкого или законченные карьеристы и себялюбцы, как Мазепа. Тем не менее, уже в XVII веке началась их идеализация. Когда заинтригованный Выговский, отвергнутый казачеством, брошенный старшиной, был расстрелян поляками, – левобережный гетман Брюховецкий оповестил народ, что Выговский пострадал "за правду". Сам Брюховецкий, убитый собственными казаками, удостоился впоследствии тоже доброго слова. Гетмана Д. Многогрешного, как известно, схватила и обвинила в измене сама генеральная старшина, потребовав от Москвы его наказания, но когда Москва, плохо верившая в действительную измену гетмана, сослала его в Сибирь в угоду казачеству, та же самая старшина стала распространять слух о невинном заточении Многогрешного. То же было с Самойловичем. Московские бояре ни минуты не верили в его виновность и

даже жалели, но они не могли не считаться с категорическим требованием старшины убрать неугодного предводителя. Этот гетман снискал себе в народе всеобщую ненависть. Тем не менее, и из него сделали страдальца за Украину. Но самого неожиданного ореола удостоился Мазепа. Сомнительный малоросс, человек польского склада, задумавший под конец жизни присоединить Украину снова к Речи Посполитой, на условиях Гадячского протокола, крепостник и притеснитель крестьянства, стяжатель, он сам знал, что его ненавидят в народе и в старшине, и потому шагу не делал без своих сердюков, игравших при нем роль янычаров. Это был самый, может быть, непопулярный из всех гетманов. Когда он изменил, за ним никто не пошел, за исключением двухтысячной банды запорожцев, да нескольких человек генеральной старшины. Тем не менее, ни один гетман не превознесен так в качестве национального героя, как Мазепа.

Похоже, что "патриоты", трудившиеся "в честь, славу и в защиту всей Малороссии", поставили задачей создать ей пышную галерею "отцов отечества" и всевозможных героев. В уста им вложено не мало выражений любви к родине. Но старания патриотов пропадают при соприкосновении с документальным материалом и при сколько-нибудь критическом подходе к летописям, вышедшим из кругов войсковой канцелярии. На практике мы видим переходы из одного подданства в другое, но ни разу не видим намерения создать "незалежную" Украину. Это не значит, что все речи гетманов сочинены позднейшими их почитателями. (Об Украине-матери, "отчизне", читаем иногда в гетманских универсалах. Но мы уже не заблуждаемся насчет этих патриотических излияний. Они – простое порождение логики казачьего путчизма. Затевая бунты для удержания узурпированной власти и материальных выгод, старшина не могла приводить этих мотивов в оправдание своего поведения, надо было аргументировать ad populum, пускаться в декламацию о любви к родине, о благе народа. Вот почему поляк Мазепа, затеяв свою измену исключительно по личным побуждениям, счел нужным клясться перед распятием, что начинает дело для блага всей Украины. Чем безпутнее, чем аморальнее гетманы, чем больше вреда народу приносили своими похождениями, тем с большей слезой в голосе произносили слово "отчизна". Национальная нота казачьей "публицистики" тех дней – один из видов демагогии и маскировки. Это почувствовали в XIX веке многие украинофилы. Даже Тарас Шевченко, заунывный певец казачины, срывался иногда с тона и начинал совсем не в лад:

Рабы пидножки, грязь Москвы,
Варшавы смиття ваши паны,
Ясновельможные гетманы

Установление крепостного права в Малороссии

В антирусской пропаганде есть особо острый пункт, требующий специального рассмотрения. До сих пор он остается "действующим" по причине крайнего невежества русского общества в украинской истории. Речь идет об установлении крепостного права в Малороссии, которое приписывается москалям. Они, по словам Петрика, "позволили нашему гетману раздавать старшинам маетности, старшины позаписовали себе и детям своим в вечное владение нашу братью, и только что в плуги их не запрягают, а уж как хотят так и ворочают ими, точно невольниками своими" {73}.

Сообщение это очень авторитетное. Принадлежит к казачьей аристократии и занимая – до своего бегства в Запорожье – видный пост в войсковой канцелярии, Петрик превосходно знал картину закрепощения простого народа. Конечно, он и сам "запрягал в плуги" крестьянскую братью, ибо трудно поверить, чтобы будучи правой рукой генерального писаря Кочубея – тогдашнего друга Мазепы, он остался чистым агнцем, не запятанным всеобщей крепостнической практикой. Не соверши он какого-то преступления по службе, после чего вынужден был бежать, он безусловно не порицал бы москалей за то, что те "позволили" ему сделаться крупным помещиком. Только попав в Сечь, в вынужденную оппозицию к гетману, обрушился он на это "позволение", забывши, что Москва "позволила" и многое другое – сбор податей, администрирование и

полное управление краем. Петрик великолепно знал это и тем не менее остался верным казацкой традиции переносить ответственность за свои грехи на Москву.

Позднее, введение крепостного права в Малороссии приписано было императрице Екатерине Второй. Кому не известна "Русская История" гр. А. К. Толстого?

Messieurs, - им возразила

Она: - vous me comblez,

И тотчас прикрепил

Украинцев к земле.

Событие это связывают с указом 3 мая 1783 г., положившим, по всеобщему мнению, конец свободе в малороссийском крае.

Унылый томный звук пролью

От струн, рекой омытых слезной:

Отчизны моя любезной

Порабощенье воспою.

Так начинается "Ода на рабство" В. В. Капниста, появившаяся вскоре после указа 1783 года. По всем правилам ложноклассической поэтики, сильно тронутый сентиментализмом, поэт удаляется сначала "на холм древами осененный", потом "уклоняется" в густую рощу, где, севши "под мрачным мшистым дубом", предаётся горестному созерцанию несчастья обрушившегося на Малороссию.

Куда ни обращаю зеницу,

Омытую потоком слез,

Везде, как скорбную вдовицу,

Я зрю мою отчизну днесь.

Из ламентаций его видно, что роковой указ рассматривается, как грань между двумя эпохами малороссийской жизни. Одна - светлая, счастливая, свободная, другая отмеченная знаком рабства, слез и стонаний.

Везде, где кущи, села, грады

Хранил от бед свободы щит,

Там твердо зиждет власть ограды

И вольность узами теснит.

Где благо, счастье народно

Со всех сторон текли свободно,

Там рабство их отгонит прочь.

Увы! Судьбе угодно было,

Одно чтоб слово превратило

Наш ясный день во мрачную ночь.

"Одно" только слово, один законодательный акт. Так представляли и представляют себе введение крепостного права на Украине девяносто девять процентов образованных людей в России. Для полуобразованных и совсем необразованных пущена с давних пор еще более грубая версия, согласно которой украинский народ, освободившись от польских помещиков, попал в другое рабство, к помещикам русским, которым царица раздала земли и крестьян в Малороссии.

Катерина врага баба,

Що ты натворила!

Степ широкий, край богатый

Панам роздарила.

Вирши эти приобрели всероссийскую известность, цитировались в тысячах речей и журнальных статей, раздавались с трибуны Государственной Думы, даже здесь, в эмиграции, приведены А. В. Карташевым в "Очерках по истории русской Церкви", вышедших в 1959 году в Париже {74}. В полном согласии с либеральной версией, он упрекает Екатерину за "введение в обширных пределах Украины не бывшего там крепостного права".

В Советском Союзе таких образцов - не меньше. Раскрыв "Историю русской литературы XVIII века" проф. Д. Д. Благого {75}, можно прочесть об указе 1783 г., как о "закрепощении крестьян, до того бывших лично свободными".

Что после этого требовать от публицистики и всяких безответственных видов печатного слова?

Весь этот ворох бранных стихов, слезливых и высокопарных од, возмущенных речей и проклятий - превосходный образец невежества, обывательского восприятия истории и сознательно распускаемых с политическими целями легенд.

Новое рабство, действительно, установилось на Украине, и было, по словам народа, "хуже лядского". Но закабалителями выступили не великороссы, а свои доморожденные паны, вышедшие из среды казачества. И произошло это не по указу Екатерины, а задолго до него. В положение украинского крестьянства указ 3 мая 1783 г. не внес никаких изменений, и, по мнению исследователей, не был даже замечен крестьянством. Земли были расхищены и мужики закреплены задолго до воцарения Екатерины.

Вот пункт 8-й указа, наиболее нас занимающий:

"Для известного и верного получения казенных доходов в наместничествах Киевском, Черниговском и Новгородско-Северском, и в отвращение всяких побегов к отягощению помещиков и остающихся в селениях обитателей, каждому из поселян остаться в своем месте и звании, где он по нынешней последней ревизии написан, кроме отлучившихся до состояния сего Нашего указа; в случае же побегов после издания сего указа поступать по общим государственным установлениям" {76}.

Пункт этот дополняется соответствующими штрихами, разбросанными в других частях указа - распоряжением оставлять на усмотрение помещиков раскладку податей с крестьян в частновладельческих деревнях, и запрещением принимать беглых малороссийских поселян. Даже если бы мы не располагали никакими другими документами, кроме этого пункта, его достаточно было бы для установления факта существования крепостничества в Малороссии до 1783 года. Мы видим здесь весь характерный крепостной ландшафт - "помещиков", "частновладельческие деревни", "поселян", "побеги" доставляющие помещикам "отягощения". То обстоятельство, что поселяне не просто уходят, а бегут, свидетельствует о невозможности легального ухода с места. Это и есть главный признак зависимости. Целью Екатерининского указа было не введение крепостничества, уже существовавшего в крае, а распространение на Малороссию административных мер, связанных с фиском и действовавших во всех прочих российских губерниях. Такая унификация была бы невозможна при различии экономически-правовых отношений.

Процесс установления нового крепостного права ныне представляется довольно ясным. Он достаточно изучен благодаря трудам самих же украинских историков XIX века, таких как Лазаревский, Ефименко, Романович-Словатинский. К ним присоединилось исключительно ценное исследование В. А. Мякотина, изданное в эмиграции {77}.

В общих чертах он рисуется так: Хмельничина уничтожила в крае все дворянские вотчины, а заодно уничтожила чуть не все дворянство. Речь идет не об одних только ополяченных и окатоличенных шляхтичах, но также о панах, сохранивших православие: те из них, что, подобно Адаму Киселю, боролись с народом в польских рядах, разделили судьбу поляков и были физически истреблены либо изгнаны. Уцелели только примкнувшие к Хмельницкому. Жизнь, дворянское звание и усадьбы они сохранили, но ни земель, населенных крестьянами, ни тем более самих крестьян, как феодально-зависимых, вернуть не могли. Численно, они представляли горсточку. Во время присяги царю Алексею Михайловичу их насчитали не более двухсот. Хотя царское правительство относилось к ним с наибольшим уважением, выделяя из всех прочих слоев украинского населения (первая милостивая грамота после Переяславской рады адресована была малороссийскому дворянству), тем не менее, эти потомки старой южнорусской знати оказались нежизнеспособными и быстро сошли на нет, растворившись в массе казачества. Не они были заводчиками нового крепостничества; его ввели казаки.

Еще раз: когда говорим "казаки", имеем в виду не те 360 тысяч, бывших с Хмельницким под Зборовом в 1649 году, даже не тех, которых записывали в реестр, а людей запорожской школы - численно небольшую, но сплоченную группу, составлявшую окружение Богдана, а потом образовавшую неписанное старшинское сословие. Рекрутировалось оно путем "естественного отбора". Если про казачий реестр один современник выразился: "Можнейшие пописались казаками, а подлейшие остались в мужиках", то в старшину выбивались можнейшие из можнейших - самые хищные и пронырливые. Уже в момент присоединения к Московскому государству, они обнаружили в полной мере свою столетнюю мечту учредиться помещиками и занять место изгнанных польских панов. Первые же посланники к Алексею Михайловичу - войсковой судья Самойло Богданов и переяславский полковник Тетеря - били челом в Москве о "привилеях на хартиях золотыми словами писаных: мы судье, на местечко Имглеев Старый с

подданными там будущими и со всеми землями издавна до Имглеева належавшими, а мне полковнику на местечко Смелую также с подданными в ней будущими, и со всеми землями к ней належавшими". Такие же грамоты выданы были генеральному писарю Ивану Выговскому, проявившему особенную жадность к маетностям. Он не только просил о подтверждении тех грамот на землю, что выхлопотал от польского короля, но бил челом о новых. Царь ни в чем не отказывал. Почти каждый видный урядник, с течением времени, обзавелся желанным документом на имение.

Мы указывали, что московское правительство плохо разбиралось во внутренних малороссийских делах; милостями осыпало прежде всего тех, через кого рассчитывало привязать к себе новый край, а таковыми сумели представить себя казаки. Внушая высокое мнение о своей роли, они, соответствующим образом, умаляли, вернее замалчивали, роль крестьянства. Сделать это было тем легче, что времена были крепостнические, во всем мире мужик ставился ни во что, о нем часто забывали, а на Украине, вдобавок, он сделался жертвой собственных иллюзий. Надевши в дни Хмельничины баранью шапку и объявив себя казаком, он счел это достаточной гарантией от крепостной неволи. Если же ему и в реестр удавалось попасть, то свобода казалась навеки обеспеченной. Удивительно ли, что эти люди ни разу не подали голоса? Ни просьб, ни челобитий московскому правительству от них не поступало и держались они так, чтобы в них никто не заподозрил крестьян. А матерое казачество все делало с своей стороны, чтобы затемнить в глазах Москвы казацко-крестьянские отношения. Оно добилось передачи этого вопроса на свое собственное разрешение. Уже в мартовской челобитной 1654 г. Хмельницкий писал: "Мы сами смотр меж себя иметь будем и кто казак, тот будет вольность казацкую иметь, а кто пашенный крестьянин, тот будет должность обыкшую его царскому величеству отдавать как и прежде сего".

Выдавая жалованные грамоты старшине и не возражая против помещичьего землевладения на Украине, Москва сама его не вводила, считая это делом внутренне малороссийским. Впрочем, судьба грамот выданных после Переяславской рады была незадачливая, они остались лежать, в шкапулках, в тайных кладовых, даже в земле закопанные и не принесли своим владельцам никакой пользы. Московским приказным людям казаки говорили, что народ непременно убьет их если узнает о существовании у них таких документов.

Таким образом, самый простой, легальный способ завладения землями посредством царского пожалования оказался самым трудным. Гораздо большего успеха достигли окольным путем. Начали с "ранговых маетностей" – населенных земель назначенных для содержания казачьего уряда. Каждому крупному воинскому чину положено было жалованье в виде такого имения, жители которого обязывались различными повинностями в пользу владельца-урядника. По существу это была та же панская вотчина, только не частновладельческая, а войсковая, находившаяся во временном пользовании. Владели ею до тех пор, пока занимали соответствующий пост; лишившись чина, лишались и маетности. Помещичий характер такого имения не бросался в глаза и не будил, на первых порах, призрака крепостной эксплуатации.

Доставались ранговые маетности, прежде всего, "бунчуковому товариству", состоявшему при генеральном уряде, при гетмане, "под бунчуком". Из его числа выходили генеральные писаря, судьи, обозные – все важные чины. Одновременно наделялось значковое или полковое товариство, состоявшее при полковом значке.

Кроме ранговых маетностей, придуман был и другой вид войсковых вотчин. Значные казаки, дав своим детям образование "с латынью" и даже без оной, приписывали их затем к генеральной войсковой канцелярии, как это практиковалось в Польше. На содержание таких приписанных молодых людей определили не меньшие маетности, чем на ранги. Порабощение мужика началось под видом служения войску Запорожскому. Но очень рано у старшины зародилось намерение превратить войсковые экономии в частную и в наследственную собственность. С течением времени это и было сделано.

Существовало немало земель "к диспозиции гетманской надлежащих", из которых выделялись часто куски, передававшиеся в личное владение тому или иному казаку. Вместе с ними и население, зависевшее прежде от "войска", переходило в частную зависимость.

Хотя верховным распорядителем всего земельного фонда Малороссии считался московский царь, и самыми законными документами на право владения

были царские жалованные грамоты, но уже Хмельницкий, помимо Москвы, начал раздавать маетности своею властью. Эта практика приобрела широкие размеры после того, как старшина добилась ее легализации. Обращаться каждый раз в Москву за пожалованием с некоторых пор перестали, все раздачи сосредоточились в руках гетмана, а Москва утверждала их постфактум. Роль царского правительства свелась, под конец, исключительно к такой санкции. Генеральная войсковая канцелярия сделалась с этого момента источником земельных приобретений и у всех, кто имел туда доступ, вошло в обычай выпрашивать себе земли.

Но расхищение шло также другим, нелегальным порядком. Более или менее богатые казаки начали округлять владения путем скупки за безценок "грунтов" у обнищавших крестьян. Царское правительство решительно запрещало такую практику, так как она вела к уменьшению тягловых единиц и к сокращению доходов казны, но казаки, при попустительстве гетманов и старшины, продолжали скупать грунты потихоньку. Для отторжения крестьянской земли не брезговали ни приемами ростовщичества, ни игрой на народных бедствиях. Отец гетмана Данилы Апостола давал в неурожайный год деньги нуждавшимся, прибегавшим к займу, "чтоб деток своих голодною смертью не поморити", а потом за эти деньги отнимал у них землю. Полковник Лизогуб содержал шинок, с помощью которого опутал долгами мужиков и за эти долги тоже отбирал землю.

О подвигах его сохранился красочный документ – жалоба некоего Шкуренка, взявшего у Лизогуба 50 золотых займа. "Дай мне в арешт грунта свои, а я буду ждать долг, пока спрможешься с деньгами" – сказал полковник. "Я и отдал свой грунт, но не во владенье, а в застановку (в заклад). А как пришел срок уплаты, стал я просить Лизогуба подождать, пока продам свой скот, который нарочно выготовил для продажи. А Лизогуб задержал меня в своем дворе и держал две недели, требуя отдачи долга. Со слезами просил я отпустить меня домой, так как жена моя лежала на смертной постели. Но Лизогуб тогда же со своим господарем (управляющим) оценил мой грунт и насильно послал меня к конотопскому попу, говоря: иди к попу, и как поп будет писать, будь при том. Поп написал купчую, но без свидетелей с моей стороны и без объявления в Ратуше. Так пан Лизогуб и завладел моим грунтом, хотя я и деньги ему потом носил" {78}. На своем "грунту" крестьянин нигде не чувствовал себя прочно, потому что всякому более или менее "моцному" казаку позволено было посягать на него правдами и неправдами. Уже вскоре после Хмельничины наблюдаются случаи, когда старшина "силомоцью посидает людские грунта". В гетманство Мазепы подобная практика приобретает характер народного бедствия. Особенно свирепствовал любимец Мазепы, полковник Горленко. "Где было какое годное к пользе людской место, все он своими хуторами позанимал, а делал это так, что одному заплатит, а сотни людей должны неволею свое имущество оставлять. Куда ни глянешь – все его хутора, и все будто купленные, а купчие берет, хотя и не рад продавать" {79}.

Что касается пространств пустых, незаселенных, которых в то время много было на Украине, то и они очень быстро оказались расхвачанными путем "займования" по праву первого владения. Дохода с них не было, но его предвидели в будущем. Очень скоро, главная масса земель сосредоточилась в руках казачьей аристократии.

"Эй дуки вы, дуки!

За вами вси луги и луки!

Нигде нашому брату нетеязи стати

И коня попасти"!

Параллельно с мобилизацией земель идет процесс превращения крестьянства в крепостное состояние. Никакого права на такое обращение казачество не имело и никто не давал ему этого права. Совершено было все путем грубого произвола и насилия. А. Я. Ефименко резюмирует это так: "Вместе с г. Лазаревским, который посвятил десятки лет добросовестного труда детальному выяснению фактической стороны происхождения большей части малорусских крупных дворянских родов, мы должны признать, что малорусское панство выросло на всяческих злоупотреблениях своею властью и положением. Насилие, захват, обман, вымогательство, взяточничество – вот содержание того волшебного котла, в котором перекипала более удачливая часть казачества, превращаясь в благородное дворянство" {80}.

Первоначально, после освобождения края от польской власти, крестьянин имел право свободного передвижения и перехода с одной земли на другую.

Казакам это было, даже, выгодно до поры до времени; техника закрепощения требовала, чтобы возможно больше народа согнано было с насиженных мест и заменено новым. Но когда этот процесс кончился, свобода передвижения стала величайшим неудобством для новых помещиков, и ее всеми мерами стали пресекать.

Так, в 1707 году по приказу Мазепы полтавский полковник всех уходящих на слободы "не только переимал, грабил, забурал, вязеннем мордовал, киями бил, леч без пощадення вешати рассказовал" {81}. В 1739 г. генеральная войсковая канцелярия запрещает переходы под угрозой смертной казни. Мотивировалось это желанием пресечь якобы побег за границу. Узнав об этом, русское имперское правительство отменяет свирепое запрещение, но на практике полковые канцелярии продолжают действовать в духе постановления 1739 г., ссылаясь на Литовский статут. Через 18 лет, гетман Разумовский, своею властью, издает распоряжение равносильное запрету переходов. По этому распоряжению, крестьянин, собирающийся оставить владельца, должен оставить ему и все свое имущество, да кроме того, обязан взять от владельца письменное свидетельство об отходе. После этого, крестьянину ничего кроме бегства не оставалось. По словам все той же компетентной исследовательницы А. Я. Ефименко, весь процесс закрепощения крестьян "совершился чисто фактическим, а не юридическим путем, без всякого, по крайней мере, непосредственного вмешательства государственной власти".

Стоило какому-нибудь казаку сделаться "державцею", т. е. получить административную власть над известным округом, как он уже претендовал на "послушество" крестьян этого округа. Сначала это выражалось в сравнительно скромных требованиях, потом требования росли, увеличивались, пока не завершались полным порабощением. Если казак располагал незаселенной землей, он приманивал на нее крестьян обещанием всевозможных льгот, а когда те поселялись, они оказывались через некоторое время в тяжелой зависимости от владельца. Обычно, поселявшиеся слободами на таких землях крестьяне получали право не нести никаких повинностей в пользу землевладельца в течение первых десяти лет. По отбытии этого срока они обязаны были платить владельцу по сто талеров в год, осматривать местный млинок (мельницу) и возить из него розмол. И это все. Никаких других повинностей не полагалось. Новые паны, однако, начали повсеместно нарушать это обычное право, - требовать годовой чинш раньше положенного срока и облагать слобожан различными работами. Гетман Мазепа узаконяет этот произвол и издает в первые годы XVIII века универсалы, согласно которым крестьяне два дня в неделю обязаны работать в пользу соседних панов, да еще платить овсяную дань. Видимо, в это время начала складываться известная народная песня:

Ой горе нам - не гетманщина -
Надокучила вража панщина
Шо ходячи поиси, сидячи выпишся!
Як на панщину йду - торбу хлиба несу,
А з панщины йду - ани кришечки
Обливають мене дрибни слизочки!

Сечевики, постоянно враждовавшие с Мазепой, нередко пользовались в своей агитации крепостнической политикой гетмана, как мотивом для разжигания недовольства в народе. Из Запорожья шли обличительные листы: "Мы думали, что после Богдана Хмельницкого, народ христианский не будет уже в подданстве; видим, что напротив, теперь бедным людям хуже стало, чем при ляхах было. Прежде подданных держала у себя только старшина, а теперь и такие, у которых отцы не держали подданных, а ели свой трудовой хлеб, принуждают людей возить себе сено и дрова, топить печи, да чистить конюшни".

В 1727 году, некая Даровская, в Стародубском полку, потребовала от своих слобожан явиться на панщину в то село, где она жила. "Мы не поехали, - рассказывают слобожане, - помня договор, чтобы платить только годовой чинш по сту талеров и быть уже свободными от всякой панщины. Поноровивши некоторое время, Даровская снова прислала нам приказ, чтобы ехали мы на ту панщину неотмовно и мы, исполняя тот приказ Даровской, яко емендерки своей, выслали на панщину тридцать пять своих парубков, которых Даровская приказала всех без исключения тирански батожьем бить, причитаючи вину его, что за первым разом не поехали на панщину. А потом позваны были во владельческое село и все мы, хозяева где зазвавши нас во двор приказала Даровская, по одному оттуда выводя, нещадно киями бить, от которого бою недель по шесть и

побольше многие из нас пролежали" {82}.

Закабалению подверглась значительная часть тех простых казаков, что вели свое хозяйство на крестьянский манер и ничем, фактически, от крестьян не отличались. Сыграв роль пушечного мяса во дни Хмельничины, они теперь стали "мясом" закрепощения. Через каких-нибудь десять лет после смерти Хмельницкого, стольнику Кикину довелось слышать речи полкового судьи Климуса Чернушенко про полтавского полковника Витязенко: "Нас казаков полковник Витязенко многим зневажает и бьет напрасно, а жена его жен наших напрасно же бьет и безчестит; и кто казак или мужик упадет хоть в малую вину, и полковник его имение все, лошадей и скот берет на себя. Со всего полтавского полка согнал мельников и заставил их на себя работать, а мужики из сел возили ему на дворовое строение лес, и устроил он себе дом такой, что у самого гетмана такого дома и строения нет; а город наш Полтава весь опал и огнил, и о том у полковника радения нет; станем мы ему об этом говорить - не слушает" {83}.

Таковы были светлые времена, когда все "кущи, села, грады хранил от бед свободы щит" и когда "блого, счастье народно со всех сторон текло свободно". Не будь Капнист сыном миргородского полковника, ложь, лежащая в основе его оды, не так бы бросалась в глаза. Она могла быть объяснена невежеством, незнанием прошлого. Но человек, у которого еще отцы и деды закабалляли крестьян по методу Даровской, меньше всего имел право проливать "унылый томный звук" по поводу екатерининского указа.

Указ был одним из серии узаконений, порожденных другой, более важной и общей реформой, объявленной в 1780 году. Реформа эта - упразднение гетманства и всех казачьих порядков в Малороссии. В 1781 году упразднены Малороссийская Коллегия, Генеральный суд, центральные войсковые и полковые учреждения, территория гетманщины разделена на наместничества Киевское, Черниговское и Новгород-Северское, где вся администрация, суд и управление должны были отправляться с тех пор по общероссийскому образцу. То был полный конец казачьего уряда, существовавшего около 130 лет. Жалели о нем немногие, больше те, что кормились от него; "мощные" же казаки, в массе своей, давно превратились в "благородное российское дворянство", ничем от великоросских собратьев не отличавшееся. Состоя на службе в столицах, заседа в Сенате и Синоде, сделавшись генералами, министрами, канцлерами империи, добившись всего, о чем мечтали их предки, они не имели уже причин жалеть о казачьих привилегиях. Из рассадника смут превратились в опору порядка и трона.

Только небольшая горсточка продолжала скорбеть о бунчуках и жупанах. К ней, без сомнения, принадлежал В. В. Капнист. В его роду, по-видимому, долго жили казачьи предания и антимосковские настроения. Многие самостийнические истории Украины ссылаются на визит какого-то Капниста в 1791 году, к прусскому министру Герцбергу. Грушевский излагает этот эпизод так: "Недавно из секретных бумаг прусского государственного архива стало известным, что в 1791 году, когда испортились отношения между Россией и Пруссией, к тогдашнему прусскому министру Герцбергу явился украинец Капнист, потомок известного украинского рода, сын заслуженного миргородского полковника. Он объяснил Герцбергу, что его прислали земляки, пришедшие в отчаяние от "тирании российского правительства и князя Потемкина". "Казачье войско, - говорил он, - очень огорчено тем, что у него отобрали старые права и вольности и обратили его в регулярные полки; оно мечтает возратить себе эти старые порядки и вольности, старое казачье устройство (ancienne constitution des Cosaques)". По поручению земляков Капнист спрашивал министра, могут ли они надеяться на помощь Пруссии, если восстанут против "русского ига". Но министр дал уклончивый ответ, не предполагая, чтобы у Пруссии действительно могла возникнуть война с Россией. Поэтому Капнист уехал, сказав, что на будущее время, если прусское правительство того пожелает, оно может войти в сношения с украинцами через его брата, путешествовавшего тогда по Европе" {84}.

Ни Грушевский, ни другие самостийнические авторы не дают нам подробностей столь интересной архивной находки, вследствие чего личность посланного остается неясной. Грушевский не называет его имени, прилагая молчаливо к своему тексту портрет поэта Василия Васильевича Капниста, но "Велика История Украины" прямо называет его "графом Василием Капнистом" {85}. Можно простить авторам анахронизм, связанный с титулом (в графском достоинстве Капнисты значатся только с 1876-1877 г.), но гораздо труднее

примирить с их утверждением факт поездки поэта за границу в 1791 г. Ни биографы, ни историки литературы ничего такого не сообщают – напротив, дружно уверяют, что с 1783 по 1796 г. он проживал почти безвыездно в своем имении "Обуховка" на Полтавщине. А второго Василия в числе его братьев, кажется, не обреталось. Но пусть это был не автор "Ябеды" и "Оды на рабство", даже не брат его, а скажем, племянник – все равно, эпизод этот – свидетельство политического климата, в котором создавалась "Ода".

Плач ее был плачем о гетманстве, а вовсе не об утрате крестьянской свободы. На крестьян и на крепостное право там даже намек нет, "свобода" упоминается абстрактно и ее можно понимать как угодно. Будь наш поэт печальником горя народного, ему бы надо было быть им не в 1783 году, а гораздо раньше, когда Витязенки, Лизогубы, Горленки закрепощали народ и "взянным мордовали".

Не назвав крепостничества, как предмета своей печали, Капнист умолчал и об отмене гетманского режима, скорбеть о котором было непристойно, да и в обществе это не встретило бы сочувствия. Гетманство уже при Даниле Апостоле было тенью прежнего уряда, а при Разумовском носило чисто декоративный характер. Его отмена в 1780 г. не вызвала ни возражений, ни сколько-нибудь значительных разговоров и толков. Оно пало, как перезрелый плод с дерева. Ни у кого из последних казакоманов не хватило духа выступить с его защитой. Зато удалось отомстить самодержавию и извлечь агитационный эффект из указа 1783 года. Представить его, как введение крепостного права и пролить по этому поводу "потоки слез" – сулило верный успех в либеральном столичном обществе, в радищевских и новиковских кругах.

Антимосковская пропаганда здесь, как встарь, не могла обойтись без маскировки и должна была скрывать истинные причины озлобления, подменяя их ложными, более благовидными.

Катехизис

Все, что казачество за сто лет гетманского режима наговорило, накричало на радах, написало в "листах" и универсалах – не пропало даром. Уже про ближайших сподвижников Мазепы, убежавших с ним в Турцию, самостийнические писатели говорят, как о людях, "перековавших" свои казачьи вожделения "в гранитную идеологию" {86}.

Впоследствии все это попало в летописи Грабянки, Величко, Лукомского, Симановского и получило значение "исторических фактов". Казачьи летописи и основанные на них тенденциозные "истории Украины", вроде труда Н. Маркевича, продолжают оставаться распространителями неверных сведений вплоть до наших дней.

Но уже давно выделился среди этих апокрифов один, совершенно исключительный по значению, сыгравший роль Корана в истории сепаратистского движения. В 1946 году, в сотую годовщину его опубликования, состоялось под председательством Дм. Дорошенко заседание самостийнической академии в Америке, на каковом оный апокриф охарактеризован был, как "шедевр украинской историографии" {87}.

Речь идет об известной "Истории Русов".

Точной даты ее появления мы не знаем, но высказана мысль, что составлена она около 1810 г. в связи с тогдашними конституционными мечтаниями Александра I и Сперанского {88}. Распространяться начала, во всяком случае, до 1825 г. Написана чрезвычайно живо и увлекательно, превосходным русским языком карамзинской эпохи, что в значительной степени обусловило ее успех. Расходясь в большом количестве списков по всей России, она известна была Пушкину, Гоголю, Рылееву, Максимовичу, а впоследствии – Шевченко, Костомарову, Кулишу, многим другим и оказала влияние на их творчество.

Первое и единственное ее издание появилось в 1846 г. в "Чтениях Общества Истории и Древностей Российских" в Москве. Издатель О. М. Бодянский сообщает в предисловии такие сведения о ее происхождении: Г. Полетика, депутат малороссийского шляхетства, отправляясь в Комиссию по составлению нового уложения, "имел надобность необходимую отыскать отечественную

историю", по каковой причине обратился к Георгию Конисскому, архиепископу Белорусскому, природному малороссу, который и дал ему летопись, "уверяя архипастырски, что она ведена с давних лет в кафедральном могилевском монастыре искусными людьми, сносившимися о нужных сведениях с учеными мужами Киевской Академии и разных знатнейших малороссийских монастырей, а паче тех, в коих проживал монахом Юрий Хмельницкий, прежде бывший гетман малороссийский, оставивший в них многие бумаги и записки отца своего гетмана Зиновия Хмельницкого, и самые журналы достопамятностей и деяний национальных, и что при том она вновь им пересмотрена и исправлена". Полетика, по словам Бодянского, сличив полученную им летопись с другими известными ему малороссийскими летописями, "и нашед от тех превосходнейшею", всюду руководствовался ею в своих работах, как член комиссии. Заключает Бодянский свое предисловие словами: "Итак, история сия, прошедши столько отличных умов, кажется должна быть достоверною".

Давно, однако, замечено, что из всех казачьих историй она – самая недостоверная. Слово "недостоверная" явно недостаточно для выражения степени извращения фактов и хода событий, изложенных в ней. Если про летопись Самойла Величко часто говорят, что она составлена неразборчивым компилятором, собиравшим без критики все, что попало, то у автора "Истории Русов" виден ясно выраженный замысел. Его извращения – результат не невежества, а умышленной фальсификации. Это нашло выражение, прежде всего, в обилии поддельных документов, внесенных в "Историю". Взять, хоть бы, Зборовский договор.

"Народ русский со всеми его областями, городами, селениями и всякою к ним народною и национальною принадлежностью увольняется, освобождается и изъимается от всех притязаний и долегливостей польских и литовских на вечные времена, яко из веков вольный, самобытный и незавоеванный, а по одним добровольным договорам и пактам в едноть польскую и литовскую принадлежащий".

Тщетно было бы искать что-нибудь подобное в дошедшем до нас подлинном тексте Зборовского трактата 1649 г. {89} Никакого "народа русского", да еще "со всеми его областями, городами, селениями" там в помине нет; речь идет лишь о "войске запорожском", и самый трактат носит форму "Объявления милости его королевского величества войску запорожскому на пункты, предложенные в их челобитной". Там можно прочесть: "Его королевское величество оставляет войско свое запорожское при всех старинных правах по силе прежних привилегий и выдает для этого тотчас новую привилегию". Столь же трудно найти там обозначение "границ русской земли", которое есть в трактате поддельном. И уж конечно, совсем невозможно обнаружить фразу: "Народ русский от сего часу есть и ма быть ни от кого, кроме самого себя и правительства своего, независимым".

Грубой подделкой надо считать и грамоту царя Алексея Михайловича, выданную будто бы 16 сентября 1665 г. казакам, участвовавшим в осаде Смоленска. "Жалуем отныне на будущие времена оногo военного малороссийского народа от высшей до низшей старшины с их потомством, которые были только в сем с нами походе под Смоленском, честью и достоинством наших российских дворян. И по сей жалованной нашей грамоте никто не должен из наших российских дворян во всяких случаях против себя их понижать" Таких ложных документов попало в "Историю Русов" много, а еще больше легенд и фантастических рассказов.

Не этим, впрочем, определяется ее исключительное место в русской, даже в мировой литературе. Мы знаем немало подделок, сыгравших политическую роль: "Константинов дар", "Завещание Любуши", "Завещание Петра Великого" и проч., но сочинения, в котором бы история целого народа представляла сплошную легенду и измышление, – кажется, не бывало. Появиться оно могло только в эпоху полной неразработанности украинской истории. До самой середины прошлого столетия не начиналось сколько-нибудь серьезного ее изучения.

В то время как по общей русской истории появились в XVIII веке обширные труды Татищева, Шлецера, Миллера, Болтина, кн. Щербатова и других, заверщенные двенадцатитомной "Историей Государства Российского" Карамзина, – историей Украины занимались случайные любители вроде Рубана, Бантыша-Каменского или какого-нибудь Анастасевича и Алексея Мартоса.

Конечно, и русские историки XVIII века не имели еще опыта, которым располагала современная им западноевропейская наука, но они старались идти в

ногу с нею, понимали ее задачи и методы, применяя их по мере сил к изучению своего исторического процесса. Уже у Татищева высоко развито чувство документа, первоисточника, и критическое к ним отношение. Миллер и Шлецер создали, в этом смысле, школу западноевропейского образца. Ничего подобного не наблюдалось в украинской историографии. Она еще не вышла из стадии увлечения занятными эпизодами, анекдотами, либо декламацией на патриотические темы. В оправдание украинских историков можно сказать, что писать более или менее объективную историю Украины было гораздо труднее, чем историю любой другой страны. Нужен был добрый десяток Миллеров и Шлецеров, чтобы отделить в казачьих летописях правду от выдумки и из порожденных эпохой гетманщины документов отобрать подлинные. Но и то правда, что образованные малороссы, бравшиеся в XVIII и в начале XIX века за историю своего края, горели любовью больше к нему, чем к истине. Они весьма неохотно расставались с легендами и с подделками, предпочитая их "тьме низких истин".

В такое-то незрелое время появилась цельная, законченная, прекрасно написанная "История Русов". Читатели самые образованные оказались беззащитными против нее. Осмыслить факт столь грандиозной фальсификации никто не был в состоянии. Она без всякого сопротивления завладела умами, переноса в них яд казачьего самостийничества.

Не только простая публика, но и ученые историки XIX века пользовались ею, как источником и как авторитетным сочинением.

Едва ли не самая ранняя критика ее предпринята была в 1870 году харьковским профессором Г. Карповым {90}, назвавшим "Историю Русов" "памфлетом" и решительно предостерегавшим доверять хотя бы одному приведенному в ней факту. Костомаров, всю жизнь занимавшийся историей Украины, только на склоне лет пришел к ясному заключению, что в "Истории Русов" "много неверности и потому она, в оное время переписываясь много раз и переходя из рук в руки по разным спискам, производила вредное в научном отношении влияние, потому что распространяла ложные воззрения на прошлое Малороссии" {91}. В свои ранние годы, Костомаров принимал "Историю Русов" за полноценный источник.

Автор памфлета явно строил свой успех на читательской неосведомленности и нисколько не заботился о приведении повествования хотя бы в некоторое соответствие с такими важными источниками, как русские и польские летописи или с общеизвестными и бесспорными фактами, как завоевание юго-западной Руси литовскими князьями. Он это завоевание, попросту, отрицает. Можно пройти мимо его рассуждений о скифах, сарматах, печенеггах, хазарах, половцах, которые все зачисляются в славяне; можно доставить себе веселую минуту, читая производство имени печенегов от "печеной пищи", которой они питались, а имен полян и половцев от "степей безлесных", хазар и казаков - "по легкости их коней, уподобляющихся козьему скоку", но анекдотичность метода сразу же зарождаёт подозрение, как только дело доходит до "мосхов". Тут за филологической наивностью обнаруживается скрытая политика. Оказывается, народ этот, в отличие от других перечисленных, произошел не от князя Руса, внука Афетова, а от другого потомка Афета - от князя Мосоха, "кочевавшего при реке Москве и давшего ей сие название". Московиты или мосхи ничего не имеют общего с русами и история их государства, получившего название Московского, совершенно отлична от истории государства русов. Умысел, скрытый под доморощенной лингвистикой, выступает здесь вполне очевидно.

"История Русов" не только не признает единого общерусского государства X-XIII веков, но и населявшего его единого русского народа. Те, что назывались русами, хоть и объединялись вокруг Киева, как своего центра, но власть этого центра не распространялась, вопреки русской начальной летописи и нашим теперешним научным представлениям, на необъятную равнину от Черного до Белаго морей и от Прибалтики до Поволожья, а охватывала гораздо более скромную территорию. В нее входили кроме Киевского княжества - Галицкое, Переяславское, Черниговское, Северское, Древлянское. Только эти земли и назывались Русью. Впоследствии, при Иване Грозном, когда Московское царство стало именоваться Великой Россией, обозначенным выше землям пришлось называться Малой Россией.

Напрасно приписывают М. С. Грушевскому авторство самостийнической схемы украинской истории: главные ее положения - изначальная обособленность украинцев от великороссов, отдельность их государств - предвосхищены чуть не за сто лет до Грушевского. Киевская Русь объявлена Русью исключительно

малороссийской.

Удивляет только полнейшее равнодушие к этому периоду. Когда пишется общая история страны, то акцент падает, естественно, на самые блестящие и славные времена. У Малороссии же нет более яркой эпохи, чем эпоха Киевского государства. Казалось бы, великие дела, знаменитые герои, национальная гордость – все оттуда. Но история Киевского государства, хотя бы в самом сжатом изложении, отсутствует в "Истории Русов". Всему, что как-нибудь относится к тем временам, отведено не более 5–6 страниц, тогда как чуть не 300 страниц посвящено казачеству и казачьему периоду. Не Киев, а Запорожье, не Олег, Святослав, Владимир, а Кошка, Подкова, Наливайко определяют дух и колорит "Истории Русов".

Экскурс в древние времена понадобился, единственно, ради генеалогии казачества; оно, по словам автора, существовало уже тогда, только называлось "казарами". Казары не племя, а воинское сословие; так называли "всех таковых, которые езживали верхом на конях и верблюдах и чинили набеги; а сие название получили, наконец, и все воины славянские, избранные из их же пород для войны и обороны отечества, коему служили в собственном вооружении, комплектуясь и переменяясь так же своими семействами. Но когда во время военного выходили они вне своих пределов, то другие гражданского состояния жители делали им подмогу и для сего положена у них складка общественная или подать, прозванная наконец с негодованием Дань Казарам. Воины сии, вспоминая часто союзникам своим, а паче грекам, в войнах с их неприятелями переименованы от царя греческого Константина Мономаха из Казар Казаками и таковое название навсегда уже у них осталось".

Автор с негодованием отвергает версию, по которой казачество, как сословие, учреждено польскими королями. Малороссия – казачья страна от колыбели; но казаки не простые гулятьи, а люди благородного дворянско-рыцарского сословия. Их государство, Малая Русь, никогда никем не было покорено, только добровольно соединялось с другим, как "равное с равными". Никакого захвата Литвой и Польшей не было. Уния 1386 года – ни позорна, ни обидна. Именно тогда, будто бы, учреждено "три гетмана с правом наместников королевских и верховных военачальников и с названием одного коронным Польским, другого Литовским, а третьего Русским". Здесь "русские" т. е. казачьи гетманы объявлены, как и само казачество, очень древним институтом, а главное, им приписано не то значение предводителей казачьих скопищ, какими они были в XVI–XVII в. в., до Богдана Хмельницкого, но правителей края, представителей верховной власти. Их приближают к образу и подобию монархов. "По соединении Малой России с державою польскою, первыми в ней гетманами оставлены потомки природных князей русских Светольдов, Ольговичей или Олельковичей и Острожских кои по праву наследства... правительствовали своим народом уже в качестве гетманов и воевод". В списке этих выдуманных гетманов-аристократов встречается, впрочем, один, в самом деле имевший отношение к казачеству – кн. Дмитрий Вишневецкий.

Источники сохранили нам кое-что об этом человеке. Он действительно принадлежал к старой русской княжеской фамилии и сделался казачьим предводителем, под именем Байды. Ему приписывается создание знаменитой запорожской Сечи на острове Хортице в 1557 г. Это был типичный атаман понизовой вольницы, вся деятельность которого связана была с Запорожьем. Его даже гетманом никогда не называли. Но "Истории Русов" угодно было расписать его, как правителя всей Малороссии. По ее словам, он "наблюдал за правосудием и правлением земских и городских урядников, возбуждая народ к трудолюбию, торговле и хозяйственным заведениям и всякими образами помогал ему оправиться после разорительных войн и за то все почтен отцем народа".

Расписав польско-литовский период, как идиллическое сожительство с соседними народами и как времена полной национальной свободы, автор совсем иными красками изображает присоединение Малороссии к Москве. Это черный день в ее истории, а Богдан Хмельницкий – изменник. Сказано это, правда, не от собственного лица, а посредством цитат из поддельных документов, где описывается ропот казаков в дни Переяславской рады и нарекания на гетмана, которого называют "зрадцею", предателем подкупленным московскими послами и попрекают "пожертвованию премногих тысяч братии положившей живот свой за вольность отечества" и которые "опять продаются в неволю самопроизвольно". "Лучше бы нам, – говорят казаки, – быть во всегдашних бранях за вольность, чем налагать на себя новые оковы рабства и неволи".

Но чувствуя, что объяснить факт присоединения одной изменой Хмельницкого невозможно, автор измышляет какой-то "ультиматум" Польши, Турции и Крыма, потребовавший от Хмельницкого войны с Москвой для отнятия Астрахани и побудивший гетмана к переговорам с Россией. "По обстоятельствам настоящим, надобно быть нам на чьей ни на есть стороне, когда неутралитета не приемлется".

Объявив казачество и гетманов солью земли, приписав им рыцарское и княжеское достоинство, утвердив за ними право на угоды и на труд крестьян "по правам и рангам", автор видит в них главных деятелей малороссийской истории. Нет таких добродетелей и высоких качеств, которыми они не были бы украшены. Любовь их к отчизне и готовность жертвовать за нее своею кровью может сравниться с образцами древнеримского патриотизма, по доблести же и воинскому искусству, они не имеют себе равных в мире. Победы их неисчислимы. Даже находясь в составе чужих войск, казаки играют всегда первенствующую роль, а их предводители затмевают своим гением союзнических полководцев. Михайло Вишневецкий, явившийся, якобы, на помощь москвичам при взятии Астрахани, оттесняет на второй план царских воевод и берет в свои руки командование. Только благодаря ему Астрахань оказывается завоеванной. Успехи русских под Смоленском в 1654 г. объясняются не чем иным, как участием на их стороне полковника Золотаренко. Документальные источники свидетельствуют, что Золотаренко явился под Смоленск во главе не более чем тысячи казаков и пробыв под осажденным городом пять дней, ушел ничем себя не проявив. Это не помешало автору "Истории Русов" сделать его героем смоленского взятия, приписать ему план и выполнение осады и даже вложить в уста длинные наставления по части военного искусства, которые он читал царю Алексею Михайловичу. Любопытно также описание битвы при Лесном, где, как известно, Петром Великим разбит был корпус генерала Левенгаупта, шедший на соединение с Карлом XII. Оказывается, в этой битве трусливые москали, как всегда, не выдержали шведского натиска и побежали. Битва была бы неминуемо проиграна, если бы Петр не догадался прибегнуть к помощи малороссийских казаков, бывших при нем. Он употребил их, как заградительный отряд, приказав беспощадно рубить и колоть бегущих. Казаки повернули москалей снова против неприятеля, и тем закончили бой полной победой. Исход сражения под Полтавой, точно так же, решен не москалями, а казаками под начальством Палея. Чтобы не бросить тени на воинскую честь тех, что находились с Мазепой в шведском стане, автор отрицает их участие в Полтавском сражении. По его словам, Мазепа, перейдя к Карлу, держался... "строгого нейтралитета". Он все время околачивался в обозе и всеми мерами уклонялся от пролития православной крови.

Казачьи подвиги спасали не одну Россию, но всю Европу. Принцу Евгению Савойскому не взять бы было Белграда, если бы Мазепа не отвлек крымские силы созданием военной базы на Самаре (о которой мы, кстати, ничего не знаем), а Салониками завладели цесарския войска, единственно, благодаря Палею, запершему татар в Бессарабии {92}.

Намеренное выпячивание воинских доблестей казачества объясняется, по-видимому, не простым сословным или национальным чванством. Если правы исследователи относящие время написания "Истории Русов" к первой четверти XIX века, то в ней надлежит искать отражение толков в среде малороссийского дворянства вызванных проектом восстановления украинского казачества. Малороссийский генерал-губернатор кн. Н. Репнин, утвержденный в этой должности с 1816 г., представлял, как известно, Александру I и Николаю I меморандумы на этот предмет. Самым серьезным возражением против такого проекта могло быть укоренившееся со времен Петра Великого убеждение в военной несостоятельности казаков. Они не умели вести регулярных войн с европейски обученными войсками. "И понеже можете знать, - писал Петр Мазепе, - что войско малороссийское нерегулярное и в поле против неприятеля стать не может". Казацкий способ сражаться служил для Петра образцом того, как не следует воевать. Всякое отступление от регулярного боя он именовал "казачеством". После неудачной Головинской битвы он сердился: "а которые бились и те казацким, а не солдатским боем, и про то злое поведение генералу князю, Меньшикову накрепко разузнать". Известно было неумение казаков осаждать города. Вообще, там, где нельзя было взять неприятеля врасплох лихим налетом или обманом, там казаки долго не трудились; тяготы и жертвы войны были не в их вкусе. Шведы, за полугодовое сотрудничество с ними, прекрасно разгадали эти качества. До нас дошел разговор короля Карла XII со

своим генерал-квартирмейстером Гилленкроком под Полтавой во время ее осады.

"Я думаю, - заявил Гилленкрок, - что русские будут защищаться до последней крайности и пехоте вашего величества сильно достанется от осадных работ".

Карл: "Я вовсе не намерен употреблять на это мою пехоту; а запорожцы Мазепины на что?"

Гилленкрок: "Но разве можно употреблять на осадные работы людей, которые не имеют о них никакого понятия, с которыми надобно объясняться через толмачей и которые разбегутся, как скоро работа покажется им тяжелой и товарищи их начнут падать от русских пуль" {93}.

Степной половецкий характер военного искусства обрекал казаков на мелкую служебную роль во всех армиях в составе которых им приходилось участвовать - в польской, русской, турецкой, крымской, шведской. Везде они фигурировали в качестве легкого вспомогательного войска.

Составители "Истории Русов" это знали и всеми силами старались представить военную историю своих предков в ином виде. Это было важно и с точки зрения восстановления казачества.

Но как объяснить слишком общеизвестные факты поражений? В этих случаях, непременно, на помощь приходят всевозможные "измены" и "предательства". Молниеносное взятие Меньшиковым Батурина, базы мазепинцев, пришлось объяснить именно такой изменой. Приступ Меньшикова, оказывается, был отбит и сердюки наполнили ров трупами россиян; русские бежали и покрыли бы себя вечным позором, если бы не прилуцкий полковник Нос. Он убедил Меньшикова через старшину своего Сельмаха остановиться, вернуться и войти в город через тот участок укреплений, который находился под защитой самого Носа. Меньшиков послушался, вошел на рассвете тихонько в город, когда сердюки, отпраздновав вчерашнюю победу, крепко спали, и напал на них сонных.

Канадская газета "Наш Вик" в сто сороковую годовщину Полтавской битвы писала: "Коли Батурина героично, по конотопському, змагався з москалями, знайшовся сотник Иван Нис, раньше пидкуплений московськими воеводами, який передав ворогови плян оборони миста, вказавши на таємний вхід" {94}. Таких образцов распространенности и живучести в самостийнической среде легенд "Истории Русов" можно найти не мало.

Эпизод со взятием Батурина, где Меньшиков велел, будто бы, перебить всех поголовно, вплоть до младенцев, - заслуживает особого внимания. Жестокости тут описанные встречаются только в историях ассирийских царей или в походах Тамерлана. Перевязанных "сердюцких старшин и гражданских урядников" он колесовал, четвертовал, сажал на кол, "а дальше выдуманы новые роды мучения самое воображение в ужас приводящие". Тела казненных Меньшиков бросал на съедение зверям и птицам и покинув сожженный Батурина, жег и разорял по пути все малороссийские селения, "обращая жилища народные в пустыню". Меньшиковский погром, в совокупности с бесчинствами остальных русских войск, якобы грабивших Украину, превращается под пером автора "Истории Русов" в картину грандиозного бедствия, вроде татарского нашествия. "Малороссия долго тогда еще курилась после пожиравшего ее пламени".

Настойчивое подчеркивание одиозности Меньшикова, за которым историки не находят ни приписываемой ему украинофобии, ни перечисленных жестокостей, заставляет предполагать скрытую причину ненависти. Вряд ли она вызвана одним взятием Батурина. Никаких особенных жестокостей, кроме неизбежных при всяком штурме, там не было. Сожжен и разрушен только замок в котором засели сердюки. Но штурм был действительно сокрушительный, потому что засевшие ждали себе шведов на помощь и для Меньшикова промедление было смерти подобно. Начальствовавший над сердюками полковник Чечел, успевший бежать, но пойманный казаками и приведенный к Меньшикову, вовсе не был им казнен, но вместе с есаулом Кенигсеком и некоторыми другими взятыми в плен мазепинцами - отправлен в Глухов, где вскоре собралась казачья рада, низложившая Мазепу, избравшая на его место Скоропадского и казнившая публично взятых в Батурине изменников. Не знаем мы за Меньшиковым и всех прочих приписываемых ему зверств. Зато сохранилось известие, дающее основание думать, что агитация против него вызвана личной ненавистью Мазепы и его ближайшего окружения. Началась она года за три до взятия Батурина и связана с самым зародышем мазепиной измены. Измена эта фабриковалась, как известно, в Польше, при дворе Станислава Лещинского. Поляки давно обхаживали Мазепу посредством его кумы - княгини Дольской, но без заметного успеха; хитрый гетман не

поддавался ни на какие соблазны. Только одно письмо княгини из Львова укололо его в самое сердце. Дольская писала, что где-то ей, однажды, пришлось крестить ребенка вместе с фельдмаршалом В. П. Шереметевым, и за обедом, когда княгиня упомянула про Мазепу, генерал Ренне, присутствовавший там, будто бы сказал: "Умилосердись Господь над этим добрым и разумным господином; он бедный и не знает, что князь Александр Данилович яму под ним роет и хочет отставя его, сам в Украине быть гетманом". Шереметев, якобы, подтвердил слова Ренне, а на вопрос Дольской: "Для чего же никто из добрых приятелей не предостережет гетмана?" - ответил: "Нельзя, мы и сами много терпим, но молчать принуждены" {95}. Именно после этого письма, воцаряется при гетманском дворе атмосфера недовольства и ропота против Москвы, усугубляемая ростом расходов на войну и на постройку Киево-Печерской крепости, которую Петр потребовал возвести. Имя Меньшикова занимало особое место и в той агитации мазепинцев, что развернулась широко, главным образом за границей, после бегства и смерти Мазепы. Ему приписывалось угнетение украинцев, даже при помощи "всемогущей астрологии, которой дотоле во всей Руси не бывало и перед которою все было безмолвно, почитая направление и действие ее магнита божественным или мистическим произведением".

Зверства царского любимца не ограничились по уверению "Истории Русов", батуриными избиениями, но распространились на тех чиновников и знатных казаков, что не явились "в общее собрание" для выборов нового гетмана. Они, по подозрению в сочувствии Мазепе, "отыскиваемы были из домов их и преданы различным казням в местечке Лебедине, что около города Ахтырки". Казни были, разумеется, самые нечеловеческие, а казням предшествовали пытки "батошьем, кнутом и шиною, т. е. разжженным железом водимым с тихостью или медленностью по телам человеческим, которые от того кипели, шкварились и воздымались". Жертвами таких истязаний сделалось, якобы, до 900 человек. Сейчас можно только удивляться фантазии автора, но на его современников картина меньшиковских зверств производила, надо думать, сильное впечатление. Им неизвестно было, что число единомышленников Мазепы ограничивалось ничтожной горстью приближенных, что не только не было необходимости казнить людей по подозрению в сочувствии гетману, но и те из заговорщиков вроде Данилы Апостола и Галагана, которые, побыв с Мазепой в шведском стане, вновь перебежали к Петру, - не были ни казнены, ни лишены своих урядов. Данило Апостол сделался впоследствии гетманом. Дано было согласие сохранить жизнь и булаву самому Мазепе, после того, как он, пробыв некоторое время в шведском стану, дважды присылал к Петру с предложением перейти снова на его сторону, да привести заодно с собой короля Карла и его генералов. От Мазепы перебежали в 1709 г. - генеральный есаул Дмитрий Максимович, лубенский полковник Зеленский, Кожужовский, Андриан, Покотило, Гамалия, Невинчаний, Лизогуб, Григорович, Сулима. Несмотря на то, что все они вернулись после срока назначенного Петром для амнистии, и явным образом отвернулись от гетмана в силу того, что безнадежность его дела стала очевидной Петр их не казнил, ограничившись ссылкой в Сибирь. Можно ли поверить, чтобы милуя таких "китов", он занимался избиением плотвы?

Известно, что "плотва" не только не пострадала, но благоденствовала. Лет через 5-6 после мазепиной измены, сами малороссы доносили царским властям, что "многие, которые оказались в явной измене, живут свободно, а иным уряды и маетности даны, генеральная старшина и полковники к таким особливый респект имеют: писарь генеральный Григорий Шаргородский был в явной измене, но когда пришел из Бендер от Орлика, то поставлен в местечке Городище урядником". Нежинский полковник Жураковский открыто покровительствовал мазепинцам, "выбрал в полковые судьи Романа Лазаренка, в полковые есаулы - Тарасенка, в сотники - Пыроцкого - все людей подозрительной верности". "Много сел роздано людям замешанным в измену мазепину; много сел роздано изменничьим сродникам, попам и челядникам, которые служат в дворах" {96}.

Генеральная и полковая старшина спешила, как бы, награждать людей за их измену.

Злостный пасквиль на Петра и Меньшикова, выведенных палачами украинского народа, - только одна из глав великой эпопеи московских жестокостей, развернутой на страницах "Истории Русов". Чего только не написано про кн. Ромодановского, разграбившего, якобы, и сжегшего Конотоп за то, что московские войска в 1659 г. потерпели поражение недалеко от этого

города! Чего только не написано про лихоимство, жадность, бесчеловечность московских воевод! Самое их появление на Украине изображено на манер Батыева нашествия: "Они тянулись сюда разными дорогами и путями и в три месяца наполнили Малороссию и заняли все города и местечки до последнего. Штат каждого из них довольно был многочисленный; они имели при себе разных степеней подьячих и с приписью подьячих, меровщиков, весовщиков, приставов и пятидесятских с командами. Должность им предписана в Думном Приказе и подписана самим думным дьяком Алмазовым; а состояла она в том, чтобы пересмотреть и переписать все имение жителей до последнего животного и всякой мелочи и обложить все податями. Для сего открыты им были кладовые, амбары, сундуки и вся сокровенность, не исключая погребов, пасек, хлебных ям и самых хлевов и голубятен. По городам и местечкам проезжие на базар дороги и улицы заперты были и обняты караулами и приставами. Со всего привозимого на базар и вывозимого с него взимаема была дань по расписанию воевод, а от них всякая утайка и флитировка истязается была с примерною жестокостью, а обыкновенные в таких случаях прицепки и придирки надсмотрщиков оканчивались сдирствами и побоями. Новость сия сколько, может быть, ни обыкновенна была в других сторонах, но в здешней она показалась жестокою, пагубною и самую несносною. Народ от нее восстал, изумился и считал себя погибшим". Воеводам приписывается грубое обращение с самими гетманами. Юрия Хмельницкого Шереметев вытолкнул, якобы, из своей ставки "с крайним бесчестьем от пьяных чиновников".

Пересказать все приписанные москалям притеснения невозможно. Тут и тягости постоя царских войск после Прутского похода, и насильственные захваты земель русскими вельможами, бесчеловечное их обращение с крепостными, вроде того, что позволял себе какой-то брат Бирона в Стародубском уезде, заставлявший женщин кормить щенят своей грудью. Автор проявляет необыкновенную находчивость, чтобы изобразить "несносное презрение в земле своей от народа ничем их (малороссов) не лучшего, но нахального и готового на все обиды, грабления и язвительные укоризны".

Изооряясь в подыскании красок для очернения русских, автор с чрезвычайной симпатией отзывается о шведах, пришедших с Карлом XII на Украину. Хорошо известно, что вели они себя там далеко не по-джентельменски. Карл был воинствующим протестантом и еще в Саксонии и в Польше успел насильственно обратить около 80 костелов в лютеранские кирхи. К православной вере испытывал еще меньшее уважение. Церкви православные занимал для постоя и устраивал там конюшни. Известны многочисленные случаи жестокостей по отношению к местному населению - сожжение деревень и истребление жителей. Отправляясь в Малороссию, король рассчитывал найти там богатые склады хлеба и всяческих припасов заготовленных Мазепой, но придя, не нашел ничего. Мазепа оказался ничтожным союзником. Тогда начался грабеж украинского населения. "История Русов" не упоминает о нем ни одним словом, приход Карла описывает так: "Вступление шведов в Малороссию нимало не похоже было на нашествие неприятельское и ничего оно в себе враждебного не имело, а проходили они селения обывательския и пашни их как друзья и скромные путешественники, не касаясь ничьей собственности и не делая вовсе тех озорничеств, своевольств и всех родов бесчинств, каковы своими войсками обыкновенно в деревнях делаются под титулом: "Я слуга царский! Я служу Богу и государю за весь мир христианский! Куры, гуси, молодичицы и девки нам принадлежат по праву войны и по приказу его благородия!". Шведы, напротив, ничего у обывателей не вымогали и насильно не брали, но где их находили, покупали у них добровольным торгом и за наличные деньги. Каждый швед выучен был от начальства говорить по-русски сии слова к народу: "Не бойтесь! Мы ваши, а вы наши!"".

Мало было, однако, сочинить подобную идиллию, надо было еще объяснить широко известный факт ожесточенной борьбы малороссийского населения со "скромными путешественниками". И тут автор "Истории Русов" не остановился перед сочинением гнусного пасквиля на свой народ. Этот народ он уподобляет "диким американцам или своенравным азиатцам". Он находит, что, убивая шведов целыми партиями и по одиночке, украинцы делали это, единственно, по своей глупости; шведы же вызывали их ярость тем, что не умели говорить по-русски и не крестились. Приводя в русский лагерь пленного шведа, малоросс получал за это "сначала деньгами по несколько рублей, а напоследок по чарке горелки с приветствием: "Спасибо хохленок!".

Автор злорадно уверяет, что за свое усердие украинцы не были даже награждены. Награды и производства сыпались на великоруссов, а они остались "притчею в людех". "И хотя они в истреблении армии шведской более всех показали ревности и усердия, хотя они около года губили шведов... остались без вознаграждения и уважения". Автор с большим удовольствием описывает, как запорожцы, ушедшие с Мазепой в Турцию, мстили потом малороссийскому народу за его верность России, совершая набеги вкупе с татарами и бессарабцами.

Мазепинская легенда преподнесена чрезвычайно искусно. Хитрого, вкрадчивого карьериста, каким был Мазепа, нет и в помине. Перед нами - "отец отечества", ставящий благоденствие Украины выше собственной жизни. Боясь цензуры, автор не решается превозносить его добродетели от собственного имени, он прибегает к излюбленному приему - введения в текст фальшивых документов, сочиненных либо им самим, либо какими-нибудь "патриотами" из войсковой канцелярии. Одним из таких документов рисующих Мазепу великим государственным мужем, служит его воззвание, якобы, выпущенное в связи с приходом Карла XII в Малороссию. Поставив гетмана в позу человека снедаемого заботами за свой край, он приписывает ему рассуждение о возможном исходе борьбы между Петром и Карлом. Если победит царь, малороссам по-прежнему суждено испытывать известное им уже бремя московского деспотизма - истребление многочисленных семейств, предание казни невинных людей, клевету и поношения. Если же Петр будет сокрушен доблестным шведским королем, то Малороссия неминуемо будет присоединена к Польше. Судьба страны определится, в значительной степени, поведением самих украинцев в этот важный для них час. Что они изберут, к какой стороне присоединятся? Современный читатель, хорошо знающий, что весь "патриотический" план Мазепы заключался в присоединении Украины к Польше на условиях Гадячского договора, не без любопытства прочтет о мудром намерении гетмана не приставать ни к одной из сторон. Ссылаясь на свой продолжительный политический опыт, он считает за благо не воевать ни со шведами, ни с поляками, ни с русскими, но собрав собственное войско, быть готовыми отстаивать свою землю от всякого, кто на нее посягнет. Согласно "Истории Русов", такое войско у Мазепы существовало в момент вторжения Карла XII. Он, будто бы, стоял с ним на Десне, а свою главную квартиру учредил где-то между Стародубом и Новгород-Северским. Отсюда он и обратился будто бы к малороссам с воззванием.

Только полное незнакомство широкой читающей публики с событиями того времени вынуждает нас вкратце восстановить их истинную картину, необходимую для понимания степени ее искажения в "Истории Русов".

Поведение Мазепы накануне измены хорошо известно {97}. Окончательное решение предать Петра созрело у него до вторжения Карла в Россию. Оно ускорено было письмом княгини Дольской и приложенным к нему письмом самого короля Станислава Лещинского, полученными 16 сентября 1707 г. Гетман уже тогда открыл свой замысел Орлику. Когда же Орлик обратил его внимание на возможность победы Петра, Мазепа воскликнул: "Или я дурак прежде времени отступить, пока не увижу крайней нужды, когда царь не будет в состоянии не только Украины, но и государства своего от потенции шведской оборонить!" Верность царю он намерен был хранить до исхода поединка между Петром и Карлом. Выжидать результатов войны в бездействии - такова была тактика гетмана. Он меньше всего рассчитывал, что Украина станет театром военных действий и был ошеломлен известием о движении короля не на Москву, по Смоленской дороге, как подсказывала военная логика, а на юг - в Малороссию. "Дьявол его сюда несет! Все мои интересы превратит и войска великороссийские за собою внутрь Украины впровадит". Мазепа, видимо, не знал, что марш короля, поставивший его в столь трудное положение, подсказан Карлу поляками, обнадежившими шведов казачьей помощью, т. е., в конечном счете, вызван был изменой самого Мазепы. Совершить роковой шаг надлежало не в конце, а в самом начале кампании и в полной неизвестности ее исхода. А не совершить было невозможно: поляки успели многое разболтать, да могли и выдать тайну сношений с ними гетмана из чувства мести. Мазепе, поэтому, остался единственный путь - обманывать Петра до тех пор, пока не подойдут шведы, дабы открыто перейти к ним.

Когда царские генералы, к осени 1708 г., сосредоточили свои войска у Стародуба, они послали приглашение и гетману явиться туда же с казаками. Мазепа притворился больным, жалуясь на "педокгричную и хирокгричную" болезнь, не позволявшую ему даже на коне сидеть. Притворство так хорошо

удалось, что сам Меньшиков стал уговаривать Петра не настаивать на приезде старика, потому что "от педоктричной и хироктричной приключилась ему апелепция". Меньшиков хотел только выяснить какие-то частные вопросы в беседе с гетманом, для каковой цели отправился к нему в Батуриин.

У Мазепы, тем временем, шли совещания с его приближенными о посылке гонца к Карлу XII. Гетман пребывал в состоянии крайней нерешительности, чем вызывал немалое раздражение заговорщиков. После дебатов, даже ссор, послан был с письмом к королю Быстрицкий – правитель Шептаковской волости. От встречи с Меньшиковым решено было всячески уклоняться. Послали к нему племянника Мазепы Войнаровского с уведомлением об отъезде гетмана в Борзну, где его ждет киевский архиерей для соборования, "понеже конечно при кончине своей жизни обретается". Меньшиков опечалился: "жаль такого хорошего человека". Но вместо того, чтобы вернуться назад, решил как можно скорее ехать в Борзну, чтобы застать гетмана в живых. Это повергло в ужас Войнаровского. Ночью он бежал, чтобы предупредить Мазепу. Тем временем в Борзну прискакал Быстрицкий с известием о приближении Карла. Король обещал быть у Мокшанской пристани 22 октября, но в этот день не явился, а 23-го прибежал Войнаровский, объявивший, что завтра к обеду приедет в Борзну Меньшиков для свидания с умирающим гетманом. Мазепа "порвался, как вихрь" и немедленно помчался в Батуриин, а ночью 24 октября был уже у шведов. Никакой штаб-квартиры "между Стародубом и Новгород-Северским" и никакой многочисленной армии на Десне не существовало. Боясь казаков и не доверяя им, Мазепа их, попросту, не собрал, предпочитая опираться на польских сердюков {98}. Казачье войско пришлось собирать новому гетману – Скоропадскому. "В здешней старшине, – доносил Петру Меньшиков, – кроме самых вышних, також и в подлом (простом) народе с нынешнего гетманского злого учинку никакого худа ни в ком не видать".

"Вооруженный нейтралитет" был позой придуманной для Мазепы автором "Истории Русов". Еще большей фантастикой может считаться приписанное Мазепе утверждение, будто шведский и польский короли, по его настоянию, обещали не разорять Украины, а покровительствовать ей во время своего нашествия. Удалось, якобы, гетману добиться согласия на нейтралитет Украины в предстоящей войне и от единой православной России. При заключении мира Малороссия могла выступить, как самостоятельное государство, каким она была до польского владычества – со своими князьями, с древними правами и привилегиями. По словам "воззвания", великие европейские державы – Франция и Германия согласны гарантировать такой порядок вещей.

Самостийнические историки видят в этом воззвании свой идеал национальной независимости. "История Русов" была, по-видимому, главной виновницей того, что с этим идеалом связано имя Мазепы – самого непопулярного и самого ненационального из гетманов. Однако, возложив на него столь важную историческую миссию автор "Истории Русов" вынужден был и всю личность Мазепы представить в исключительно выгодном свете. Прежде всего, он рисует его человеком религиозным, богобоязненным, создателем многих церквей. Мазепа и в самом деле выстроил их не мало, но по словам Костомарова, дальше этих внешних знаков благочестия его религиозная жизнь не пошла. Во всяком случае, не из нее вытекало его поведение после измены, когда он, перебежав к Карлу, продолжал, якобы, соблюдать "нейтралитет" боясь пролития крови единоверцев. В прошлом, он этой крови не жалел, особенно крови своих разоблачителей, таких как Кочубей и Искра, таких как Палей, которого он упек в Сибирь, да и таких, как его прежний начальник и благодетель – гетман Самойлович. Есть основание думать, что служа при Дорошенко генеральным писарем, он не чужд был работоторговли. По крайней мере, кошевой Серко перехватил его однажды по дороге в Константинополь, куда он вез в подарок султану от Дорошенко 14 левобережных казаков. Подметное письмо, найденное в Киеве в 1670 году, прямо утверждает, что Мазепа людей русских православных продавал татарам и туркам. "История Русов" обо всем этом, конечно, не упоминает. Только уклониться от объяснения хорошо всем известной казни Искры и Кочубея, открывших измену Мазепы, – не сочла возможным. Но тут она, нисколько не задумываясь, приписала эту казнь не Мазепе, а царю Петру. Гетман, до самой смерти, остался кротким, добродетельным господином, умирая сжег даже ларец, в котором хранились списки его единомышленников, дабы не ввергнуть их в беду. Что никаких таких списков не могло существовать, ясно было не только историкам, но и современникам. Петр писал Апраксину: "Он не

только с совету всех, но из пяти персон сие зло учинил". "История Русов", между тем, не прочь повернуть дело так, что он этого зла и не собирался учинять, что переход его на сторону Карла был вынужденным по причине поведения все того же глупого народа и казаков, не пожелавших соблюдать "нейтралитета" и видеть в шведах своих лучших друзей и освободителей, к чему призывал поддельный манифест Мазепы.

Чтобы покончить с темой Мазепы и с ее трактовкой в "Истории Русов", приведем выдержку из Костомарова, посвятившего Мазепе, под конец своей жизни, обширную монографию. Вот каким представляется ему это божество самостийников:

"Гетман Мазепа, как историческая личность, не был представителем никакой национальной идеи. Это был эгоист в полном смысле этого слова. Поляк по воспитанию и приемам жизни, он перешел в Малороссию и там сделал себе карьеру, подделываясь к московским властям и отнюдь не останавливаясь ни перед какими безнравственными путями. Самое верное определение этой личности будет сказать, что это была воплощенная ложь. Он лгал перед всеми, всех обманывал - и поляков, и малороссиян, и царя, и Карла, всем готов был делать зло, как только представлялась ему возможность получить себе выгоду или вывернуться из опасности" {99}.

Не менее ярко и столь же неверно представлен в "Истории Русов" эпизод с полковником Полуботком - героем последней вспышки казачьего путчизма. Предательство Мазепы поставило перед Петром вопрос о реформе управления на Украине, которая служила бы гарантией неповторения измен и бунтов. Получив наглядный пример шатости старшины и полной преданности простого народа, Петр решил на то, на что не могли решиться предыдущие цари - смелее опираться на народ и лишить старшину захваченных ею прав бесконтрольного хозяйничанья в крае. Первым шагом к такому преобразованию было учреждение Малороссийской Коллегии - особого ведомства по управлению Малороссией, созданного в 1722 г. Состояла она из шести штаб-офицеров под председательством бригадира Вельяминова. Официально, это был как бы совет при гетмане Скоропадском, но он имел право надзора за судьями к приема жалоб от населения на казачьи власти, даже на верховный войсковой суд и войсковую канцелярию. Коллегия следила за всей входящей и исходящей перепиской канцелярии и осуществляла наблюдение за финансами.

В именном указе по поводу ее учреждения сказано, что "она учинена не для чего иного только для того дабы малороссийский народ ни от кого, как неправедными судами, так и от старейшины налогами утесняем не был".

После измены и бегства Мазепы притеснение мелкого казачества и крестьян не только не ослабло, но приняло еще большие размеры. "Полковники обращали себе в подданство многих старинных казаков. Нежинский полковник в одной Верклевской сотне поневолил более 50 человек, полтавский полковник Черняк закабалил целую Нехворощенскую сотню... переяславского полка березинской сотни баба Алексеиха Забеловна Дмитришиха больше 70 человек казаков поневолила". Жалобы и челобитья простого народа рисуют знакомую, по предыдущей главе, картину беззастенчивого закабаления: "полковники казаков соседей своих по маетностям принуждают за дешевую цену продавать свои грунты, мельницы, леса и покосы". По жалобе казаков на нежинского полковника Журковского, гетман Скоропадский дал им универсалы, отраждавшие от дальнейших обид, но когда они с этими универсалами явились к полковнику, тот обобрал их, бил, посадил в тюрьму и держал до тех пор, пока они не дали письменного обязательства быть у него навеки в подданстве {100}.

После рассылки по всей Украине печатного указа, объяснявшего задачи новой коллегии, старшина почувствовала, что ее управлению приходит конец, а когда увидела, что Петр не на шутку начинает выводить на чистую воду все ее дела о неправильно захваченных землях и несправедливо закрепощенных людях, она пришла в ужас. Но ее ждал еще один удар. Петр замыслил полное упразднение гетманства. Когда умер Скоропадский, новые гетманские выборы не были назначены. Царь велел исполнять обязанности гетмана черниговскому полковнику Павлу Полуботку, советуясь во всех делах с генеральной старшиной и с Малороссийской Коллегией. Не подлежит сомнению, что не умри Петр так рано, Скоропадский вошел бы в историю, как последний украинский гетман. Но наступившая после смерти императора реакция и гибель многих его начинаний вызвали, в числе прочих мероприятий, реставрацию малороссийского гетманства. В 1727 году, по предложению того же Меньшикова, состоялись гетманские выборы

и булава, лежавшая праздно пять лет, вручена была Данилу Апостолу – бывшему мазепинцу, ушедшему к Карлу XII, а потом снова перебежавшему к царю.

Эпизод с Полуботком разыгрался, согласно "Истории Русов", на почве введения малороссийской коллегией налогов. Сообщается об этих налогах таким тоном, будто они введены впервые. Автор, видимо, забыл, как он несколькими десятками страниц ранее поносил и проклинал Москву за взимание непосильных податей и поборов в Малороссии. Теперь оказалось, что до учреждения Малороссийской Коллегии, т. е. до 1722 г., никаких таких поборов и не было. Москва, действительно, ничего в свою пользу не получала, но малороссийский народ платил очень тяжелые подати в гетманскую казну. В 1722 году, все было оставлено по-прежнему: финансы Украины, как и прежде, оставались отделенными от общероссийских финансов, но произошло нечто небывалое дотоле – Малороссийская Коллегия обложила налогом привилегированный слой казачества – старшину. Это и дало повод к жалобам на податное бремя. Вина Полуботка заключалась якобы в том, что он вместе со старшиной выступил перед Сенатом с просьбой об избавлении казачьих чинов от обложения. Сенат, по словам "Истории Русов", внял и освободил, но Петр, вернувшись из персидского похода, восстановил налоги, а самого Полуботка с его приспешниками вызвал в Петербург.

Когда они предстали перед царем и снова просили об избавлении от тягот и о возвращении старых привилегий, Петр, по внушению Меншикова, назвал их, будто бы, изменниками и "повелел истязать и судить Тайной Канцелярии". Тайная Канцелярия, после пыток раскаленным железом, осудила всех на пожизненное тюремное заключение с конфискацией всего имущества. Услышав такой приговор, Полуботок, по словам "Истории Русов", произнес перед царем смелую речь, обличая незаконность его поступка и несправедливость кары постигшей старшину. Он не только напомнил царю о невыносимых податях, покорно выплачиваемых населением, но о строительстве крепостей, о рытье каналов и осушении болот, где гибнут тысячи малороссов от голода и усталости, напомнил о нарушении царскими чиновниками стародавних прав и обычаев малороссийских, о ненависти царских фаворитов, безжалостных врагов Украины, правящих ею на манер азиатских тиранов. "Я знаю, что нас ожидают цепи и мрак тюрьмы, где нас уморят голодом и лишениями, по московскому обычаю, но пока я жив, я скажу тебе всю правду, государь".

После столь эффектной речи дается мелодраматическое описание смерти Полуботка в Петропавловской крепости, куда к нему, якобы, пришел Петр Великий, чтобы попросить прощения. Полуботок не простил его, и умирая произнес еще одну блестящую речь: "За неповинные страдания мои и моих земляков будем судиться у нелицеприятного судьи, Бога нашего: скоро станем перед ним, и он рассудит Петра и Павла".

Эти речи Полуботка, сохранные нам "Историей Русов", пользовались необычайным успехом среди фрондирующей казачьей старшины, расходясь по рукам во множестве списков. Кроме "Истории Русов" они попали в "Les annales de la Petite Russie" Бенуа Шерера, вышедшие в Париже в 1788 г. Кроме того, портрет Полуботка с выгравированной под ним цитатой из его "речи" висел чуть не в каждом полковничьем и сотничьем доме. По мнению позднейших исследователей, изображен был на нем не Павел, а его отец Леонтий Полуботок, но это нисколько не мешало почитанию черниговского полковника, причисленного к лику национальных героев.

Надо ли говорить о том, что история Полуботка, как все аналогичные эпизоды, изложена "Историей Русов" в самом превратном виде, а речи его сочинены?

Подложность их давно не вызвала сомнений, даже у самостийников. Один из них, Александр Оглоблин, признал это недавно совершенно открыто {101}.

При спокойном рассмотрении в свете документального материала, какой мы находим у таких историков, как С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, А. М. Лазаревский {102} дело Полуботка и самая личность его выступают в совсем ином виде. Не бескорыстный патриотизм, а печать все того же казачьего хищничества лежит на них.

Конфликт "местоблюстителя" гетманских клейнодов с Малороссийской Коллегией был вызван не одним лишь обложением податями правящего сословия, но рассылкой по полкам универсалов, предоставлявших право простым казакам подавать в коллегию жалобы на притеснения со стороны старшины.

Мы уже видели, как в течение полустолетия старшина ожесточенно боролась

против такого права. Она старалась всеми силами изолировать простое казачество от царской администрации, она хотела быть его высшим и последним начальством. А теперь позволено было не только казакам жаловаться на своих полковников и сотников, но и крестьянам на помещиков. Крестьяне воспрянули духом, стали вести себя более независимо, а кое-где и побили помещиков. Жертвой таких расправ сделался один из казачьих магнатов, известный Забела. Тогда Полуботок с своими товарищами решился на открытое нарушение царского приказа. А приказ запрещал кому бы то ни было издавать универсалы без согласия Малороссийской Коллегии. Превысив власть, Полуботок, вкупе со старшиной, выпустил универсал, направленный против Малороссийской Коллегии и требовавший от крестьян повиновения своим помещикам. Петр усмотрел в этом рецидив старой казачьей крамолы и вызвал Полуботка с его приближенными в Петербург для объяснения. Прослышав об этом, стародубские и любецкие поселенцы послали туда своих челобитчиков с жалобами на старшину и с просьбой заменить казачий суд имперским. Полуботок с товарищами объявили это посольство фальшивым, подстроенным Малороссийской Коллегией. Петру, видимо, давно надоело положение, при котором обо всяком нестроении в Малой России невозможно было иметь ясного представления. Обнаруживался ли факт растущей безлошадности среди казаков, гетман объяснял это поставкой подвод проезжим великороссам, а сами казаки работами, которыми утесняют их полковники; оказывалось ли, что в некоторых городах ратуши "стали пусты", гетман винил в этом генералов и офицеров, расквартированных в данных городах и требовавших себе на кухни всяких запасов, а жители доносили, что хотя ратуши, действительно, снабжают войска продовольствием, но для этой цели с народа идут поборы на ратуши, а беда лишь в том, что поборы значительно превышают то, что требуется для прокорма гарнизонов, потому что "тем корыстуются полковники, сотники, атаманы и войты".

В случае с Полуботком, царь решил добиться более объективной информации о положении на Украине, он отправил туда Румянцева – доверенное лицо, с целью опроса населения. Полуботок с товарищами, крайне заинтригованные наказом, данным царскому посланному, решились на подкуп подьячих сенатской канцелярии с целью выведать содержание секретной инструкции. Когда это удалось, они отправили в нужные места ходоков, снабженных тоже инструкцией, предупреждавшей и указывавшей что делать, как отвечать на вопросы Румянцева, какие сведения давать, а каких не давать. Посланы были распоряжения о сожжении документов. У самого Полуботка в доме, служанка Марья сожгла какие-то бумаги, а палачу, состоявшему в ведении гетмана, приказано было эту Марью убить, да и еще кое-кого, чьих доносов и показаний опасались. Полковникам и сотникам приказывалось спешно помириться с обиженными ими людьми и даже ублажить их чем можно. Сыну Полуботка Андрею приказывалось призвать сотника любецкого и заверить его в полном удовлетворении, которое будет дано людям его сотни, лишь бы они, да и сам сотник, не жаловались Румянцеву на Полуботка. Велено писать жалобы на россиян, на их бесчинства, на тяготы от постоя войск. От своих людей, находившихся в казачьих отрядах стоявших при границе на реке Коломаке, удалось добиться составления петиции на царское имя с жалобами на притеснения великорусского начальства, его несправедливости и незаконные поборы. Все было сделано, чтобы парализовать работу Румянцева и сбить его планы. Тем не менее, многое ему удалось узнать, а главное, убедиться в страшном недовольстве народа казачьим режимом. Еще до получения от него донесений, Петр узнал о проделках Полуботка, о подкупе подьячих, и приказал учинить следствие. Все бумаги арестованных попали в руки властей, благодаря чему вскрылась не только картина их происков, но и многие беззакония на Украине, которые хотели скрыть.

Ни одному из перечисленных выше авторов, просматривавших исторический материал, связанный с этим эпизодом, не попадалось сведений о попытках каленым железом, да и вообще о каких либо попытках. Не найдено намека и на знаменитые речи Полуботка. Странно было бы и предполагать, чтобы крепостник, ненавидимый собственным народом, мог морально торжествовать над царем, державшим в руках многочисленные свидетельства народного недовольства старшиной и всеобщего требования упразднить ненавистные старшинские порядки. Судя по сохранившимся известиям о том, что Полуботку были показаны все эти материалы, можно заключить об обратной картине: не он укорял царя, а царь обличал его самого. Власти располагали документальными данными о его личных злоупотреблениях – скупке казачьих земель, незаконном закрепощении во время

управления черниговским полком.

Сам Полуботок, не дождавшись конца следствия, умер в крепости осенью 1724 года. Единомышленники его, Савич и Черныш, просидели еще около 2 лет и освобождены при Екатерине I, по ходатайству "врага Украины" кн. Меншикова.

Дело Полуботка означает переломный момент в судьбе казачьей старшины. Она ясно стала понимать, что эпоха ее хозяйничанья в Малороссии кончилась, что царь, раздраженный бесконечными путчами и изменами, решился прибегнуть к вернейшему средству ее обуздания – поднять на нее постоянно кипевшую ярость народа. Боязнь все потерять была, по-видимому, настолько сильна, что украинская аристократия перестает держаться за старинные казачьи права и все силы употребляет на удержание накопленных реальных выгод и ценностей. Она вступает на путь быстрого превращения в российское дворянство. История полна метаморфоз и перевоплощений; и это не первый случай, что насильническая буйная стихия становится, с течением времени своей полной противоположностью. Отбросив прежние казачьи иллюзии, степная вольница вступила на путь имперского строительства Малороссии и всей России. Из нее вышли великолепные государственные, военные и церковные деятели, множество ученых, писателей, да едва ли не вся та интеллигенция, которая, вместе с петербургской и московской, создала культуру мирового значения.

Такое превращение облегчено было смертью Петра. Петр не шибко жаловал и великорусское дворянство. Бывали минуты, когда он задумывался над его упразднением. Безусловно, между великорусским и малорусским шляхетством образовалась некая общность судьбы и общность интересов. Поэтому, восстановление гетманства в 1727 г. и упразднение Малороссийской Коллегии надо рассматривать не иначе, как в связи с приходом к власти дворянства, открывшего после кончины Петра эру своего процветания. Характерно, что бригадира Вельяминова, главу Малороссийской Коллегии, привлекли к ответственности за какие-то "злоупотребления". Не в злоупотреблениях было дело, а в том, чтобы уничтожить петровскую политику, потворствовавшую крестьянину в ущерб помещику. Российское дворянство помогло малороссийскому избавиться от этой грозной опасности, а малороссийское, в свою очередь, поняв ее, совершило быстрый "спуск на тормозах", отказавшись от прежнего казачьего обличья и казачьего самоуправления. Гетманство Данилы Апостола, а потом Кирилла Разумовского, создано было как бы для того, чтобы облегчить эту эволюцию. Но и тут украинских помещиков не покидала строгая расчетливость. Они до самого воцарения Петра III туго шли на "превращение". Причина заключалась в неравенстве прав. Как ни приbedнялось, ни хныкало малороссийское шляхетство, постоянно твердившее о каких-то "оковах", оно пользовалось гораздо большими вольностями и льготами, в смысле государственной службы, чем его великорусские собратья. В этом отношении оно стояло ближе к польскому панству. Сливаться с великорусским благородным сословием на основе его строгой и неукоснительной службы государству, ему не очень хотелось. Только когда Петр III и Екатерина, своими знаменитыми грамотами, освободили российское дворянство от обязанности служить, сохранив за ним, в то же время, все права и блага помещичьего сословия – у малороссов отпали всякие причины к обособлению. С этих пор они идут быстро на полную ассимиляцию. Впоследствии, А. Чепе один из приятелей В. Полетики и, по-видимому, вдохновитель "Истории Русов", снабжавший ее автора необходимыми материалами и точками зрения, – писал своему другу: пока "права дворян русских были ограничены до 1762 г., то малороссийское шляхетство почло за лучшее быть в оковах, чем согласиться на новые законы. Но когда поступили с ними по разуму и издан указ государя императора Петра III о вольностях дворян (1762 г.) и высочайшая грамота о дворянстве (1787), когда эти две эпохи поровняли русских дворян в преимуществах с малороссийским шляхетством, тогда малороссийские начали смело вступать в российскую службу, скинули татарские и польские платья, начали говорить, петь и плясать по-русски" {103}.

"История Русов" известна была сначала под именем "Летописи Конисского", но уже в середине XIX века начали приходить к заключению о неправдоподобности участия могилевского архиепископа в ее составлении. Автора стали усматривать в том самом Григории Полетике, которому, по утверждению Бодянского, Конисский вручил летопись.

Григорий Полетика родился в 1725 году, в семье одного из казацких старшин, следовательно, хорошо помнил время усиленного закрепощения

крестьянства и, одновременно, неприязнь к Петру за ущемление им старшинского произвола. Человек суровый, холодный, беспощадный в обращении с подчиненными, как его характеризует один из самостийнических историков, он был ревностным сторонником насаждения крепостного права на Украине и глашатаем исключительного господствующего положения казачьего дворянства. Его перу принадлежат две записки, развивающие эту идею.

Естественно, он стал центром притяжения ему подобных; вокруг него собрался тот кружок, из которого вышла "История Русов". Сын его Василий, подобно отцу, принимал близко к сердцу интересы своего сословия и составил "Записку о начале, происхождении и достоинстве малороссийского дворянства". Выказано мнение, что он, а не отец его – истинный автор "Истории Русов" {104}.

Вопрос об авторстве занимает нас меньше, чем другой; почему в конце XVIII – в начале XIX веков все еще существовали люди недовольные имперским правительством и облакавшие свое недовольство в старинные казачьи формы? Казалось бы, запорожская вольница добилась всего, о чем мечтала – богатства, власти, земель, крепостных крестьян. Чем могли питаться теперь ее антирусские настроения? Для подавляющего большинства прежней старшины – ничем.

Мы знаем, что оно прекратило всякую фронду и стало оплотом самодержавия наряду с великорусским дворянством. Но осталась кучка не до конца "устроенных". Чтобы понять ее недовольство, надо пристальнее присмотреться к "Истории Русов" с ее навязчивой идеей шляхетства-казачества. Это главная тема и политический нерв произведения.

"Шляхетство, по примеру всех народов и держав, естественным образом составлялось из заслуженных и отличных в земле пород и всегда оно в Руси именовалось рыцарством, заключающим в себе бояр, происшедших из княжеских фамилий, урядников по выборам и простых воинов, называемых казаками по породе, кои производят из себя все чины выборами и их по прошествии урядов возвращая в прежнее звание, составляли одно рыцарское сословие искони тако самым их статутным правом утверждаемое, и они имели вечистую собственностью своею одне земли с угодьями, а поспольством владели по правам и рангам и повинность посполитых была установлена правами. А владевшие ими в отношении власти их над поспольством считались и назывались отчичами или вотчинниками, от слова и власти взятых по древним патрициям, то есть отцам народным управлявшим первоначальными семействами и обществами народными, с кротостью и характером отеческими. Духовенство, выходя из рыцарства по избрании достойных, отделялось только на службу Божию, а по земству имело одно с ними право". Автор с возмущением отвергает мнение, будто казаки судились по каким-то собственным специально для них изданным законом, а не по обычному шляхетскому праву, "по статутным артикулам для шляхетства узаконным".

Судя по тому, как часто, к стати и не к стати, подчеркивается их рыцарское достоинство, к каким изощренным приемам фальши прибегают автор, чтобы утвердить за ними шляхетские права, можно заключить о болезненной чувствительности этого пункта. Весь тон повествования похож на страстный ответ кому-то, кто оспаривает казачье дворянство. Перед нами драма той части потомков Кошек, Подсков, Гамалиев, которая успела добиться всего, кроме прав благородного сословия.

Не было, кажется, случая, чтобы имперское правительство лишало малороссийского помещика земель и крестьянских душ только за то, что он не дворянин; помещики продолжали владеть, де факто, теми и другими, но сами отлично знали, что это противозаконно. Страдало их самолюбие и от таких "мелочей", как недопущение, на первых порах, в Шляхетный кадетский корпус (открытый в 1731 г.) детей малороссов, "поелику-де в Малой России нет дворян". Казачество так быстро сделало помещичью карьеру, что не успело еще изгладиться из памяти его происхождение. Граф Румянцев, в письмах к Екатерине II, рассказывает, что при выборах в Комиссию по составлению Нового Уложения редкое собрание обходилось без саморазоблачений; всегда кого-нибудь собственные же соседи публично уличали в отсутствии у него дворянского звания. Тогда обиженный вставал и начинал перечислять всех крупных вельмож – своих земляков, ведущих род либо "от мещан", либо "от жидов". Царское правительство смотрело на это сквозь пальцы, оно неуклонно вело политику превращения местных самочинных "аграриев" в российских дворян. Те же выборы в екатерининскую комиссию 1767 г., проводившиеся в Малороссии по сословному

принципу, как во всей России, означали фактическое признание тамошних помещиков за дворян. Со времен царя Алексея Михайловича началась практика выдачи всевозможных грамот, закреплявших за панами в вечное потомственное владение земель и угодий. Совершенно ясное узаконение малорусского дворянства произведено распространением на Малороссию (в 1782 г.) закона о губерниях и уравнием крестьян и помещиков обеих частей государства по указу 1783 г. Наконец, через два года явилась Жалованная Грамота Российскому Дворянству, относившаяся в одинаковой мере как к великоруссам, так и малоруссам.

Но одно дело - общее законодательство, а другое бюрократическая практика. В скрипучей машине необъятной империи колеса вертелись не всегда гладко. На Украине оказалось столько оттенков и категорий панства, что их трудно было перевести на всероссийскую шкалу.

Продолжал, также, действовать род государственного преступления, учиненного Богданом Хмельницким, который, получив согласие царя на небывало высокую цифру казачьего реестра в 60.000 человек, так и не составил этого реестра. Когда заходила речь о жаловании казаками и московское правительство требовало списки, их не оказывалось. Никто не знал, сколько в Малороссии казаков и неизвестно было, кто казак, а кто мужик. Вопрос этот решался, обычно, по личному усмотрению старшины.

Дворянское звание закрепляли сначала за чинами войскового уряда, что было довольно просто, тем более, что большинству этих тузов шляхетство давно было пожаловано либо польскими королями, либо царями московскими. Сравнительно легко справились с полковой аристократией, приравняв полковников к бригадирам, полковых есаулов, хорунжих и писарей - к ротмистрам, сотников - к поручикам и т. д. Но оставалось много званий, которых табель о рангах не предвидела и не вмещала. С ними были вечные недоразумения, усугубленные деятельностью малороссийских депутатских дворянских собраний. Призванные разбирать права своей страждущей братии, они, по словам А. Я. Ефименко, "завели чуть-что не открытую торговлю дворянскими правами и дипломами".

Все это способствовало недовольству и популярности того "учения", согласно которому казацким потомкам вовсе не нужно доказывать свое шляхетство, поскольку казачество из веку было шляхетским сословием. До какой степени проблема "прав" тревожила умы, и какой климат создавала она на Украине, можно судить по тому, что еще в шестидесятых годах XVIII века южное дворянство, в массе своей, не могло предъявить никаких документов в подтверждение своего "благородного" происхождения: объясняли это гибелью семейных архивов во время смут и войн. Однако, лет через пятнадцать-двадцать, ко времени возникновения комиссии о разборе дворянских прав в Малороссии, до ста тысяч дворян явилось с превосходными документами и с пышными родословными.

Оказалось, что Скоропадские, например, происходят от некоего "референдаря над тогобочной Украиной", Раславцы - от польских магнатов Ходкевичей, Карновичи - от венгерских дворян, Кочубеи - от татарского мурзы, Афендики - от молдавского бурколаба, Капнисты - от мифического венецианского графа Капнисты, жившего на острове Занте. Появились самые фантастические гербы. Весь Бердичев трудился над изготовлением бумаг и грамот для потомков сечевых молодцов. Поддельность их гербов и генеалогий была настолько общеизвестна, что появились сатирические поэмы вроде: "Доказательства Хама Данилея Куксы потомственны".

"Да вже ж наши дворяне гербы посилають,
А шо я був дворянин, то-того й не знають".

Этот дворянин, еще недавно косивший, молотивший, жавший и лишь в последнее время "трохи як розживсь" сочинил себе тоже герб:

"Вон у мене герб який
В дерев'янем цвिति
Ще ни в кого не було
В Остерском повити.
Лопата написана
Держалом у гору,
Побачивши скаже всяк,
Що воно без спору.
У середини грабли,

Выла и сокира,
Якими було роблю,
Хоть яка сквира".

В таком же духе написано прошение пана депутата Пleshинского, который просит его уволить от обязанностей выборной своей службы по той причине, что он "посвятил всю свою жизнь шинковому промыслу" {105}.

Когда до Герольдии дошли сведения о злоупотреблениях на почве "посилания" гербов, она стала придирчивой и затруднила доступ в дворянство тем, кто еще не успел попасть туда. Особенности строгости начались с 1790 года.

В этот трудный для известной части малороссийского шляхетства период, когда оно втайне раздражено было против имперского правительства, возник рецидив казачьих настроений, вылившийся в сочинении фантастической "Истории Русов".

Все, чем казачество оправдывало свои измены и "замятни", свою ненависть к Москве, оказалось собранным здесь в назидание потомству. И мы знаем, что "потомство" возвело эту запорожскую политическую мудрость в символ веры. Стоит разговориться с любым самостийником, как сразу обнаруживается, что багаж его "национальной" идеологии состоит из басен "Истории Русов", из возмущений "проклятой" Екатериной II, которая "зачипала крюками за ребра и вишала на шибеници наших украинських казакив". Казачья идеология сделана национальной украинской идеологией. В противоположность европейским и американским сепаратизмам, развивавшимся, чаще всего, под знаком религиозных и расовых отличий либо социально-экономических противоречий, украинский не может основываться ни на одном из этих принципов. Казачество подсказало ему аргумент от истории, сочинив самостийническую схему украинского прошлого, построенного сплошь на лжи, подделках, на противоречиях с фактами и документами. И это объявлено, ныне, "шедевром украинской историографии".

"Возрождение"

Для первой половины XIX века констатировано полное затухание казачьего автономизма, что вполне понятно, если принять во внимание исчезновение самого казачества. Помимо горсти фрондеров типа Полетики, державшихся трусливо и ворчавших ничуть не грознее членов московского Аглицкого клуба, никакого политического национализма на Украине, в то время, не существовало. По словам Грушевского, уже со времен Петра Великого началось стирание граней в культурном облике малоруссов и великоруссов. Образованные украинские силы, особенно духовенство, широко были привлечены к строительству Российской Империи. "Великорусский язык входит в широкое употребление, не только в сношениях с российскими властями, но влияет и на язык внутреннего украинского делопроизводства, входит и в частную жизнь и в литературу Украины" {106}.

Этот "великорусский" язык был, разумеется, тем общероссийским языком, в выработке которого малоруссы приняли одинаковое, если не большее участие вместе с великоруссами. Именуя его великорусским, Грушевский делает вид, будто он, как нечто чуждое, принесен извне государственным порядком, хотя ни фактов насильственного его внедрения не приводит, ни открытого утверждения в этом смысле не позволяет себе. "По мере того, - говорит он, - как культурная жизнь обновленной России понемногу растет, с середины XVIII века великорусский язык и культура овладевают все сильнее и глубже украинским обществом. Украинцы пишут по-великорусски, принимают участие в великорусской литературе, и много их становится даже в первые ряды нового великорусского литературного движения, занимают в нем выдающееся и почетное положение".

Процесс слияния малороссийского шляхетства с великорусским шел так быстро, что окончательное упразднение гетманства при Екатерине не вызвало никакого сожаления. Все прочие перемены встречены столь же легко, даже с сочувствием. Если небольшая кучка продолжала твердить о прежних "правах", то очень скоро "желание к чинам, а особливо к жалованию" взяло верх над "умоначертаниями старых времен". Как только разрешился в благоприятную сторону вопрос о проверке дворянского звания, южнорусское шляхетство

окончательно сливается с северным и становится фактором общероссийской жизни. Забвение недавнего автономистского прошлого было так велико, что по словам того же Грушевского "созидание национальной жизни" пришлось начинать "заново на пустом месте" {107}.

Все, что подходило под понятие национальной жизни на Украине в первой половине XIX столетия, представлено было любителями народной поэзии и собирателями фольклора, добрая половина которых состояла из "кацапов", вроде Вадима Пассека, И. И. Срезневского, А. Павловского. Даже Н. И. Костомаров до двадцатилетнего возраста не знал, великорусс он или малорусс.

Что же до природных украинцев – М. А. Максимовича, А. Л. Метелинского, И. П. Котляревского, Е. П. Гребенки, то они не только не противопоставляли украинизма руссизму, но всячески подчеркивали свою общероссийскую природу, нисколько не мешавшую им быть украинцами. "Скажу вам, что я сам не знаю, какова у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Оба природы щедро одарены Богом и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой".

Эти слова Гоголя могут считаться выражающими настроения подавляющего числа тогдашних малороссийских патриотов. Весь их патриотизм заключался в простой, естественной, лишенной какой бы то ни было политической окраски, любви к своему краю, к его природе, этнографии, к народной поэзии, к песням и танцам. Самая деятельность их заключалась в собирании этих песен и сказок, в изучении языка и быта, в сочинении собственных стихов и повестей на этом языке. "Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену народности, – писал Максимович в предисловии к своему сборнику малороссийских песен, – начинает уже сбываться желание: да создастся поэзия истинно русская".

Этот человек, любивший Украину, никогда не забывал, что она – русская земля. "Уроженец южной киевской Руси, где земля и небо моих предков, я преимущественно ей принадлежал и принадлежу донныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавший в Москве, я также любил, изучал и северную московскую Русь, как родную сестру нашей киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимировой Руси, чувствуя и сознавая, что как их бытие, так и уразумение их одной без другой, недостаточны, односторонни".

Слова эти, сказанные в ответ на приветствия по случаю 50-летия его литературной деятельности в 1871 г., как нельзя лучше характеризуют всю жизнь Максимовича и все его ученые труды. Его филологические и исторические работы, журналы "Киевлянин" и "Украинец", издававшиеся им в 40–60 годах, встречались всегда одинаково благожелательно, как русским, так и малороссийским обществом. Когда основался киевский университет св. Владимира, Максимович, в то время совсем еще молодой профессор ботаники в Москве, назначается его ректором.

Пост был чрезвычайно ответственный. Правительство Николая I ставило задачей киевскому университету противодействие польскому влиянию в крае. Это были те времена, когда среди поляков господствовала точка зрения, выраженная Владиславом Мицкевичем – сыном поэта, согласно которой спрашивать киевлян, хотят ли они жить с Польшей, все равно, что "demander aux habitants de Moscou et de Tver, s'ils sont Russes". К тому же и профессура нового университета состояла, на первых порах, преимущественно из поляков.

Максимович блестяще справился со своей задачей. Установив наилучшие отношения со своими коллегами поляками, он в то же время противопоставил их культурному влиянию свое собственное – русское. Сам гр. С. С. Уваров – министр народного просвещения – был в восторге. Однажды, в 1837 г., он совершенно неожиданно приехал в Киев и сразу отправился в Университет. Там в это время происходил акт, на котором Максимович читал речь "Об участии и значении Киева в общей жизни России". Уваров так был захвачен этой речью, что едва дал оратору закончить ее, бросившись к нему с горячим рукопожатием {108}. Эпизод этот – лучшее свидетельство того, какой национальной жизнью жил этот выдающийся украинец того времени.

Таков же, примерно, был Амвросий Метелинский (1814–1869) – профессор харьковского и киевского университетов, – восторженный романтик и идеалист, страстный собиратель народной поэзии. В предисловии к своему сборнику южно-русских песен, выпущенному в Киеве в 1854 г., он писал все в том же

духе единства русского народа и русской культуры: "Я утешился и одушевился мыслью, что всякое наречие или отрасль языка русского, всякое слово и памятник слова есть необходимая часть великого целого, законное достояние всего русского народа, и что изучение и разъяснение их есть начало его общего самопознания, источник его словесного богатства, основание славы и самоуважения, несомненный признак кровного единства и залог святой братской любви между его единоверными и единокровными сынами и племенами".

Русское столичное общество не только не враждебно относилось к малороссийскому языку и произведениям на этом языке, но любило их и поощряло, как интересное культурное явление. Центрами новой украинской словесности в XIX веке были не столько Киев и Полтава, сколько Петербург и Москва. Первая "Грамматика малороссийского наречия", составленная великоруссом А. Павловским, вышла в СПб, в 1818 году. В предисловии, автор объясняет предпринятый им труд желанием "положить на бумагу одну слабую тень исчезающего наречия сего близкого по соседству со мною народа, сих любезных моих соотчичей, сих от единые со мною отрасли происходящих моих собратьев".

Первый сборник старинных малороссийских песен, составленный кн. М. А. Цертелевым, издан в 1812 году в Петербурге. Следующие за ним "Малороссийские песни", собранные М. А. Максимовичем, напечатаны в Москве в 1827 г. В 1834 году, там же вышло второе их издание. В Петербурге, печатались Котляревский, Гребенка, Шевченко. Когда Н. В. Гоголь прибыл в Петербург, он и в мыслях не держал каких бы то ни было украинских сюжетов, сидел над "Гансом Кюхельгаргеном" и намеревался идти дорогой тогдашней литературной моды. Но вот, через несколько времени пишет он матери, чтобы та прислала ему пьесы отца. "Здесь всех так занимает все малороссийское, что я постарюсь попробовать поставить их на театре". Живя в Нежине, он не интересовался Малороссией, а попав в москальский Петербург стал засыпать родных письмами с просьбой прислать подробное описание малороссийского быта. В Петербурге поэтов писавших по-украински пригревали, печатали, выводили в люди и создавали им популярность. Личная и литературная судьба Шевченко – лучший тому пример. "Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на Руси, – писал Н. И. Костомаров, – идея двух русских народностей не представлялась в зловещем виде, и самое стремление к развитию малороссийского языка и литературы не только никого не пугало призраком разложения государства, но и самими великороссами принималось с братской любовью".

Говоря о "национальной жизни", Грушевский имел в виду не таких людей, как Метелинский и Максимович, и не любовь к народу и к народной поэзии. Национальные его устои связаны с радами, бунчуками, с враждой к московщине. Но если этот национализм пришлось создавать "заново, на пустом месте", то каким чудотворным словом поднят был из гроба Лазарь казачьего сепаратизма? Штампованная марксистская теория без труда отвечает на этот вопрос: – развитие капитализма, рождение буржуазии, борьба за рынки.

Кого сейчас способно удовлетворить такое объяснение? Не говоря уже о внутреннем банкротстве самой теории, не существует, сколько нам известно, ни одной серьезной попытки приложения ее к изучению капиталистического развития на Украине в XIX в. Капитализма собственно-украинского, отличного от общероссийского, невозможно обнаружить, до такой степени они слиты друг с другом. А о борьбе за "внутренний рынок", смешно говорить при виде украинских богачей, сидевших в Москве и в Петербурге, как у себя дома.

Не экономикой, не хозяйственными интересами и потребностями объясняется возрождение казачьего автономизма после полувекового мертвого периода. Пошел он не от цифр ярмарочной торговли, а от книги, от литературного наследия.

Существует марокканская легенда, согласно которой все мужское еврейское население было истреблено, однажды, арабами. Тогда жены убитых попросили позволения посетить могилы мужей. Им это было разрешено. Посидев на кладбище, они забеременели от покойников и таким путем продолжили еврейскую народность в Марокко.

Украинский национализм XIX века также получил жизнь не от живого, а от мертвого – от кобзарских "дум", легенд, летописей и, прежде всего, – от "Истории Русов".

Это не единственный случай. Существовало лет сто тому назад ново-кельтское движение, поставившее целью возродить кельтский мир в составе Ирландии, Шотландии, Уэльса и французской Бретани. Стимулом были древняя поэзия и предания. Но рожденное не жизнью, а воображением, движение это

дальше некоторого литературного оживления, филологических и археологических изысканий не пошло.

Не получилось бы никаких всходов и на почве увлечения казачьей словесностью, если бы садовник-история не совершила прививку этой, отрезанной от павшего дерева ветки, к растению, имевшему корни в почве XIX века.

Казачья идеология привилась к древу российской революции и только от него получила истинную жизнь.

То, что самостийники называют своим "национальным возрождением", было не чем иным как революционным движением, одетым в казацкие шаровары. Это замечено современниками. Н. М. Катков в 1863 г. писал: "Года два или три тому назад, вдруг почему-то разыгралось украинофильство. Оно пошло параллельно со всеми другими отрицательными направлениями, которые вдруг овладели нашей литературой, нашей молодежью, нашим прогрессивным чиновничеством и разными бродячими элементами нашего общества" {109}. Украинофильство XIX века, действительно, представляет причудливую амальгаму настроений и чаяний эпохи гетманщины с революционными программами тогдашней интеллигенции.

Ни Гоголь, ни Максимович, ни один из прочих малороссов, чуждых революционной закваски, не прельстился "Историей Русов", тогда как в сердцах революционеров и либералов она нашла отклик. И еще любопытнее: самый горячий и самый ранний отклик последовал со стороны не украинцев, а великороссов. М. П. Драгоманов, впоследствии, с некоторой горечью отмечал что "первая попытка в поэзии связать европейский либерализм с украинскими историческими традициями, была предпринята не украинцами, а великоруссом Рылеевым" {110}.

Кондратий Федорович Рылеев - "неистовый Виссарион" декабристского движения, был из тех одержимых, которые пьянели от слов "свобода" и "подвиг". Они их чтили независимо от контекста. Отсюда пестрота воспетых Рылеевым героев: - Владимир Святой, Михаил Тверской, Ермак, Сусанин, Петр Великий, Волынский, Артамон Матвеев, Царевич Алексей. Всех деятелей русской истории, которых летопись или молва объявили пострадавшими за "правду", за родину, за высокий идеал, он награждал поэмами и "думами".

Берясь за исторические сюжеты, он никогда с ними не знакомился сколько-нибудь обстоятельно, доверял первой попавшейся книге или просто басне. Не трудно представить, каким кладом оказались для него "История Русов" и казачьи летописи, где что ни имя, то герой, что ни измена, то непременно борьба за вольность, за "права".

Пусть гремящей, быстрой славой,

Разнесет везде молва,

Что мечом в битве кровавой

Приобрел казак права!

Едва ли не большее число его "дум" посвящено украинскому казачеству: Наливайко, Богдан Хмельницкий, Мазепа, Войнаровский - все они борцы за свой край, готовые жертвовать за него кровью.

Чтоб Малороссии родной,

Чтоб только русскому народу

Вновь возвратить его свободу.

Грехи татар, грехи жидов,

Отступничество униатов,

Все преступления сарматов

Я на душу принять готов.

Так говорит Наливайко в "Исповеди". Ему же вложены в уста ставшие знаменитыми стихи:

Известно мне: погибель ждет

Того, кто первый восстает

На притеснителей народа.

Судьба меня уж обрекла,

Но где скажи, когда была

Без жертв искуплена свобода?

Не менее благородные и возвышенные чувства звучат в "Войнаровском", где измена Мазепы рассматривается, как "борьба свободы с самовластьем".

Войнаровский, такой же карьерист и стяжатель, как его дядюшка Мазепа, представлен пылким энтузиастом свободы, ринувшимся на ее защиту.

Так мы свои разрушив цепи

На глас свободы и вождей,
Ниспровергая все препоны,
Помчались защищать законы
Среди отеческих степей.

Нигде больше, ни в русской, ни в украинской литературе образ Малороссии и казачьих предводителей не овеян такой романтикой высокого подвига, как в поэмах и "думах" Рылеева. "Думы и поэмы великорусса Рылеева, замечает Драгоманов, - сеяли в целой России и в Украине не одни либеральные идеи, но, бесспорно, поднимали на Украине и национальное чувство. Еще в 50-х годах, я помню, "Войнаровский" и "Исповедь Наливайки" переписывались в наших тайных тетрадях рядом с произведениями Шевченко и читались с одинаковым жаром" {111}.

Шевченко шел по тропе проложенной Рылеевым и был его прямым учеником. Даже русофобия, которой насыщена его поэзия, - не оригинальна, она встречается у Рылеева. Это те стихи в "Войнаровском", что посвящены жене его казачке, стоически переносящей выпавшие на ее долю невзгоды.

Ее тоски не зрел москаль,
Она ни разу и случайно
Врага страны своей родной
Порадовать не захотела
Ни тихим вздохом, ни слезой.
Она могла, она умела
Гражданкой и супругой быть.

Если не считать небольшой группы казакоманов типа Полетики, то не только в простом народе, но и в образованном малороссийском обществе времен Рылеева редко встречались люди способные назвать москаля "врагом страны своей родной". Не трудно отсюда заключить о роли поэм "великорусса Рылеева". Облаченный им в римскую тогу казачий автономизм приобретал новизну и привлекательность, роднился с европейским освободительным движением, льстил местному самолюбию. Алчные казачьи страсти прикрывались ризой гражданских добродетелей, сословные путчи гетманской эпохи возводились в ранг жертвенных подвигов во имя свободы, а добычники и разбойники выступали в облики Брутов и Кассиев. Какой живительной водой вспыскивала такая поэзия чахлые остатки поборников казачьих идеалов!

"Примите выражения признательности моей и моих соотечественников, которых я знаю", писал Рылееву Н. Маркевич, автор одной из "Историй Малороссии", - "Исповедь Наливайко глубоко запала в наши сердца... Мы не забыли еще высокие дела великих людей Малороссии... Вы еще найдете у нас дух Полуботка" {112}. Не один дух Полуботка, но и дух Мазепы разбужен Рылеевым. Силуэт гетмана, виднеющийся на заднем плане поэмы "Войнаровский" и в других думах, очерчен с несомненной симпатией. Это человек высоких помыслов, могучих сил. Можно сказать, что не Войнаровский, а он истинный герой поэмы. Войнаровский готов жертвовать Украине всем, что у него есть:

... стране родимой
Отдам детей с женой любимой;
Себе одну оставлю честь.

Мазепа же готов ей и честью жертвовать. Образ его овеян трагизмом и жестокой, но благородной драмой. Поэт не судит его за измену; лежала ли в основе ее правда или ложь - все равно; важно, что он весь предан Украине.

И Петр и я - мы оба правы;
Как он, и я живу для славы,
Для пользы родины моей.

Сколько известно, никто из литературоведов занимавшихся творчеством Рылеева не придавал национального значения казачьим сюжетам его поэм. В них видели, только, образцы "гражданской лиры". Попадись что-нибудь похожее из татарской либо турецкой истории, оно было бы воспето с одинаковым пылом. Действительно, украинофильство нашего поэта до того книжное, начитанное, что в какое-нибудь политическое его значение не верится. И все же, есть основание думать, что оно не случайно.

Не надо забывать, что Рылеев - декабрист, а декабристский заговор, в значительной мере, и может быть в большей, чем мы предполагаем, был заговором украинско-польским. Эта его сторона наименее изучена, но игнорировать ее нельзя.

Что в Польше, задолго до декабристов, существовали тайные

патриотические организации и что эти организации готовились к восстанию против русского правительства хорошо известно. Граф Солтык и полковник Крыжановский засвидетельствовали на следствии, что мысль о необходимости войти в контакт с русскими тайными обществами возникла у них в 1820 году {113}. Из показаний М. П. Бестужева-Рюмина перед следственной комиссией видно, что между Директорией южного декабристского общества и обществом польским заключено было в 1824 г. формальное соглашение, по которому, поляки обязывались "восстать в то же самое время, как и мы" и координировать свои действия с русскими повстанцами {114}. Но в этом сказалась только одна из сторон польской заинтересованности в русском бунте. Поляки много работали над разжиганием едва тлевшего под золой уголька казачьей крамолы и над объединением ее с декабристским путчем. Делалась ставка на возвращение Польше, если не всей Малороссии, то, на первый случай, значительной ее части. По договору 1824 г., Южное общество обнадежило их получением Волынской, Минской, Гродненской и части Виленской губерний {115}. Но главные польские чаяния связывались с украинским автономистским движением. По словам С. Г. Волконского, поляки питали "большую надежду на содействие малороссийских дворян, предлагая им отделение "Малороссии от России" {116}. От союза с малороссийским дворянством ожидали большего, чем от офицерского восстания, но в массе своей, южные помещики оказались вполне лояльными по отношению к самодержавию. Только очень небольшая кучка встала на путь декабризма и связанного с ним украинского сепаратизма.

Здесь не приходится придавать значения наличию среди главарей "Союза Благоденствия" Муравьевых-Апостолов, потомков гетмана Данилы, но пройти мимо Общества Соединенных Славян вряд ли возможно. И это не потому, что в числе его членов был большой процент малороссийской шляхты. Ни М. В. Нечкина, ни новейший исследователь Соединенных Славян Жорж Луциани не находят у них ни малейшего намека на "украинофильство" {117}. Но, незаметно для самих себя, они вовлечены были в русло националистической идеологии желательной полякам. Своим, если не возникновением, то направлением, обязаны они поляку Ю. К. Люблинскому, связанному с патриотическими польскими организациями. Это он подсказал им название и идею "Соединенных Славян".

Идея, хоть и старинная, мало общего имела с балканским панславизмом XVII века, представленным Гундуличем, Крижаничем. Не было у поляков сколько-нибудь крепких связей и с чехами, за исключением разве литературных. Практически, ни Сербия, ни Далмация, ни Чехия их не интересовали. Зато Малая Русь, входившая некогда в состав Речи Посполитой, была предметом страстных вожделений. Нигде пропаганда общности славян и федеративного всеславянского государства не велась так настойчиво, как здесь. Можно думать, что лозунг "соединенных славян", провозглашавший независимость каждой страны, сочинен был специально для пробуждения казачьего автономизма. Нигде в других краях он не насаждается с таким старанием.

В 1818 г. основывается в Киеве масонская ложа "Соединенных Славян", а через четверть века, в Киеве же - "Кирилло-Мефодиевское Братство", поставившее во главу угла своей программы, все то же общеславянское федеративное государство. Даже во второй половине XIX века, идеей всеславянской федерации увлекался Драгоманов. И нигде, кроме Малороссии, не видим столь ясно выраженного польского влияния и польской опеки в отношении подобных организаций. Так, надпись "Jednoee Slowianska", украшавшая знак ложи "Соединенных Славян", не оставляет сомнений в польском ее происхождении. Основателем и первым ее правителем был поляк Валентин Росцишевский, управляющим мастером другой поляк Франц Харлинский, а в числе членов - Иосиф Проскура, Шимановский, Феликс Росцишевский и многие другие местные помещики-поляки {118}. А. Н. Пыпин и последующие историки считают эту ложу идейной матерью одноименного декабристского общества, хотя прямой связи между ними не установлено.

Существовали в Малороссии другие масонские организации инспирированные или прямо созданные поляками. Была в Житомире ложа "Рассеянного мрака" и ложа "Тамплиеров"; в Полтаве - ложа "Любовь к истине", в Киеве "Польское патриотическое общество", возникшее в 1822 г. и, тотчас же, как эхо, появившееся вслед за ним "Общество малороссов", состоявшее из поборников автономизма. "Где восходит солнце?" - гласил его пароль, и ответ: "В Чигирине".

Из дел следственной комиссии о декабристах видно, что резиденцией

"Общества Малороссов" был Борисполь, а "большая часть членов оного находятся в Черниговской губернии, а некоторые в самом Чернигове {119}. М. П. Бестужев-Рюмин не очень выгодно о них отзываясь: руководитель общества В. Л. Лукашевич "нравственности весьма дурной, в губернии презираем, и я слышал, что общество его составлено из людей его свойства" {120}. Это тот самый Лукашевич, что поднимал когда-то бокал за победу Наполеона над Россией {121}. Он был одной из самых деятельных фигур в декабристско-малороссийско-польских взаимоотношениях. Кроме "Союза Благоденствия" и "Малороссийского общества", мы его видим в ложе "Соединенных Славян", в полтавской ложе "Любовь к истине" и говорили, также о его членстве в польских ложах.

Масонские ложи признаны были, по-видимому, наиболее удобной формой встреч и единения двух российских фронд – декабристской и украинствующей.

Особенный интерес, в этом смысле, представляет полтавская ложа, где наряду с членами Союза Благоденствия М. Н. Новиковым, Владимиром Глинкой и М. Муравьевым-Апостолом, представлены были малороссы, вроде губернского судьи, Тарновского, екатеринославского дворянского предводителя Алексева, С. М. Кочубея, И. Котляревского и многих других. Был там, конечно и Лукашевич. Первым ее руководителем значился Новиков, начальник канцелярии кн. Репнина. По словам Муравьева-Апостола, "он в оную принимал дворянство малороссийское, из числа коих способнейших помещал в общество называемое Союз Благоденствия. Полтавскую ложу Муравьев прямо именует "рассадником тайного общества" {122}. После Новикова, руководство перешло к Лукашевичу, про которого Бестужев-Рюмин сказал, что "цель онога (сколь она мне известна), присоединение Малороссии к Польше". На одном из допросов, Бестужев показал, будто Лукашевич "адресовался к Ходкевичу, полагая его значущим членом польского общества, предлагая присоединиться к оному и соединить Малороссию с Польшею" {123}.

Основой и направляющей силой южного масонства являлись поляки, которым принадлежала в те дни культурная гегемония во всем малороссийском крае, а в некоторых губерниях (Киевской, например) – большая часть земельных владений.

На следствии, Рылееву был задан вопрос о связях декабристов с польскими тайными обществами. Он отговорился своей слабой осведомленностью на этот счет, но признался, что слышал о них от Трубецкого и от Корниловича, который дня за два до 14 декабря, приносил Трубецкому копию какого-то договора между поляками и южным обществом декабристов, касательно будущих русскопольских границ. От Трубецкого он слышал, будто "Южное общество через одного из своих членов имеет с оными (поляками) постоянные сношения, что южными директорами положено признать независимость Польши и возвратить ей от России завоеванные провинции Литву, Подолию и Волынь" {124}.

Согласно С. Н. Щеголеву, в 1824 г. кн. Яблоновский представитель "Польского патриотического общества", начал особенно энергичные переговоры с декабристами. Результатом его усилий явился съезд польских и русских заговорщиков в Житомире в начале 1825 года. На этом "славянском собрании" присутствовал, будто бы, и К. Ф. Рылеев. На съезде поставлен был и одобрен вопрос о независимости Малороссии, каковую поляки считали необходимой "для дела общей свободы".

Фома Падурра, главный оратор на эту тему, не придумал для украинского национализма никакого другого обличья, кроме старого казачьего. По его мнению, верным средством поднять народ было – напомнить ему "казацкую славу". В этом плане он и начал потом, вкупе с другим помещиком Ржевусским ("атаман Ревуха"), пропаганду среди украинского населения. В Саврани они основали "школу лирников", обучая собранных "народных" певцов игре на инструменте и текстам патриотических казачьих песен, сочиненных Падуррой и положенных на музыку Ржевусским. Подготовив целую партию таких певцов, они пустили их по кабакам, вечерницам и прочим сборищам простого люда {125}.

К сожалению, Щеголев, описавший этот эпизод, пользовался источниками недоступными нам здесь, за границей, в силу чего, мы лишены возможности проверить степень основательности всего им рассказанного.

Как бы то ни было, можем не сомневаться в одном: Рылеев был давнишним полонофилом, состоявшим в литературных и идейных связях с польскими националистами и вряд ли будет ошибкой сказать, что своими казачьими сюжетами он обязан больше полякам чем украинцам. Несомненно также, что в декабристской среде был усвоен взгляд на Малороссию как на жертву царской

тирании, а на казачьих главарей как на борцов и мучеников за свободу. Имена Дорошенко, Мазеп, Полуботков ассоциировались с делом народного освобождения. Фигуры их окутывались флером романтики и в таком виде подносились интеллигентной публике и позднейшим поколениям. "Я не знаю, как в моих руках очутилась "Исповедь Наливайки" Рылеева, - пишет в своих воспоминаниях Вера Засулич, она стала для меня самой священной вещью" {126}. Мог ли в представлении этой женщины, ничего кроме социалистической литературы не читавшей, выдержать соперничество с романтическим героем исторический Наливайко - грубый разбойник и кондотьер, бунтовавший во имя расширения привилегий реестровых казаков, требовавший земель под Брацлавом и готовый резать носы и уши хлопам, которые захотели бы втереться в казачье сословие и уйти от своих панов?

Казакомания декабристов была не простым литературным явлением и ею отличался не один Рылеев. Декабристы, можно сказать, стояли у власти на Украине. Генерал-губернатором малороссийским был в то время кн. Н. Г. Репнин - брат видного декабриста С. Г. Волконского и сам большой либерал. Его дед, фельдмаршал Репнин, подозревал его в причастности к убийству Павла И. Стремясь быть "отцом" вверенного ему края и, в то же время, человеком "новых веяний", он собирал вокруг себя все выдающееся, что было на Украине, - привлек И. П. Котляревского, первого поэта, начавшего писать по-украински, учредил малороссийский театр в Полтаве, приглашал к себе в дом людей свободомыслящих, среди которых первое место занимали члены декабристских южных обществ. У него можно было встретить и Пестеля, и Орлова, и Бестужева-Рюмина. Но к числу свободомыслящих он относил, также, людей типа Василия Полетики, "свободомыслие" которых вызывалось не закончившейся к тому времени проверкой дворянских прав. Эти стародубские и лубенские маркизы Позы постоянно вертелись при генерал-губернаторском дворе, который до известной степени может рассматриваться как один из центров "возрождения" украинского сепаратизма.

Дочь кн. Репнина, Варвара Николаевна, благоговевшая перед подвигом своего дяди С. Г. Волконского и насквозь проникнутая духом декабризма, была в то же время почитательницей и покровительницей Тараса Шевченко. Тот и другой были для нее явлениями одного порядка. Существует предположение, что Репнин был одним из вдохновителей "Истории Русов". Такое подозрение высказал М. А. Максимович, человек очень осведомленный.

На этом примере видно, как российский космополитический либерализм преобразался на украинской почве в местный автономизм. Декабристы первые отождествили свое дело с украинизмом и создали традицию для всего последующего русского революционного движения. Герцен и Огарев подражали им, Бакунин на весь мир провозгласил требование независимой Польши, Финляндии и Малороссии, а петрашевцы, при всей неясности и неопределенности их плана преобразования России, тоже успели подчеркнуть свой союз с сепаратизмами, в том числе с малороссийским. Это одна из закономерностей всякого революционного движения. В. А. Маклаков, один из лидеров демократического лагеря, находясь уже в эмиграции, выразил это так: "Если освободительное движение в войне против самодержавия искало всюду союзников, если его тактикой было раздувать всякое недовольство, как бы оно ни могло стать опасным для государства, то можем ли мы удивляться, что для этой цели и по этим мотивам оно привлекло к общему делу и недовольство "национальных меньшинств"?" {127}.

Только немногим удалось устоять против этой логики, и первым среди них надо назвать Пушкина. Он тоже был "декабристом" и лишь случайно не попал на Сенатскую площадь. "История Русов" была ему отлично знакома. Он напечатал отрывок из нее в своем "Современнике" но он не поставил дела Мазепы выше дела Петра и не воспел ни одного запорожца, как борца за свободу. Произошло это не в силу отступничества от увлечений своей молодости и от перемены взглядов, а оттого, что Пушкин с самого начала оказался пронизательнее Рылеева и всего своего поколения. Он почувствовал истинный дух "Истории Русов", ее не национальную украинскую, а сословно-помещичью сущность. Думая, что автором ее, действительно, был архиепископ Г. Конисский, Пушкин заметил: "Видно, что сердце дворянина еще бьется под иноческой рясою".

На языке либерализма "сердце дворянина" звучало как "сердце крепостника". Теперь, когда нам известны вполне корыстные интересы, вызвавшие рецидив казачьих страстей породивших "Историю Русов", можно только

удивляться прозорливости Пушкина.

Революционная русская интеллигенция, в своем отношении к сепаратизму, пошла путем не Пушкина, а Рылеева. "Украинофильство", под которым разумелась любовь не к народу малороссийскому, а к казацкой фронде, сделалось обязательным признаком русского освободительного движения. В развитии украинского сепаратизма оно было заинтересовано больше самих сепаратистов. Шевченко у великорусских революционеров почитался больше, чем на Украине. Его озлобленная казакomanия прихотилась русскому "подполью" больше по сердцу, чем европейский социализм Драгоманова.

При всем обилии легенд облепивших имя и искаживших истинный его облик, Шевченко может считаться наиболее ярким воплощением всех характерных черт того явления, которое именуется "украинским национальным возрождением". Два лагеря, внешне враждебные друг другу, до сих пор считают его "своим". Для одних он - "национальный пророк", причисленный чуть не к лику святых; дни его рождения и смерти (25 и 26 февраля) объявлены украинским духовенством церковными праздниками. Даже в эмиграции ему воздвигаются памятники при содействии партий и правительств Канады и США. Для других он предмет такого же идолопоклонства и этот другой лагерь гораздо раньше начал ставить ему памятники. Как только большевики пришли к власти и учредили культ своих предтеч и героев - статуя Шевченко в числе первых появилась в Петербурге. Позднее, в Харькове и над Днепром, возникли гигантские монументы, величиной уступающие, разве только, статуям Сталина. Ни в России, ни за границей, ни один поэт не удостоился такого увековечения памяти. "Великий украинский поэт, революционер и мыслитель, идейный соратник русских революционных демократов, основоположник революционно-демократического направления в истории украинской общественной мысли" - такова его официальная аттестация в советских словарях, справочниках и энциклопедиях. Она унаследована еще от подпольного периода революции, когда у всех интеллигентских партий и направлений он считался певцом "народного гнева".

Даже произведения его толкуются в каждом лагере по-своему. "Заповит", например, расценивался в свое время в русском подполье, как некий революционный гимн. Призыв поэта к потомкам - восстать, порвать цепи и "вражю злою кровью вольность окропити" понимался там, как социальная революция, а под злой кровью - кровь помещиков и классовых угнетателей.

Совсем иную трактовку дает самостийнический лагерь. В 1945 г., в столетнюю годовщину со дня написания "Заповита", он отметил его появление, как величайшую вежу в развитии национальной идеи, как призыв к национальной резне, ибо "кровь ворожа", которую Днепр "понесе з Украины у синее море", ничьей как москальской, великорусской, быть не может.

Приводим этот пример не для оценки правильности или неправильности обоих толкований, а как характерный случай переплетения у "великого кобзаря" черт русской революционности с украинским национализмом.

Правда, и та, и другой были поставлены лет 80 тому назад под большое сомнение таким видным социалистом и украинофильским деятелем, как М. П. Драгоманов. Шевченко ему казался величиной дутой в литературном и в политическом смысле. Революционность его он не высоко ставил и никогда бы не подписался под сочетанием слов "революционер и мыслитель". Он полагал, что с мыслью-то как раз и обстояло хуже всего у Тараса Григорьевича.

Из Академии Художеств Шевченко вынес только поверхностное знакомство с античной мифологией, необходимой для живописца, да с некоторыми знаменитыми эпизодами из римской истории. Никакими систематическими знаниями не обладал, никакого цельного взгляда на жизнь не выработал. Он не стремился, даже, в противоположность многим выходцам из простого народа, восполнять отсутствие школы самообразованием. По словам близко знавшего его скульптора Микешина, Тарас Григорьевич не шибко жаловал книгу. "Читать он, кажется, никогда не читал при мне; книг, как и вообще ничего не собирал. Валялись у него на полу и по столу растерзанные книжки "Современника", да Мицкевича на польском языке". Такая отрасль знания, как история, к которой ему часто приходилось обращаться в выборе сюжетов - что дало основание Кулишу в 50-х годах объявить его "первым историком" Украины - оставляла желать много лучшего в смысле усвоения. "Российскую общую историю, - пишет тот же Микешин, - Тарас Григорьевич знал очень поверхностно, общих выводов из нее делать не мог; многие ясные и общеизвестные факты или отрицал или не желал принимать во внимание; этим оберегалась его исключительность и непосредственность

отношений ко всему малорусскому". Некоторых авторов, о которых писал, он и в руки не брал, как например, Шафарика и Ганку. Главный способ приобретения знаний заключался, очень часто, в прислушивании к тому, о чем говорили в гостиных более сведущие люди. Подхватывая на лету обрывки сведений, поэт "мотав соби на уса, та перероблював соби своим умом" {128}.

Не верил Драгоманов и в его хождение в народ, в пропаганду на Подоле, в Кирилловке и под Каневом, о которой сейчас пишут в каждой биографии поэта советские историки литературы, но которая сплошь основана на домыслах. Кроме кабацких речей о Божией Матери, никаких образцов его пропаганды не знаем. Достояна развенчания и легенда о его антикрепостничестве. Дворовый человек, чье детство и молодость прошли в унижительной роли казачка в барском доме, не мог, конечно, питать теплых чувств к крепостному строю. Страдал и за родных, которых смог выкупить из неволи лишь незадолго до смерти. Но совершенно ошибочно делать из него, на основании этих биографических фактов, певца горя народного, сознательного борца против крепостного права. Крепостной крестьянин никогда не был ни героем его произведений, ни главным предметом помыслов. Ничего похожего на некрасовскую "Забытую деревню" или на "Размышления у парадного подъезда" невозможно у него найти. Слово "панщина" встречается чрезвычайно редко, фигуры барина-угнетателя совсем не видно и вся его деревня выглядит не крепостной. Люди там страдают не от рабства, а от несчастной любви, злобы, зависти, от общечеловеческих пороков и бедствий. Тарасу Григорьевичу суждено было дожить до освобождения крестьян. Начиная с 1856 года, вся Россия только и говорила, что об этом освобождении, друзья Шевченко, кирилло-мефодиевцы, ликовали; один он, бывший "крипак", не оставил нам ни в стихах, ни в прозе выражения своей радости.

Не было у него и связей с русскими революционными демократами; он, попросту, ни с кем из них не был знаком, если не считать петрашевца Момбелли, виденного им, как-то раз, на квартире у Гребенки. Да и что представляли собой революционные демократы того времени? Мечтатели, утописты, последователи Фурье и Сэн-Симона, либо только что нарождавшиеся поборники общинного социализма. Найдите в литературном наследии Шевченко хоть какой-нибудь след этих идей. Даже причастность его к Кирилло-Мефодиевскому Братству, послужившая причиной ареста и ссылки, была более случайной, чем причастность Достоевского к кружку Петрашевцев.

Но если не социалист и не "революционный демократ", то гайдамак и пугачевец глубоко сидели в Шевченко. В нем было много злобы, которую поэт, казалось, не знал на кого и на что излить. Он воспитался на декабристской традиции, называл декабристов не иначе, как "святыми мучениками", но воспринял их якобинизм не в идейном, а в эмоциональном плане. Ни об их конституциях, ни о преобразовательных планах ничего, конечно, не знал; не знал и о вдохновлявшей их западно-европейской идеологии. Знал только, что это были люди, дерзнувшие восстать против власти, и этого было достаточно для его симпатий к ним. Не в трактатах Пестеля и Никиты Муравьева, а в "цареубийственных" стихах Рылеева и Бестужева увидел он свой декабризм.

Уж как первый-то нож
На бояр, на вельмож,
А второй-то нож
На попов, на святош,
И молитву сотворя,
Третий нож на царя!
В этом плане и воздавал он дань своим предшественникам.
... а щоб збудить
Хиренну волю, треба миром
Громадою обух сталить,
Та добро выгострить сокиру
Та й заходитесь вже будить.
Особенно сильно звучит у него нота "на царя!".
Царив, кровавих шинкари
У пута кутии окуй,
В склипу глибоком замуруй!

Здесь мы вряд ли согласимся с оценкой Драгоманова, невысоко ставившего такую продукцию поэта. С литературной точки зрения, она в самом деле не заслуживает внимания, но как документ политического настроения, очень интересна.

Драгоманов судил о Шевченко с теоретических высот европейского социализма, ему нужны были не обличения "неправд" царей на манер библейских пророков, а протест против политической системы самодержавия. Шевченко не мог, конечно, подняться до этого, но духовный его "якобинизм" от этого не умаляется.

На русскую шестидесятническую интеллигенцию стихи его действовали гораздо сильнее, чем методические поучения Драгоманова. Он – образец революционера не по разуму, а по темпераменту.

Кроме "царей", однако, никаких других предметов его бунтарских устремлений не находим. Есть один-два выпада против своих украинских помещиков, но это не бунт, а что-то вроде общественно-политической элегии.

И доси нудно, як згадаю
Готический с часами дом;
Село обидране кругом,
И шапочку мужик знимае,
Як флаг побачить. Значит пан
У себе з причетом гуляе.
Оцей годованый кабан,
Оце лядащо-щирый пан
Потомок гетмана дурного.

При всей нелюбви, Тарас Григорьевич не призывает ни резать, ни "у пута кутии" ковать этих панов, ни жечь их усадьбы, как это делали великорусские его учителя "революционные демократы". На кого же, кроме царей, направлялась его ненависть?

Для всякого, кто дал себе труд прочесть "Кобзарь", всякие сомнения отпадают: – на москалей.

Напрасно Кулиш и Костомаров силились внушить русской публике, будто шевченковские "понятия и чувства не были никогда, даже в самые тяжелые минуты жизни, осквернены ни узкою грубою неприязнью к великоросской народности, ни донкихотскими мечтаниями о местной политической независимости, ни малейшей тени чего-нибудь подобного не проявилось в его поэтических произведениях" {129}. Они оспаривали совершенно очевидный факт. Нет числа неприязненным и злобным выпадам в его стихах против москалей. И невозможно истолковать это, как ненависть к одной только правящей царской России. Все москали, весь русский народ ему ненавистны. Даже в чисто любовных сюжетах, где украинская девушка страдает, будучи обманута, обманщиком всегда выступает москаль.

Кохайтеса чернобривы,
Та не з москалями,
Бо москали чужи люди
Роблять лихо з вами.

Жалуясь Основьяненку на свое петербургское житье ("кругом чужи люди"), он вздыхает: "тяжко, батько, жити з ворогами". Это про Петербург, выкупивший его из неволи, давший образование, приобщивший к культурной среде и вызволивший его впоследствии из ссылки.

Друзья давно пытались смягчить эту его черту в глазах русского общества. Первый его биограф М. Чалый объяснял все влиянием польской швей – юношеской любви Шевченко, но вряд ли такое объяснение можно принять. Антирусизм автора "Заповита" не от жизни и личных переживаний, а от книги, от национально-политической проповеди. Образ москаля, лихого человека, взят целиком со страниц старой казацкой письменности.

В 1858 г., возмущаясь Иваном Аксаковым, забывшим упомянуть в числе славянских народов – украинцев, он не находит других выражений, кроме как: "Мы же им такие близкие родичи: как наш батько горел, то их батько руки грел"! Даже археологические раскопки на юге России представлялись ему грабежом Украины – поисками казацких кладов.

Могили вже розривають,
Та грошей шукають!

Сданный в солдаты и отправленный за Урал, Тарас Григорьевич, по словам Драгоманова, "живучи среди москалей солдатиков, таких же мужиков, таких же невольников, как сам он, – не дал нам ни одной картины доброго сердца этого "москаля", какие мы видим у других ссыльных... Москаль для него и в 1860 г. – только "пройдисвит", как в 1840 г. был только "чужой чоловик" {130}.

Откуда такая русофобия? Личной судьбой Шевченко она, во всяком случае,

не объяснима. Объяснение в его поэзии.

Поэтом он был не "гениальным" и не крупным; три четверти стихов и поэм подражательны, безвкусны, провинциальны; все их значение в том, что это дань малороссийскому языку. Но и в оставшейся четверти значительная доля ценилась не любителями поэзии, а революционной интеллигенцией. П. Кулиш когда-то писал: если "само общество явилось бы на току критики с лопатой в руках, оно собрало бы небольшое, весьма небольшое количество стихов Шевченко в житницу свою; остальное бы было в его глазах не лучше сору, его же возмечает ветер от лица земли". Ни одна из его поэм не может быть взята целиком в "житницу", лишь из отдельных кусков и отрывков можно набрать скромный, но душистый букет, который имеет шансы не увянуть.

Что бы ни говорили советские литературоведы, лира Шевченко не "гражданская" в том смысле, в каком это принято у нас. Она глубоко ностальгична и безутешна в своей скорби.

Украино, Украино!

Сирце мое, ненько!

Як згадаю твою долю

Заплаче серденько!

Называя ее "сиромасой", "сиротиной", вопрошая "защо тебе сплюндровано, защо, мамо, гинешь?" - поэт имеет в виду не современную ему живую Украину, которая "сплюндрована" ничуть не больше всей остальной России. Это не оплакивание страданий закрепощенного люда, это скорбь о ее невозвратном прошлом.

Де подилось казачество,

Червоны жупаны,

Де подилась доля-воля,

Бунчуки, гетманы?

Вот истинная причина "недоли". Исчез золотой век Украины, ее идеальный государственный строй, уничтожена казачья сила. "А що то за люди були тии запорожци! Не було й не буде таких людей!". Полжизни готов он отдать, лишь бы забыть их "незабутни" дела. Волшебные времена Палиев, Гамалиев, Сагайдачных владеют его душой и воображением. Истинная поэзия Шевченко - в этом фантастическом никогда не бывшем мире, в котором нет исторической правды, но создана правда художественная. Все его остальные стихи и поэмы, вместе взятые, не стоят тех строк, где он бредит старинными степями, Днепром, морем, бесчисленным запорожским войском, проходящим, как видение.

О будущем своего края Тарас Григорьевич почти не думал. Раз, как-то, следуя шестидесятнической моде, упомянул о Вашингтоне, которого "ждемся таки колись", но втайне никакого устройства, кроме прежнего казачьего, не хотел.

Оживут гетманы в золотом жупани,

Прокинетсья воля, казак заспива

Ни жида, ни ляха, а в степях Украины

Дай то Боже милый, блисне булава.

Перед нами певец отошедшей казачьей эпохи, влюбленный в нее, как Дон Кихот в рыцарския времена. До самой смерти, героем и предметом поклонения его был казак.

Верзетсья гришному усатый

З своєю волею мени

На черном вороном кони.

Надо ли после этого искать причин русофобии? Всякое пролитие слез над руинами Чигирина, Батурина и прочих гетманских резиденций неотделимо от ненависти к тем, кто обратил их в развалины. Любовь к казачеству оборотная сторона вражды к Москве.

Но и любовь и ненависть эти - не от жизни, не от современности. Еще Кулишем и Драгомановым установлено, что поэт очень рано, в самом начале своего творчества попал в плен к старой казачьей идеологии. По словам Кулиша, он пострадал от той первоначальной школы, "в которой получил то, что в нем можно было назвать *faute de mieux* образованием", он долго сидел "на седалище губителей и злоязычников" {131}.

По-видимому, уже в Петербурге, в конце 30-х годов нашлись люди просветившие его по части Мазеп, Полуботков и подсунувшие ему "Историю Русов". Без влияния этого произведения трудно вообразить то прихотливое сплетение революционных и космополитических настроений с местным

национализмом, которое наблюдаем в творчестве Шевченко. По словам Драгоманова, ни одна книга, кроме Библии, не производила на Тараса Григорьевича такого впечатления, как "История Русов". Он брал из нее целые картины и сюжеты. Такие произведения, как "Подкова", "Гамалия", "Тарасова Нич", "Выбир Наливайка", "Невольник", "Великий Льох", "Чернец" – целиком навеяны ею.

Прошлое Малороссии открылось ему под углом зрения "Летописи Конисского"; он воспитался на ней, воспринял ее, как откровение, объяснявшее причины невзгод и бедствий родного народа. Даже на самый чувствительный для него вопрос о крепостном праве на Украине, "летопись" давала свой ответ – она приписывала введение его москалям. Не один Шевченко, а все кирилло-мефодиевцы вынесли из нее твердое убеждение в москальском происхождении крепостничества. В "Книгах Бытия Украинского Народу" Костомаров писал: "А нимка царица Катерина, курва всесвітняя, безбожниця, убийниця мужа своего, востанне доканала казачтво и волю, бо одибравши тих, котри були в Украини старшими, надиллила их панством и землями, понадавала им вильну братию в ярмо и поробила одних панами, а других невольниками" {132}. Если будущий ученый историк позволял себя такие речи, то что можно требовать от необразованного Шевченко? Москали для него стали источником всех бедствий.

Ляхи були – усе взяли,
Кровь повыпивали,
А москали и свит Божий
В путо закували.

По канве "Истории Русов" он рассыпается удивительными узорами, особенно на тему о Екатерине II.

Есть у Шевченко повесть "Близнецы", написанная по-русски. Она может служить автобиографическим документом, объясняющим степень воздействия на него "Истории Русов". Там рассказывается о некоем Никифоре Федоровиче Сокире – мелком украинском помещике, большом почитателе этого произведения.

"Я сам, будучи его хорошим приятелем, часто гостил у него по несколько дней и кроме летописи Конисского, не видал даже бердичевского календаря в доме. Видел только дубовый шкаф в комнате и больше ничего. Летопись же Конисского, в роскошном переплете, постоянно лежала на столе и всегда заставлял я ее раскрытою. Никифор Федорович несколько раз прочитывал ее, но до самого конца ни разу. Все, все мерзости, все бесчеловечья польские, шведскую войну, Биронова брата, который у стародубских матерей отнимал детей грудных и давал им щенят кормить грудью для свой псарни – и это прочитывал, но как дойдет до голштинского полковника Крыжановского, плюнет, закроет книгу и еще раз плюнет".

Переживания героя этого отрывка были, несомненно, переживаниями самого Шевченко. "История Русов" с ее собранием "мерзостей" трансформировала его мужицкую ненависть в ненависть национальную или, по крайней мере, тесно их переплела между собой. Кроме "Истории Русов", сделавшейся его настольной книгой, поэт познакомился и со средой, из которой вышло это евангелие национализма. Приехав, в середине 40-х годов, в Киев, он не столько вращался там в университетских кругах среди будущих членов Кирилло-Мефодиевского Братства, сколько гостил у хлебосольных помещиков Черниговщины и Полтавщины, где его имя было известно и пользовалось популярностью, особенно среди дам. Некоторые из них сами пописывали в "Отечественных Записках".

Мужское общество чаще всего собиралось на почве "мочемордия", как именовалось пьянство. А. Афанасьев-Чужбинский, сам происходивший из лубенских помещиков, красочно описывает тамошние празднества в честь Бахуса. По его словам, пьянство процветало, главным образом, на почве скуки и безделья, сами же по себе помещики представляли "тесный кружок умных и благородных людей, преимущественно гуманных и пользовавшихся всеобщим расположением". В этом обществе можно было встретить и тех оставшихся в живых сподвижников и друзей В. Г. Полетики, из чьей среды вышла "История Русов". Встречи с ними происходили также при дворе генерал-губернатора кн. Репнина, с которым Шевченко познакомился через А. В. Капниста, сына поэта. О Мазепе, о Полуботке, о Петре и Екатерине, а также о присоединении Малороссии, как печальной дате в истории края, он мог послушаться здесь вдоволь. Недаром именно на эти годы близости с черниговскими и полтавскими помещиками падают самые неприязненные его высказывания о Богдане

Хмельницком.

Во всей эпопее Хмельничины он видел только печальный, по его мнению, факт присоединения к Москве, но ни страданий крестьянского люда под "лядским игом", ни ожесточенной борьбы его с Польшей, ни всенародного требования воссоединения с Россией знать не хотел. Величайшая освободительная война украинского крестьянства осталась вовсе незамеченной вчерашним крепостным.

В московском периоде истории, его опять печалит судьба не крестьянства, а казачества. Он плачет о разгоне Сечи, а не о введении нового крепостного права. Возмущаясь тем, что "над дитями казацкими поганци пануют", он ни разу не возмутился пануваньем детей казацких над его мужицкими отцами и дедами, да и над ним самим. Период после присоединения к России представляется ему сплошным обдиранием Украины. "Москалики що заздрили то все очухрали".

Драгоманов не без основания полагал, что черниговские и полтавские знакомства оказали на Шевченко гораздо более сильное влияние, чем разговоры с Гулаком, Костомаровым и Кулишем. Патриотизм его сложился, главным образом, в левобережных усадьбах "потомков гетмана дурного", где его носили на руках, где он был объявлен надеждой Украины, национальным поэтом, где нашлась, даже, почитательница, готовая на собственный счет отправить его на три года в Италию.

"Национальным поэтом" объявлен он не потому, что писал по-малороссийски и не потому, что выражал глубины народного духа. Этого, как раз, и не видим. Многие до и после Шевченко писали по-украински, часто, лучше его, но только он признан "пророком". Причина: - он первый воскресил казачью ненависть к Москве и первый воспел казачьи времена, как национальные. Костомарову не удается убедить нас, будто "Шевченко сказал то, что каждый народный человек сказал бы, если б его народное чувство могло возвыситься до способности выразить то, что хранилось на дне его души" {133}. Поэзия его интеллигентская, городская и направленческая. Белинский, сразу же по выходе в свет "Кобзаря", отметил фальш его народности:

"Если господа Кобзари думают своими поэмами принести пользу низшему классу своих соотчичей, то в этом они очень ошибаются; их поэмы, несмотря на обилие самых вульгарных и площадных слов и выражений, лишены простоты вымысла и рассказа, наполнены вычурами и замашками, свойственными всем плохим пиитам, часто нисколько не народны, хотя и подкрепляются ссылками на историю, песни и предания, следовательно, по всем этим признакам - они непонятны простому народу и не имеют в себе ничего с ним симпатизирующего".

Лет через сорок то же самое повторил Драгоманов, полагавший, что "Кобзарь" "не может стать книгою ни вполне народною, ни такой, которая бы вполне служила проповеди "новой правды" среди народа".

Тот же Драгоманов свидетельствует о полном провале попыток довести Шевченко до народных низов. Все опыты чтения его стихов мужикам кончались неудачей. Мужики оставались холодны {134}.

Подобно тому, как казачество, захватившее Украину, не было народным явлением, так и всякая попытка его воскрешения, будь то политика или поэзия, - не народна в такой же степени.

Несмотря на все пропагандные усилия самостийнической клики, вкуче с советской властью, Шевченко был и останется не национальным украинским поэтом, а поэтом националистического движения.

Первые организации

Слово "организация" плохо вяжется с маленьким кружком, известным под именем "Кирилло-Мефодиевского Братства", возникшим в Киеве при университете Св. Владимира, в 1846-1847 г. Он не успел ни организовать, ни начать действовать, как был ликвидирован полицией, усмотревшей в нем революционное общество, вроде декабристского. Идеи насильственного ниспровержения государственного строя у его членов не было, но успели выработаться кое какие взгляды на будущее устройство России и всех славянских стран. Это устройство представлялось на манер древних вечевых княжеств - Новгорода и Пскова. В бумагах Н. И. Костомарова, самого восторженного из членов братства, сохранилась запись: "Славянские народы воспрянут от дремоты своей,

соединятся, соберутся со всех концов земель своих в Киев, столицу славянского племени, и представители всех племен, воскресших из настоящего унижения, освободятся от чужих цепей, воссядут на горах (киевских) и загремит вечевой колокол у Св. Софии, суд, правда и равенство воцарятся. Вот судьба нашего племени, его будущая история, связанная тесно с Киевом" {135}.

"Матери городов русских" предстояла роль матери всех славянских городов.

Нетрудно в этом отрывке уловить все тот же мотив "Соединенных славян", звучащий в названиях одного из декабристских обществ и киевской масонской ложи. При этом не обязательно предполагать, как это часто делают, идейную преемственность между декабристами и кирилло-мефодиевцами. Гораздо вернее допустить, что те и другие имели общего учителя панславизма в лице поляков. Недаром "Книги бытия украинского народа", написанные Костомаровым, как некое подобие "платформы" братства, хранят на себе ясный след влияния "Книг польского народа и польского пилигримства" Мицкевича. Кроме того, во время их написания, в 1846 г., Костомаров часто встречался с поляком Зеновичем – бывшим профессором Кременецкого лицея, расадника польского национализма. Зенович был ревностным поборником идеи всеславянского государства.

Главные принципы Кирилло-Мефодиевского кружка давно выяснены и сформулированы. А. Н. Пыпин дает краткую их сводку в таком виде: освобождение славянских народностей из под власти иноплеменников, организация их в самобытные политические общества федеративно связанные между собою, уничтожение всех видов рабства, упразднение сословных привилегий и преимуществ, религиозная свобода мысли, печати, слова и научных изысканий, преподавание всех славянских наречий и литератур в учебных заведениях {136}. К этому надо прибавить, что такая всеславянская федерация мыслилась не монархической, а республиканской, демократической. Про царя говорили, что он "хочь який буде розумний, а як стане самодержавно панувати, то одуриэ". Всеми общими делами должен заведовать "общий славянский собор из представителей всех славянских племен".

Малороссия мыслилась в числе независимых славянских стран, "как равная с равными" и даже чем то вроде лидера федерации.

Независимая украинская государственность основывалась, таким образом, на европейском демократическом мировоззрении. На этом же строилась "внутренняя" политика, в частности, преподавание в школах на простонародном разговорном языке. Оправдывалась эта мера соображениями культурного прогресса. Главной целью был не язык сам по себе, а мужицкая грамотность. Поднять образовательный уровень простого народа считали возможным только путем преподавания на том наречии, на котором народ говорит.

Идея эта – западного происхождения; там она горячо обсуждалась и породила обширную литературу. Отголоском ее в России были учебники на тульском наречии, которые писал впоследствии Л. Н. Толстой, для своей яснополянской школы. То же собиралось делать вятское земство. Члены братства не связывали с этим намерения отделиться от общерусского литературного языка; напротив, преподавание на своем наречии способствовало бы, по их мнению, скорейшему приобщению малорусса к литературному языку и к сокровищам общерусской культуры.

В 1847 г., по доносу одного студента, подслушавшего разговоры братчиков, они были арестованы и разосланы по более или менее отдаленным местам. Только к концу 50-х годов выходят из ссылки и съезжаются в Петербург. Общества своего не возобновляют, но образ их мыслей, по-прежнему, – "прогрессивный". Это и дало основание Каткову не делать различия между украинофильством и всеми другими "бродячими" элементами русского общества.

Если не считать довольно бледных Гулака и Белозерского, то самыми видными фигурами Кирилло-Мефодиевского Братства были Шевченко, Кулиш и Костомаров. Шевченко "видным" был, больше, как поэт, чем как член братства, с которым был очень слабо связан. Вдохновителем, "теоретиком" и душой всей группы был Н. И. Костомаров – молодой в то время профессор истории киевского университета.

Из "Автобиографии" его можно заключить, что любовь к малороссийскому народу явилась у него, в значительной степени, случайно и объяснялась тем, что никакого другого поблизости не было. До 18 лет будущий украинский патриот не знал даже малороссийского языка. По крови он был полувеликорусс-полумалорусс. Отец его, воронежский помещик, был русским, но

мать - украинка и происходила из крепостных. Костомаров сам рассказывает, как отец его, будучи уже пожилым человеком, облюбовал себе из числа своей дворни жену, бывшую в то время маленькой девочкой, отправил ее в Петербург учиться, поместил в институт для благородных девиц и когда она по окончании его вернулась образованной, воспитанной барышней - женился на ней. Будущий историк, таким образом, родился и вырос в семье совершенно русской по духу и по культуре. Малороссийские симпатии появились у него в Харькове, по окончании университета, в 1836-1837 г. и внушены были, главным образом, И. И. Срезневским тоже великоруссом, увлекшимся собиранием украинской народной поэзии и выпустившим в 30-х годах свои знаменитые "Запорожские Древности". "Мною овладела какая-то страсть ко всему малороссийскому, - признавался Костомаров. - Я вздумал писать по-малорусски, но как писать? Нужно учиться у народа, сблизиться с ним. И вот я стал заговаривать с хохлами, ходил на вечерницы и стал собирать песни". Однажды на такой вечернице хлопцы чуть не пбили молодого народолюбца, приревновав его к девицам.

Ко времени своего хождения в народ, Костомаров был уже демократом и поборником прав крестьянства. Демократические страсти наложили печать и на его занятия историей, которую он полюбил больше всех других наук. Он рано задался вопросом: "отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик земледелец, труженик, как будто не существует для истории".

"Скоро я пришел к убеждению, что историю нужно изучать не только по мертвым летописям и запискам, а и в живом народе. Не может быть, чтобы века прошедшей жизни не отпечатывались в жизни и воспоминаниях потомков; нужно только приняться, поискать и верно найдется многое, что до сих пор упущено наукой. Но с чего начать? Конечно, с изучения своего русского народа, а так как я жил тогда в Малороссии, то и начать с малорусской ветви. Эта мысль обратила меня к чтению народных памятников. Первый раз в жизни добыл я малорусские песни издания Максимовича 1827 г., великорусские песни Сахарова и принялся читать их. Меня поразила и увлекла неподдельная прелесть малорусской народной поэзии, я никак и не подозревал, чтобы такое изящество, такая глубина и свежесть чувства были в произведениях народа столь близкого ко мне и о котором я, как увидел, ничего не знал" {137}. Костомаров признается, что была еще одна причина любви его к малороссийскому народу - старинное его общественное устройство, совпадавшее с демократически-республиканскими идеалами историка. Казачество с его "радами" - общими сходками, на которых решались важнейшие вопросы, с его выборным начальством, со своим судоустройством, с полным отсутствием какой бы то ни было аристократии или автократии, представлялось той республикой, к которой так лежало сердце будущего кирилло-мефодиевца. Мы уже приводили в одной из первых глав цитату из его "Книг бытия украинского народу" восхвалявшую казаков за их порядки и обычаи. Распространение их на всю Украину представлялось ему величайшим прогрессом и благодеянием для народа. "Незабаром були б на Украине уси казаки, уси вильни и ривни, и не мала б Украина над собою ни царя, ни пана, оприч Бога единого, и дивлячись на Украину так бы зробилось и в Польщи, а там и в других словянских краях" {138}. "Республиканское" казачье устройство в большей мере, чем народные песни привязало Костомарова к Украине. Сильного соперника имела она только в лице Господина Великого Новгорода. Перед этой древнерусской республикой Костомаров благоговел настолько, что когда его, после следствия по делу кирилло-мефодиевцев, отправляли из Петербурга в ссылку, он, проезжая мимо Новгорода и завидев издали купола св. Софии, встал в коляске, снял шляпу и разразился такими шумными приветствиями древней колыбели народоправства, что сидевший с ним рядом жандарм пригрозил вернуть его снова в Третье Отделение, если он не сядет и не перестанет витийствовать {139}. Севернорусским народоправствам, во главе которых стоял Новгород, посвящена была впоследствии одна из лучших его монографий.

Костомаров разрывался в своей любви между Новгородом и Украиной, и трудно сказать, кого из них любил больше. В сочинениях его ясно проступает тенденция сблизить между собою обе эти симпатичные ему земли и найти между ними национальное сходство. "В натуре южнорусской - по его словам - не было ничего насилующего, нивелирующего, не было политики, не было холодной рассчитанности, твердости на пути к предназначенной цели. То же самое

является на отдаленном севере в Новгороде". Найдя в словаре Даля несколько слов записанных в Новгородской Губернии и бытовавших также на Украине, он заключил об общей языковой основе у ильменских и днепровских славян. Прибавив к этому несколько других наблюдений, построил теорию, по которой "между древними ильменскими славянами и южноруссами было гораздо большее сходство, чем между южно-руссами и другими славянскими племенами русского материка". По его мнению, "часть южно-русского племени, оторванная силою неизвестных нам теперь обстоятельств, удалилась на север и там водворилась со своим наречием и с зачатками своей общественной жизни, выработанными еще на прежней родине" {140}. Этот опыт удачного присоединения Новгорода к Украине, а вслед за Новгородом – Пскова и Вятки, как филиалов древней республики, лучше всяких рассуждений уясняет нам стимулы политической мысли и деятельности Костомарова.

Причиной, по которой его республиканско-демократические мечтания вылились в украинофильские формы, были все те же легенды и летописи казачества, "открывшие глаза" историку на запорожский республиканизм, на старинную тягу украинцев к свободе и независимости, и на душителя этой свободы – московского царя, того самого, что некогда уничтожил "Ричь Посполиту Новгородску вильну и ривну". "Побачила Украина що попалась у неволю, бо вона по своей простоте не пизнала, що такое було царь московский, а царь московский усе ривно було, що идол и мучитель" {141}.

Еще раз надо вспомнить и юный возраст кирилло-мефодиевцев, и романтизм породивший повальное увлечение этнографией, филологией, историей, – вспомнить полную неизученность украинской истории, чтобы понять почему даже такие люди, как Костомаров, составившие себе впоследствии ученое имя, попали в плен к фальсифицированной истории. Человек пылкий, увлекающийся, он всей душой принялся служить тому евангелию, в которое уверовал. Здесь мы не собираемся давать очерка его трудов, отметим лишь, что в них можно найти все основные положения "Истории Русов", начиная с тезиса об Украине, как издревле обособленной стране. Он пишет статью "О двух русских народностях", усматривая национальную разницу между ними с незапамятных времен. Он считает, что русское имя принадлежало первоначально югу, Киевщине, и только потом перенесено на северо-восточные области, представлявшие собой, как бы, колонии Киева. Украина представляется рассадником "федеративного начала", которое она несомненно распространила бы на всю древнюю Русь, если бы не монгольское нашествие. Национальный дуализм Литовско-Русского государства и последующая инкорпорация его в состав короны польской рассматриваются, как природное влечение украинцев к федеративным формам государственного устройства. Таким же влечением отмечена и политика гетманского периода, "когда казаки, освободившись от господства панов, думали сохранить свою самостоятельность, вступивши в союз с какой-нибудь из соседних стран, то с Польшей с которой так недавно резались, то с Турцией, полагаясь на ее обещание хранить неприкосновенность их веры и народности, несмотря на то, что судьба христианских народов, находившихся уже под турецкой властью, должна была заставлять их ожидать себе иной участи, – то с Московским Государством, с которым сознательно связывались узами единоверия и с которым действительно соединились, только на началах полного подчинения" {142}. Демократические идеи Костомарова-федералиста нашли здесь удачное сочетание с известной нам тезой "Истории Русов" о том, что малороссы никогда никем не завоевывались, но всегда соединялись с другими народами по своей воле, "как равные с равными".

Не менее удачное сочетание наблюдается и в вопросе о народоправстве. По "Истории Русов", на Украине, от самой древности, "князя или верховные начальники избираемы были от народа в одной особе, но на всю династию, и потомство избранного владело по наследию". Костомаров подхватил этот мотив связав его с деятельностью веча, как органа верховной народной власти, и с выборностью должностных лиц у казаков. Казачья рада представилась ему продолжением традиций древнего веча, прообраза исконных демократических порядков.

Все эти ранние статьи Костомарова написаны без достаточного знакомства с предметом и совершенно не аргументированы. Порой кажется, что их писал не историк. Первое глубокое погружение его в исторические источники произошло в 50-х годах, когда он начал работать над историей Богдана Хмельницкого. Знакомство с документальным материалом не могло не обратить его внимания на

легендарный характер соответствующих страниц "Истории Русов", но это еще не послужило стимулом к критике тенденциозного памятника. Во множестве последующих работ он продолжал рассматривать присоединение Малороссии к Москве, как печальный факт, а пятидесятилетний период гетманщины – самым светлым временем. В этом смысле, он долго оставался верен своему кирилло-мефодиевскому манифесту – "Книгам Бытия Украинского Народу". А там, про эту эпоху измен и междоусобий сказано: "и есть то найсвятйша и найславнийша война за свободу". Даже в "Руине", где приводимый им яркий материал говорит сам за себя и рисует гетманский период, как черную страницу в истории края, – Костомаров ретуширует картину в духе "Истории Русов". Он медленно освобождался от духовного плена этого произведения. Окончательно освободился только под конец жизни. Демократом и народолюбцем остался навсегда, но занятия малороссийской историей произвели в его украинско-националистических воззрениях целый переворот. Хищные крепостнические устремления казачества открылись ему в полной мере, и мы уже не слышим под конец жизни историка восторженных гимнов запорожскому лыцарству. Ясна стала несправедливость и нападок на Екатерину II, как главную виновницу закрепощения украинского крестьянства. Под конец Костомаров вынужден был назвать "Историю Русов" "вредным" произведением. Вытаскивая из своего ученого мышления одну за другой занозы вонзившиеся туда в молодости, Костомаров незаметно для себя ощипал все свое национально-украинское оперение. Оставшись украинцем до самой смерти он, тем не менее, подверг очень многое строгой ревизии. Даже царь московский перестает быть "идолом и мучителем". В 1882 г., в статье "Задачи Украинфильства" {143}, он упоминает о царе в совсем ином тоне: "Малорусс верен своему царю, всей душой предан государству; его патриотическое чувство отзывчиво и радостью и скорбью к славе и к потерям русской державы ни на волос не менее великорусса, но в своей домашней жизни, в своем селе или хуторе, он свято хранит заветы предковской жизни, все ее обычаи и приемы, и всякое посягательство на эту домашнюю святыню будет для него тяжелым незаслуженным оскорблением". Здесь историк как бы возвращается к юношескому, к харьковскому периоду своей жизни, и отбросив все политическое, что было привнесено "Историей Русов", оставляет одни романтические элементы любви к малороссийскому народу. Под старость, он перестает приписывать малороссам не существовавшую у них враждебность к единому российскому государству, перестает возбуждать и натравливать их на него. Политический национализм представляется ему, отныне, делом антинародным, разрушающим и коверкающим духовный облик народа. Таковы, например, его высказывания против упорного стремления некоторых кругов искусственно создать новый литературный язык на Украине.

Сходную с Костомаровым эволюцию совершил Пантелеймон Александрович Кулиш. Правда, взгляды его излагать очень трудно по причине непостоянства. Он часто и круто менял свои точки зрения на украинский вопрос. Зато в государственно-политических воззрениях оставался более или менее тверд: подобно прочим кирилло-мефодиевцам, никогда не отрекался от республиканско-федералистических убеждений.

Так же, как Костомаров, он начал с этнографии, с увлечения народной поэзией и, первоначально, его украинство мало чем отличалось от украинства Метелинского или Максимовича. Недаром Максимович оказывал ему всяческую поддержку и покровительство. Годом к 20-ти Кулиш начал печататься у него в "Киевлянине"; писал по-русски исторические романы из украинской жизни.

Кирилло-мефодиевская идеология отразилась, впервые, в его "Повести об украинском народе", напечатанной в 1846 г. Это "вольный" очерк истории Украины с ясно проступающей мыслью, что она могла бы быть в прошлом самостоятельной, если бы не измена малороссийского дворянства и не московское владычество. С симпатией говорится в этом сочинении о казачестве как лучшей части малороссийского народа.

Видно, что не одни поэмы Рыльева или поддельные кобзарские "думы", но и летопись Грабянки и "История о презельной брани" и "История Русов" в то время известны были ему. Лет через 10 – он уже законченный националист казачьего толка. Двухтомные "Записки о южной Руси", вышедшие в 1856–1857 г., – памятник этого второго периода его писательства. Казакам в нем воскурятся фимиам, как вождям южно-русского народа.

Это они привили ему чувство собственного достоинства и раскрыли глаза

на нелепые притязания и спесь польской шляхты. Случилось это потому, что "нося оружие и служа отечеству наравне со шляхтою, казаки создавали себе тем же путем, что и она, понятие о своем благородстве и потому оскорблялись до глубины души надменностью старой или польской шляхты". Будучи "двигателями народных восстаний", они передали эти чувства народу. Хмельничина представлялась в то время Кулишу не борьбой крестьянства с помещиками, а "едва ли не единственным примером войны из за оскорбленного чувства человеческого достоинства".

Превращение Кулиша из романтического Савла в апостола казачьего евангелия ярче всего проявилось в разнице оценок повестей Гоголя. Первоначально, они вызывали у него шумное восхищение.

"Надобно быть жителем Малороссии, или лучше сказать малороссийских захолустий, лет тридцать назад, чтобы постигнуть до какой степени общий тон этих картин верен действительности. Читая эти предисловия, не только чуешь знакомый склад речей, слышишь родную интонацию разговоров, но видишь лица собеседников и обоняешь налитанную запахом пирогов со сметанок или благоуханием сотов атмосферу, в которой жили эти прототипы гоголевской фантазии" {144}.

Но уже в 1861 г., в "Основе", можно прочесть:

"Мы все те, кто в настоящее время имеет драгоценное право называться украинцем, объявляем всем кому о том ведать надлежит, что разобранные и упомянутые мною типы гоголевых повестей – не наши народные типы, что хотя в них кое-что и взято с натуры и угадано великим талантом, но в главнейших своих чертах они чувствуют, судят и действуют не по-украински, и что поэтому при всем уважении нашем к таланту Гоголя, мы признать их земляками не можем" {145}.

К этому же времени относятся антирусские выпады в духе "Истории Русов", обвинение имперского правительства во введении "неслыханного в Малороссии закрепощения свободных поселян", в бесчисленных притеснениях простого народа, в грабеже земель, во "введении в малороссийский трибунал великорусских членов", следствием чего явились "сцены насилий и ужасов, от которых становится волос дыбом у историка".

По словам Костомарова, в 60-х годах Кулиша "считали фанатиком Малороссии, поклонником казачины; имя его неотцепно прилипало к так называемому украинофильству". После этого происходит метаморфоза. Лет на десять он умолкает, сходит со страниц печати и только в 1874 г. снова появляется. В этом году вышла первая книга его трехтомного сочинения "История воссоединения Руси". Продолжительное молчание объяснялось занятиями по истории Малороссии. Кулиш подверг рассмотрению важнейшее событие в ее судьбе – восстание Хмельницкого и присоединение к Москве. Он поднял гору материала, перебрал и передумал прошлое своего края и, по словам того же Костомарова, "совершенно изменил свои воззрения на все малорусское, и на прошедшее, и на современное". Широкое знакомство с источниками, критическое отношение к фальсификациям, представили ему казачество в неожиданном свете. Рыцарские доспехи, демократические тоги были совлечены с этого разбойного антигосударственного сборища. Друзья, в том числе и Костомаров, были недовольны таким слишком открытым сокрушением кумиров, которым служили всю свою жизнь, но серьезных возражений против приведенных Кулишем данных – не сделали. Развенчав казачество, он по иному оценил и поэзию своего друга Шевченко.

В украинофильских домах портреты Кулиша и Шевченко всегда висели вместе, как двух апостолов "национального возрождения". Теперь один из них называет музу своего покойного друга – "полупьяною и распушенною". Тень поэта, по его словам, "должна скорбеть на берегах Ахерона о былом умоисступлении своем". Под умоисступлением разумелась национальная ненависть, главным образом русофобия, разлитая в стихах Шевченко. Тут и поношение имен Петра, Екатерины и все выпады против москалей. Только освободившись сам от обольщений казачьей лжи и фальши, Кулиш понял, как портит эта ложь поэзию "кобзаря", которого он сравнивал некогда с Шекспиром и Вальтер Скоттом. По его словам, отвержение многого, что написано Шевченко в его худшее время, было бы со стороны общества "актом милосердия к тени поэта".

Появился стихотворный отпор ему по поводу славы Украины. Творец "Заповита" считал ее казацкой славой, которая никогда не "поляже". Кулиш

уверял, что она "поляже", что казаки не украшение, а позор украинской истории.

Не герои правды и воли
В камыши ховались
Та з татаринoм дружили,
З турчином еднались.
.

Павлюкивци й Хмельничане,
Хижаки - пьяници,
Дерли шкуру з України
Як жида з телици,
А зидравши шкуру, мясом
З турчином делились,
Поки вси поля кистками
Билими покрылись.

Осудил Кулиш и свою прежнюю литературную деятельность. Про "Повесть об украинском народе", где впервые ярко проявились его националистические взгляды, он выразился сурово, назвав ее "компиляцией тех шкодливых для нашего разума выдумок, которые наши летописцы выдумывали про ляхов, да тех, что наши кобзари сочиняли про жидов, для возбуждения или для забавы казакам пьяницам, да тех, которые разобраны по апокрифам старинных будто бы сказаний и по подделанным еще при наших прадедах историческим документам. Это было одно из тех утопических и фантастических сочинений без критики, из каких счита у нас вся история борьбы Польши с Москвою" {146}. Надобно знать благоговение, с которым Кулиш в ранние свои годы произносил слова "кобзарь" и "думы", чтобы понять глубину происшедшего в нем переворота.

Вызван он не одними собственными его изысканиями, но и появлением трудов, вроде "Критического обзора разработки главных русских источников до истории Малороссии относящихся" проф. Г. Карпова. Сами украинофилы немало сделали для разоблачения подделок. Стало известно, например, что "Дума о дарах Батория", "Дума о чигиринской победе, одержанной Наливайкой над Жолкевским", "Песня о сожжении Могилева", "Песня о Лободе", "Песня о Чурае" и многие другие - подделаны в XVIII и в XIX вв. По заключению Костомарова, специально занимавшегося этим вопросом, нет ни одной малороссийской "думы" или песни, относящейся к борьбе казаков с Польшей, до Богдана Хмельницкого, в подлинности которой можно быть уверенным {147}.

Замечено, что украинские подделки порождены не любовью к поэзии и не страстью к стилизации. Это не то, что "Оссиан" Макферсона или "Песни западных славян" Мериме. Они преследуют политические цели. Сфабрикованы они теми же кругами, которые фабриковали фальшивые документы из истории казачества, сочиняли исторические легенды, включали их в летописи казацкие и создали "Историю Русов". Весьма возможно, что некоторые песни были подделаны в оправдание и подкрепление соответствующих страниц "Истории Русов".

Узнав все это, Кулиш начал с таким же пылом ополчаться на прежних своих идолов, с каким некогда служил им. Недостаток образования, недостаток научных знаний в области отечественной истории стал в его глазах величайшим пороком и преступлением, которого он не прощал националистически настроенной интеллигенции своего времени. Тон его высказываний об этой интеллигенции становится язвительным и раздраженным. Попав в начале 80-х годов в Галицию, он приходит в ужас от тамошних украинофилов, увидев тот же ложный патриотизм, основанный на псевдонауке, на фальсифицированной истории, еще в большей степени, чем в самой Украине. Деятели галицийского национального движения потрясли его своим духовным и интеллектуальным обликом. В книге "Крашанка", выпущенной в 1882 г. во Львове, он откровенно пишет об этих людях, не способных "подняться до самоосуждения, будучи народом систематически подавленным убожеством, народом последним в цивилизации между славянскими народами". Он обращается к местной польской интеллигенции с призывом "спасать темных людей от легковерия и псевдо-просвещенных от гайдамацкой философии".

Окончательно порвать с украинизмом, которому они посвятили всю жизнь, ни Кулиш, ни Костомаров не нашли в себе сил, но во всей их поздней деятельности чувствуется стремление исправить грехи молодости, направить поднятое ими движение в русло пристойности и благоразумия.

До 1861 г., когда в Петербурге начал выходить журнал "Основа", никакой

групповой деятельности, украинофилов не наблюдается. Но и "Основа" просуществовала лишь до 1862 года. По словам И. Франко, она закрылась "не от злоключений, а от истощения сил" {148}. Хотя она посвящена была украинской теме, печаталась не только по-русски, но и по-украински, тем не менее, политики там не было.

В литературе часто можно встретить утверждения, будто журнал этот дал толчок к возникновению националистического кружка в Киеве, под именем "Громада". Какое-то оживление украинской мысли он мог вызвать, но у "Громады" были, по-видимому, другие вдохновители в лице неизменных польских патриотов. Недаром она появилась накануне польского восстания и вместе с его подавлением замерла до 1868 года. Этот ранний период "Громады" очень темен. К концу же 60-х годов она выглядела собранием университетской молодежи, увлеченной этнографией, статистикой, археологией и всяческим изучением своего края. В 1873-1874 г. ей удается открыть в Киеве "Юго-Западный Отдел Русского Географического Общества", в котором и сосредоточилась ее деятельность.

Но под академической внешностью таился все тот же дух европейских либерально-демократических мечтаний и вкусов.

Надо, впрочем, сказать, что дух этот сидел непрочно и не глубоко в большинстве, если не во всех членах "Громады". Только один был вполне и до конца им захвачен, по каковой причине и приобрел руководящее положение в кружке. Это был молодой профессор древней истории в киевском университете, Михаил Петрович Драгоманов. Не исключена возможность, что он приходился родственником тому декабристу Драгоманову, что упоминается в числе членов "Общества Соединенных Славян". Семейные ли предания или влияния среды были тому причиной, но тяготение к политике и к революционно-социалистическим идеалам появилось у него чуть не на школьной скамье. К концу 60-х годов он был уже человеком не только овладевшим европейской литературой в этой области, но и успевшим выработать свои собственные убеждения. Они до того своеобразны, что многие до сих пор не знают, к какому из существовавших в XIX веке социалистических направлений следует его относить. Отсутствие направленчества, столь выгодно отличавшее его от всех русских революционеров того времени, как раз и было его первой характерной чертой. Нелюбовь к догмам, к застывшим схемам, трезвость в оценках и суждениях, врожденная неприязнь к утопиям и политическим фантазиям, все это в соединении с глубокими знаниями, широким теоретическим горизонтом делало фигуру Драгоманова редким явлением среди российской интеллигенции. П. Б. Струве называл его "подлинно научным социалистом". Будучи убежденным противником абсолютизма, он не только не одобрял царубийств и прочих видов революционного террора, но и насильственного ниспровержения самодержавия путем восстания никогда не проповедовал. Социалистическое преобразование мира связывалось у него не с кровавой революцией, а с рядом постепенных реформ. Национальный вопрос, точно так же, имел не доминирующее, а подчиненное значение. Оставаясь всю жизнь патриотом родного края, он ничего не ставил выше социализма, космополитизма и всего того, что по его словам не разъединяет, а связывает людей. Он и землякам своим предлагал называться "европейцами украинской нации". Национальный украинский вопрос мыслился им как вопрос либерально-социалистического переустройства общества. Прежде всего, он был средством вовлечения в политическую жизнь широких слоев населения. Национальные движения представлялись Драгоманову движениями массовыми, в которых принимают участие трудящиеся классы населения, "хранители духовного типа каждой национальности". "Рабочее сословие уже вошло в сферу международной жизни... выступление на политическую сцену просвещенного крестьянства только усилит движение, начатое рабочим классом".

Раз сдвинутая с мертвой точки, посредством "национального пробуждения", народная толща неминуемо должна будет подойти к разрешению социальных проблем и к преобразованию государственно-политического строя. "Космополитизм в идеях и целях, национальность в основе и форме культурной работы" - так выразил Драгоманов свою украинскую "платформу" {149}. Сушим обскурантизмом и кустарщиной, с его точки зрения, было бы выведение общественно-политических и государственных форм "з почуття національного, з душі етнографічної". Подобно тому, как космография Коперника и Ньютона не могла вырасти из национального чувства, так и в области социально-политических идей все значительное могло возникнуть и возникнуть не

на узко-национальной, а на широкой международной основе. Ничем не ограниченное народное волеизъявление, свобода и неприкосновенность личности, свобода совести, слова, печати, собраний, которые он хотел видеть у себя на родине, - столь же украинские, сколь и французские, английские, американские. Против сепаратизма, как такового, он ничего не имел. В принципе, признавал право на свободное государственное существование не только за каждой нацией или племенем, но "за каждым селом". Понимая столь широко начало самоопределения, он, в то же время, требовал не меньшей широты ума в его применении. Он был упорным противником бессмысленного, никакими реальными потребностями не вызванного отделения одного народа от другого. Прогрессивное значение исторически сложившихся великих европейских государств было ему ясно в полной мере; раздробление их он считал великим политическим и культурным бедствием. В существовании таких государств заинтересованы, по его мнению, все населяющие их народы; надо только, чтобы ни один народ не чувствовал себя там чужим, и чтобы все имели полную возможность ничем не стесненного национального развития.

Такая постановка вопроса предполагала не столько отделение того или иного народа от общего государства, сколько преобразование его на началах приемлемых для каждого живущего в нем племени. Разрешение национальной проблемы мыслилось в плоскости общественно-политической. Для Украины в особенности. Драгоманов отрицал наличие в ней сепаратизма или каких бы то ни было тенденций к отделению от России. Вся масса народа об этом не помышляет, если же какая-то кучка и питает подобное намерение, то это до того ничтожное меньшинство, что его и во внимание принимать не приходится {150}. То же самое он внушал, позднее, галицийским украинофилам. Да если бы сепаратизм и существовал, это нисколько не изменило бы его отношения к вопросу об отделении. "Отделение украинского населения от других областей России в особое государство (политический сепаратизм), - есть вещь не только во всяком случае очень трудная, если не невозможная, но при известных условиях вовсе ненужная для каких бы то ни было интересов украинского народа". Он указывает на тысячу нитей, духовно и материально связывающих Украину с Россией, порывать которые без особой нужды было бы безумием и величайшим ущербом для народа. Своих национальных свобод Украина может полнее и успешнее добиться не на путях сепаратизма, а в недрах Российского Государства и эти свободы суть те же самые, за которые борется революционная русская интеллигенция. Российская Империя представлялась Драгоманову обветшалым зданием, неспособным существовать далее в прежнем виде. Ее централизация, при необъятной территории, превращается в тормоз для культурного, экономического и всякого иного развития народа. Таким же тормозом представлялось ему неограниченное самодержавие, противодействовавшее росту народного самоуправления. Не победив этих двух препятствий, Украина не может мечтать ни о каких национальных задачах, а победить их можно только вкупе со всеми российскими народами и, прежде всего, с великоруссами. Драгоманов поэтому от своего имени и от имени своих последователей заявлял: "Люди, посвятившие себя освобождению украинского народа, будут самыми горячими сторонниками преобразования всей России на началах наиболее благоприятных для свободы развития всех ее народов" {151}.

"Политическая свобода есть замена национальной независимости". Достаточно добиться в полной мере прав человека и гражданина, чтобы тем самым оказалась приобретенной и большая часть прав национальных, а если к этому прибавить широкое самоуправление общинное, уездное и губернское, то никакого другого ограждения неприкосновенности местных обычаев, языка, школьного обучения и всей национальной культуры искать не приходится. Децентрализация управления Российской Империей - вот то, над чем упорно работает мысль Драгоманова. В своем "Опыте украинской политико-социальной программы" он делит всю Россию на 20 областей по принципу экономическому, географическому и социальному. Малороссийская народность, по этой схеме, оказывается разделенной между областями Полесской, Киевской, Одесской, Харьковской. Области делятся на уезды и волости представляющие собой самоуправляющиеся общины. Все хозяйственные, культурные и бытовые дела решаются самим народом; к компетенции общероссийского правительства относятся лишь дела общие всем областям. При таком строе украинцам никто абсолютно не мешает создавать собственную литературу, театр и музыку, ни сохранять старинные обычаи, ни устраиваться экономически с наибольшей для

себя выгодой.

Значение Драгоманова не в том, что он был социалист, а в том, что среди социалистов являл редкий пример трезвого, уравновешенного и широко образованного человека. При его направляющей роли украинское движение имело шанс приобрести характер разумного и привлекательного движения. Сделавшись вождем, он имел возможность сдерживать гайдамацкие проявления украинизма в стиле Шевченко и давать ему культурное направление. Авторитет его среди громадян был бесспорный и его воззрения безмолвно принимались всей группой. Но эта безмолвность означала не столько единомыслие, сколько отсутствие политической мысли. То были хорошие этнографы и статистики, вроде Чубинского и Рудченко, хорошие филологи и литературоведы, вроде Житецкого, Михальчука, Антоновича; они наполнили "Записки" киевского отдела Русского Географического Общества ценными трудами, но в политическом отношении были людьми малоразвитыми. Драгомановский социализм принимали потому, что ничего ни изобрести, ни противопоставить ему не могли.

Но было очевидно, что такой политический облик кружка мог удерживаться до тех пор пока сам "мэтр" оставался во главе его. Стоило ему в 1877 г. уехать за границу, как этнографы, филологи, любители народных песен остались без политического компаса.

Отъезд Драгоманова, в какой-то степени, – знаменательное событие, веха, означающая новый этап в истории украинизма. Но событие это получило превратное толкование в самостийнической литературе. Его связывают с притеснениями украинофильства в России, особенно с гонениями на малороссийский язык.

Тому, кто когда-нибудь перелистывал самостийнические брошюры и книги, хорошо известно, какое место уделяется в них теме "знищення вкраїнської мови".

Сам Драгоманов, по выезде из России опубликовал письмо писательскому конгрессу в Париже с жалобой на запрещение украинской литературы русским правительством {152}. Повод к такой демонстрации дан двумя правительственными указами 1863 и 1876 гг.

Современный русский читатель так мало осведомлен об этом важном эпизоде, что многое, связанное с ним, будет ему непонятно без некоторых необходимых справок.

Из предыдущих глав видно, что не только вражды правящей России к малороссийскому языку не существовало, но была определенная благожелательность. Петербургские и московские издания на украинском языке – лучшее тому свидетельство. Благожелательность эта усилилась в царствование императора Александра II.

В 1861 г. возникла идея печатания официальных государственных документов по-малороссийски, и первым таким опытом должен был быть манифест 19 февраля об освобождении крестьян. Инициатива исходила от П. Кулиша и была положительно встречена на верхах. 15 марта 1861 г. последовало высочайшее разрешение на перевод. Но когда перевод был сделан и через месяц представлен на утверждение Государственного Совета, его не сочли возможным принять. Кулиш еще до этого имел скандальный случай перевода Библии с его знаменитым "Хай дуфае Сруль на Пана" (Да уповае Израиль на Господа). Теперь, при переводе манифеста, сказалось полное отсутствие в малороссийском языке государственно-политической терминологии. Украинофильской элите пришлось спешно ее сочинять. Сочиняли путем введения полонизмов или коверканья русских слов. В результате получилось не только языковое уродство, но и совсем непонятный малороссийскому крестьянину текст, по крайней мере, менее понятный, чем обычный русский. Напечатанный впоследствии, в "Киевской Старине", он служил материалом для юмористики.

Но когда, в 1862 г. Петербургский Комитет Грамотности возбуждает ходатайство о введении в Народных школах Малороссии преподавания на местном наречии, оно принимается к рассмотрению и сам министр народного просвещения А. В. Головнин поддерживает его. По всей вероятности, проект этот был бы утвержден, если бы не начавшееся польское восстание, встревожившее правительство и общественные круги.

Выяснилось, что повстанцы делали ставку на малороссийский сепаратизм и на разжигание крестьянских аграрных волнений на юге России, посредством агитационных брошюр и прокламаций на простонародном наречии. И тут замечено было, что некоторые украинофилы охотно сотрудничали с поляками на почве

распространения таких брошюр. Найденные при обысках у польских главарей бумаги обнаружили прямые связи украинских националистов с восстанием. Известен случай с Потебней, двоюродным братом знаменитого языковеда, присоединившимся к повстанцам. Едва ли не главными информаторами, раскрывшими правительству глаза на связь украинского национализма с восстанием, были сами же поляки, только не те, что готовили восстание, а другие - помещики правого берега Днепра. Сочувствуя восстанию и налаживая связи его вожаков с украинофилами (с учителями воскресных школ, со слушателями "Временной педагогической школы"), они пришли в величайшее смятение, когда узнали, что повстанцы берут курс на разжигание крестьянских бунтов на Украине. Лозунг генерала Марославского о пробуждении "нашей запоздавшей числом Хмельничины" был для них настоящим ударом. Пришлось выбирать между освобождением Польши и целостью своих усадеб. Они выбрали последнее.

Собрав таким путем сведения о характере украинофильства, в Петербурге решили "пресечь" крамолу. Будь это в какой-нибудь богатой политическим опытом европейской стране, вроде Франции, администрация уладила бы дело без шума, не дав повода для разговоров и не вызывая ненужного недовольства. Но русская правящая среда такой тонкостью приемов не отличалась. Кроме циркуляров, приказов, грозных окриков, полицейских репрессий, в ее инструментариум не значилось никаких других средств. Проекту преподавания на малороссийском языке не дали ходу, а печатание малороссийских книг решили ограничить.

18 июля 1863 года министр внутренних дел П. А. Валуев обратился с "отношением" к министру народного просвещения А. В. Головнину, уведомляя его, что с монаршего одобрения он признал необходимым, временно, "впредь до соглашения с министром народного просвещения, обер-прокурором Святейшего Синода и шефом жандармов" допускать к печати только такие произведения на малороссийском языке, "которые принадлежат к области изящной литературы", но ни книг духовного содержания, ни учебников, ни "вообще назначаемых для первоначального чтения народа" - не допускать. Это первое ограничение самим министром названо было "временным" и никаких серьезных последствий не имело - отпало на другой же год. Но оно приобрело большую славу по причине слов: "малороссийского языка не было, нет и быть не может", употребленных Валуевым. Слова эти, выхваченные из текста документа и разнесенные пропагандой по всему свету, служили как бы доказательством презрения и ненависти официальной России к украинскому языку, как таковому. Большинство не только читателей, но и писавших об этом эпизоде, ничего о нем, кроме этой одиозной фразы, не знало, текста документа не читало. Между тем, у Валуева не только не видно презрения к малороссийскому языку, но он признает ряд малороссийских писателей на этом языке, "отличившихся более или менее замечательным талантом". Он хорошо осведомлен о спорах ведущихся в печати относительно возможности существования самостоятельной малороссийской литературы, но сразу же заявляет, что его интересует не эта сторона проблемы, а исключительно соображения государственной безопасности.

"В последнее время вопрос о малороссийской литературе получил иной характер, вследствие обстоятельств чисто политических, не имеющих никакого отношения к интересам собственно литературным". Прежняя малороссийская письменность была достоянием одного лишь образованного слоя, "ныне же приверженцы малороссийской народности обратили свои виды на массу непросвещенную, и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись под предлогом распространения грамотности и просвещения за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географий и т. п. В числе подобных деятелей находилось множество лиц, о преступных действиях которых производилось следственное дело в особой комиссии".

Министра беспокоит не распространение малороссийского слова, как такового, а боязнь антиправительственной пропаганды на этом языке среди крестьян. Не следует забывать, что выступление Валуева предпринято было в самый разгар крестьянских волнений по всей России и польского восстания. Его и пугает больше всего активность поляков:

"Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно совпадает с политическими замыслами поляков и едва ли не им обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в цензуру, и потому, что

большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков".

Ни в "отношении" Валуева, ни в каких других высказываниях членов правительства, невозможно найти враждебных чувств к малороссийскому языку. А. В. Головнин, министр народного просвещения, открыто возражал против валуевского запрета. Впоследствии, в эпоху второго указа, министерство земледелия печатало аграрные брошюры помалороссийски, не считаясь с запретами.

Что же касается знаменитых слов о судьбах малороссийского языка, то необходимо привести полностью всю ту часть документа, в которой они фигурируют. Тогда окажется, что принадлежат они не столько Валуеву, сколько самим малороссам. Министр ссылается на затруднения, испытываемые петербургским и киевским цензурными комитетами, в которые поступает большинство перечисленных им книг "для народа" и учебников. Комитеты боятся их пропускать по той причине, что все обучение в малороссийских школах ведется на общерусском языке и нет еще разрешения о допущении в училищах преподавания на местном наречии.

"Самый вопрос о пользе и возможности употребления в школах этого наречия не только не решен, но даже возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. ОНИ ВЕСЬМА ОСНОВАТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО НИКАКОГО ОСОБЕННОГО МАЛОРОССИЙСКОГО ЯЗЫКА НЕ БЫЛО, НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши; что общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для великороссиян и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками, так называемый украинский язык. Лиц того кружка, который усиливается доказать противное, большинство самих малороссов упрекает в сепаратистских замыслах, враждебных России и гибельных для Малороссии" {153}.

Из этого отрывка видно, что выраженное в нем суждение о малороссийском языке принадлежит не самому Валуеву, а представляет резюме соответствующих высказываний "большинства малороссиян". Очевидно, это "большинство" не воспринимало правительственные запреты, как "национальное угнетение".

Валуевский запрет продолжался недолго, но через тринадцать лет, в 1876 году, снова издан указ запрещающий появление газет, духовной, общественно-политической литературы, а также концертов и театральных представлений на украинском языке. Только исторические памятники и беллетристику можно было по-прежнему печатать невозбранно. Этому предшествовало закрытие киевского отдела Русского Географического Общества, считавшегося центром украинофильства.

Опять, как в случае с Валуевым, русское общество ответило на правительственное мероприятие протестами и демонстрациями. Петербургский профессор Орест Миллер плакал, однажды, на публичном собрании по поводу того, что "нашим южным братьям не дают Божьего слова читать на родном языке". Но, как и при Валуеве, указ 1876 г. преследовал все ту же цель государственной безопасности. На этот раз, паника перед призраком развала государства началась среди самих украинцев.

Появление указа связано с именем М. В. Юзефовича, большого патриота своего края и любителя народного слова. Никаким противником родного языка его нельзя представить. Он был причастен к литературным начинаниям "Громады" и под его редакцией вышло несколько томов Актов по истории южной России. В 1840 г. он занимал должность помощника попечителя киевского учебного округа, но к началу 70-х гг. жил на покое, в отставке. Подозревать его в карьеризме, в желании выслужиться, вряд ли возможно - он просто до смерти боялся революции и расчленения России. Это он - автор ставшего знаменитым выражения "Единая неделимая Россия", написанного по его предложению на памятнике Богдану Хмельницкому. Нападая с такой злобой на этот лозунг, самостийники, видимо, не подозревают о его украинском происхождении. Усмотрев за невинной, по внешности "культурнической" деятельностью "Громады" призрак отделения Малороссии от России, а в Драгоманове почуствовал противника существующего строя, он поднимает тревогу и не успокаивается до тех пор, пока власти не учреждают в 1875 г. особой комиссии по расследованию этого дела. Приглашенный в комиссию он представляет сведения о связях громадян с галицийскими "диячами" и об участии их в польско-австрийской интриге, направленной к отторжению Малороссии.

Мы сейчас полагаем, что никакого серьезного участия в этой интриге они не принимали, но человеку того времени не так просто было в этом разобраться. Даже Драгоманов, писавший в 1873 г. разъяснительные статьи в "Правде", с целью убедить галичан в полном отсутствии на Украине сепаратизма, тем более австрофильской партии, должен был признать наличие "двух-трех масок размахивающих картонными мечами". Какие-то, пусть ничтожные по численности, элементы, связанные с галицкими деятелями, существовали среди громадян. Знал, быть может, Юзефович об их деятельности такое, чего мы еще не знаем. В особенности же напуган он был тем, что галицкая народолюбивая печать запестрела, с некоторых пор, статьями и заметками о народном недовольстве в Малороссии и о желании ее присоединиться к Австрии. Дошло до того, что, по словам Драгоманова начали примеривать к Украине корону св. Стефана Угорского, заводили речи о "Киевском Королевстве"; Сичинский в заседаниях сейма говорил "про возможность Ukrainiam convertere политично до Австрии, як религийно до Риму" {154}.

Результатом расследования было закрытие киевского отдела Географического Общества, лишение Драгоманова кафедры в университете и ограничение малороссийской печати.

Как ни убедительно звучит версия, объясняющая эмиграцию Драгоманова этими репрессиями, она не имеет под собой оснований. Несмотря на шум, поднятый вокруг Указа 1876 г., никаким ударом для украинского движения он не был. На практике он почти не соблюдался. Спектакли устраивались под носом у полиции без всякого разрешения, листки и брошюры печатались при полном попустительстве властей. Некий Тарас Новак имел случай беседовать в 1941 г. с престарелой вдовой драматурга Карпенко Карого – Софьей Виталиевной Тобилевич, вспоминавшей с восторгом о гастролях театра Кропивницкого, как раз, в годы "реакции". Театр встречал великолепный прием по всей России, особенно в Москве и в Петербурге. Его пригласили ко двору, в Царское Село, где сам император Александр III наговорил актерам всяческих комплиментов. Когда же Кропивницкий пожаловался одному из великих князей на киевского генерал-губернатора, не допускавшего (во исполнение указа) спектаклей театра в Киеве, то великий князь успокоил: об "этом старом дураке" он поговорит с министром внутренних дел. После этого препятствий не чинилось нигде {155}.

Хотя формально и официально все ограничения украинской печати отпали только в 1905 году, фактически они не соблюдались с самого начала.

Не успели опубликовать указ, как началось постепенное его аннулирование. Сама киевская и харьковская администрация подняла перед правительством вопрос о ненужности и нецелесообразности запретов {156}.

Вскоре, вместо закрытых "Записок" Географического Общества, стал выходить журнал "Киевская Старина", вокруг которого собрались те же силы, что работали в Географическом Обществе.

Указ 1876 г. никому, кроме самодержавия, вреда не принес. Для украинского движения он оказался манной небесной. Не причиняя никакого реального ущерба, давал ему долгожданный венец мученичества. Надобно послушать рассказы старых украинцев, помнящих девяностые и девятисотые годы, чтобы понять всю жажду гонений, которую испытывало самостийничество того времени. Собравшись в праздник в городском саду, либо на базарной площади, разряженные в национальные костюмы, "суспильники" с заговорщицким видом затыгивали "Ой на горе та жнеци жнуть"; потом с деланным страхом оглядывались по сторонам в ожидании полиции. Полиция не являлась. Тогда чей-нибудь зоркий глаз различал вдали фигуру скучающего городского на посту – такого же хохла и, может быть, большого любителя народных песен. "Полиция! Полиция!". Синие шаровары и пестрые плахты устремлялись в бегство "никем же гонимы". Эта игра в преследования означала неудовлетворенную потребность в преследованиях реальных. Благодаря правительственным указам она была удовлетворена.

Мотивы, по которым Драгоманов покинул Россию, ничего общего с преследованиями не имели. Как ни странно, его пугали земские реформы Александра II, которые он приветствовал вместе со всей интеллигенцией. Лет через 10 после их осуществления, они ему показались опасными для социалистического дела. "Практическая будущность на ближайшее время, – писал он, – принадлежит в России тем, своего рода политическо-социальным оппортунистам, которые не замедлят в ней появиться среди земств, и для которых теперешние социалисты-революционеры только расчищают дорогу". Он

предложил всем "чистым" социалистам теперь же перенести свою деятельность в страны, где предстоящий России политический вопрос, так или иначе, уже решен" {157}.

Но был еще один мотив. О нем обычно не говорится, но он подразумевается во всех речах и действиях Драгоманова.

Дело в том, что украинофильство, в лучшие свои времена, насчитывало до того ничтожное количество последователей и представляло столь малозаметное явление, что приводило порой в отчаяние своих вожаков. Простой народ абсолютно не имел к нему касательства, а 99 процентов интеллигенции относилось отрицательно; в нем видели "моду" - внешнее подражание провансальскому, ирландскому, норвежскому сепаратизмам, либо глупость, либо своеобразную форму либерально-революционного движения. Но в этом последнем случае, монархически-охранительная часть, типа Юзифовича, обнаруживала нескрываемую вражду к нему, а другая, не чуждая сама революции и либерализма, шла не в "громады" и "спилки", а в лавризм, в нечаевщину, в народовольчество, в черные переделы. Общероссийское революционное движение, как магнит, втягивало в свое поле все частицы металла, оставляя украинофильским группировкам шлак и аморфные породы. Никакой украинской редакции освободительного движения малороссийская интеллигенция не признавала. За это и снискала лютую ненависть. Можно сказать, что у самостийников не было большего врага, чем своя украинская интеллигенция. Даже у Драгоманова, чуждого проявлений всяких недостойных чувств, прорывались порой горькие сетования по ее адресу. Это она сделала украинофилов "иностранцами у себя дома". Но когда он попробовал однажды упрекнуть в чем-то подобном земляка Желябова, то получил отповедь в виде саркастического вопроса: "Где же ваши фени? Парнелль?" {158}.

Незадолго до отъезда Драгоманова произошло событие, явившееся для него настоящим ударом. Подобно кирилло-мефодиевцам, он был последователем идеи славянской федерации. И вот пришло время послужить этой идее по-настоящему. На Балканах вспыхнуло восстание славян против турок. Известно, как реагировало на это русское общество. Со всех концов России, в том числе из Малороссии, устремились тысячи добровольцев на помощь восставшим. Громада заволновалась. На квартире у Драгоманова устроено было собрание, где решено послать на Балканы отряд, который бы не смешиваясь с прочими волонтерами, явился туда под украинским флагом.

Принялись за организацию. Дебагорий-Мокриевич поехал для этой цели в Одессу, остальные занялись вербовкой охотников в Киеве. Результат был таков: Дебагорию удалось "захватить" всего одного добровольца, а в Киеве под украинский флаг встало шесть человек, да и то это были люди "нелегальные", искавшие способа сбежать за границу {159}.

Знать, что дело, которому посвятил жизнь, непопулярно в своей собственной стране - одно из самых тяжелых переживаний. Отъезд Драгоманова означал не невозможность работы на родине, а молчаливое признание неудачи украинофильства в России и попытку добиться его успеха в Австрии.

Но если для Драгоманова этот мотив был не единственный и, может быть, не главный, то для остальных украинофилов, ездивших в Галицию, он был главным. Поездки туда начались задолго до указа 1876 г., даже до валуевского запрета 1863 г. И печататься там начали до этих запретов. Печаталась, прежде всего, та категория авторов, которая ни под один из запретительных указов не попадала, - беллетристы. Это лучшее свидетельство несправедливости мнения, будто перенесение центра деятельности "за кордон" было результатом преследований царского правительства.

Поведение беллетристов Драгоманов объясняет их бездарностью. Ни Чайченко, ни Конисского, ни Панаса Мирного, ни Левицкого-Нечуя никто на Украине не читал. Некоторые из них, как Конисский, испробовали все способы в погоне за популярностью - сотрудничали со всеми русскими политическими лагерями, от крайних монархистов до социалистов, но нигде не добились похвал своим талантам. В Галиции, где они решили попробовать счастья, их тоже не читали, но галицийская пресса, по дипломатическим соображениям, встретила их ласково. Они-то и стали на Украине глашатаями лозунга о Галиции, как втором отечестве.

В то время, как Герцен, с которым Драгоманова часто сравнивают, покинув Россию, обрел в ней свою читательскую аудиторию и сделался на родине не просто силой, но "властью", - Драгоманова на Украине забыли. Произошло это,

отчасти, из-за ложного шага, выразившегося в избрании полем деятельности Галиции, но главным образом потому, что лишив днепровскую группу своего "социалистического" руководства, он оставил ее один на один с "Историей Русов", с кобзарскими "думами", с казачьими легендами. Казакомания заступила место социализма. Все реже стали говорить о "федерально-демократическом панславизме" и все чаще - спивать про Сагайдачного. Кирилло-мефодиевская фразеология понемногу вышла из употребления. То была расплата за страстное желание видеть в Запорожской Сечи "коммуны", а в гетманском уряде - образец европейской демократии. Продолжительное воспевание Наливаек, Дорошенков, Мазеп и Полуботков, как рыцарей свободы, внедрявшаяся десятилетиями ненависть к Москве не прошли бесследно. Драгоманову не на кого было пенять, он сам вырос казакоманом. Наряду с высококультурными, учеными страницами в его сочинениях встречаются вульгарные возмущения по поводу раздачи панам пустых степных пространств, "принадлежавших" Запорожской Сечи, а также жалобы на обрусение малороссов, вызванное, будто бы, "грубым давлением государственной власти". Ни одного примера давления не приводится, но утверждение высказывается категоричное.

С поразительной для ученого человека слепотой он полагал, что светлая память о гетманщине до сих пор живет в народе и что нет лучшего средства восстановить украинского крестьянина против самодержавия, как напомнить ему эту эпоху свобод и процветания. Он даже набросал проект прокламации к крестьянам: "У нас были вольные люди казаки, которые владели своею землею и управлялись громадами и выборными старшинами; все украинцы хотели быть такими казаками и восстали из-за того против польских панов и их короля; на беду только старшина казацкая и многие казаки не сумели удержаться в согласии с простыми селянами, а потому казакам пришлось искать себе помощи против польской державы у московских царей, и поступили под московскую державу, впрочем не как рабы, а как союзники, с тем, чтоб управляться у себя дома по своей воле и обычаям. Цари же московские начали с того, что поставили у нас своих чиновников, не уважавших наших вольностей, ни казацких, ни мещанских, а потом поделили Украину с Польшей, уничтожили все вольности украинские казацкие, мещанские и крестьянские, затем цари московские роздали украинскую землю своим слугам украинским и чужим, закрепостили крестьян, ввели подати и рекрутчину, уничтожили почти все школы, а в оставшихся запретили учить на нашем языке, завели нам казенных, невыборных попов, пустили к нам вновь еврейских арендаторов, шинкарей и ростовщиков, которых было выгнали казаки, - да еще отдали на корм этим евреям только нашу землю, запретив им жить в земле московской... Теперь... хотим мы быть все вновь равными и вольными казаками" {160}.

Если принять во внимание, что писано это в 1880 г., двадцать лет спустя после освобождения крестьян, когда, чтобы быть вольным, вовсе не обязательно было становиться казаком, то курьезность исторического маскарада станет особенно ясна.

Сам Драгоманов так и остался дуалистом в своем политическом мировоззрении, но киевские его приятели быстро обрели полную "цельность", выбросив из своего умственного багажа все несозвучное с так называемым "формальным национализмом". Термин этот - связан с ростом числа не рассуждающих патриотов, для которых утверждение "национальных форм" стало главной заботой. Национальный костюм, национальный тип, национальная поэзия, "национальные почуття", заступили всякие идеи о народном благе, о "наикращем" общественно-политическом устройстве. Происходит быстрое отделение казачьего украинизма от либерально-революционной российской общественности.

Но если, как уже говорилось, идеология умершего сословия могла существовать в XIX веке благодаря лишь прививке к порожденному этим столетием общественному явлению, то что могло ее ожидать в 80-х и 90-х годах? Оторвавшись от русской революции, она привилась к австро-польской реакции. Теперь уже не Костомаровы и Драгомановы, а галицийское "народовство" берет на буксир лишившуюся руля днепровскую ладью. Украинифильство попадает в чужие, не украинские руки; Киев склоняется перед Львовом.

С отъездом Драгоманова кончается собственно-украинский период движения и начинается галицийский, означающий не продолжение того, что зародилось на русской почве, а нечто иное по духу и целям.

Галицийская школа

Уже к концу прошлого столетия Галицию стали называть "украинским Пьемонтом", уподобляя ее роль той, которую Сардинское королевство сыграло в объединении Италии. Несмотря на претенциозность, это сравнение оказалось, в какой-то степени, верным. С конца 70-х годов, Львов становится штаб-квартирой движения, а характер украинизма определяется галичанами. Здесь выдаются патенты на истинное украинофильство и здесь вырабатывается кодекс поведения всякого, кто хочет трудиться на ниве национального освобождения. Широко пропагандируется идея национального тождества между галичанами и украинцами; Галицию начинают именовать не иначе, как Украиной. Сейчас, благодаря советской власти, это имя столь прочно вошло в употребление, что только историки знают о незаконности такого присвоения. Если на самой Украине оно возникло лишь в конце XVI, в начале XVII века и до самого 1917 г. жило на положении прозвища, не имея надежды вытеснить историческое имя Малороссии, то в Галиции ни народ, ни власти слыхом не слыхали про Украину. Именованье ее так начала кучка интеллигентов в конце XIX века.

Несмотря на все ее усилия, "Украина" и "украинец" дальше страниц партийной прессы не распространялись. Было ясно, что без чьей-то мощной поддержки чужое имя не привьется. Возникла мысль ввести его государственным путем. У кого она возникла раньше, у галицких украинофилов или у австрийских чиновников - трудно сказать. Впервые, термин "украинский" употреблен был в письме императора Франца Иосифа от 5 июня 1912 г. парламентскому русинскому клубу в Вене. Но поднявшиеся толки, особенно в польских кругах, вынудили барона Гейнольда, министра внутренних дел, выступить с разъяснением, согласно которому термин этот употреблен случайно, в результате редакционного недосмотра. После этого официальные венские круги воздерживались от повторения подобного опыта {161}. Только в глухой Буковине, откуда вести не проникали в широкий мир, завели, примерно с 1911 г., обычай требовать от русских богословов, кончавших семинарию, письменного обязательства: "Заявляю, что отрекаюсь от русской народности, что отныне не буду называть себя русским, лишь украинцем и только украинцем". Священникам, не подписавшим такого документа, не давали прихода {162}.

В 1915 г., членам австрийского правительства представлена была записка, отпечатанная в Вене в небольшом количестве экземпляров под заглавием "Denkschrift ber die Notwendigkeit ausschliesslichen Gebrauches des Nationalnamen 'Ukrainer'".

Австрийцев соблазняли крупными политическими выгодами, могущими последовать в результате переименования русинов в украинцев. Но имперский кабинет не прельстился такими доводами. Весьма возможно, что на его позицию повлияло выступление знаменитого венского слависта академика Ягича. "В Галиции, Буковине, Прикарпатской Руси, - заявил Ягич, - эта терминология, а равно все украинское движение, является чужим растением, извне занесенным продуктом подражания... О всеобщем употреблении имени "украинец" в заселенных русинами краях Австрии не может быть и речи; даже господа подписавшие меморандум едва ли были бы в состоянии утверждать это, если бы они не хотели быть обвиненными в злостном преувеличении" {163}.

Другая подобная же попытка относится к 1923 году, когда Галиция находилась в составе возродившегося польского государства. Исходила она от Наукового Товариства им. Шевченко во Львове, которое особым меморандумом просило отменить запрет, наложенный кураторией львовского учебного округа на названия "Украина" и "украинец" в отношении Галиции и русинов {164}. Демарш этот, так же, как в 1915 г., никакого успеха не имел. Утвердили и узаконили за Галицией название Украины большевики, в 1939 г., после раздела Польши между Сталиным и Гитлером. Они еще задолго до захвата Галиции начали именовать ее "Западной Украиной", что оказалось чрезвычайно удобным с точки зрения последовавшего "воссоединения".

Но не только по именам, а и по крови, по вере, по культуре, Галиция и Украина менее близки между собой, чем Украина и Белоруссия, чем Украина и Великооруссия. Из всех частей старого киевского государства, Галицкое княжество раньше и прочнее других подпало под иноземную власть и добрых 500

лет пребывало под Польшей. За эти 500 лет ее русская природа подверглась величайшим насилиям и испытаниям. Ее колонизовали немецкими, мадьярскими, польскими и иными нерусскими выходцами. Особенно жестоким был их наплыв при Людовике Венгерском, когда Галиция (Червоная Русь) отдана была в управление силезскому князю Владиславу Опольскому, человеку совершенно онемеченному. Он роздал немцам и венграм множество урядов, земельных владений, населил ими русские города, развил широкую сельскую колонизацию, посадив на галицийския земли немецких крестьян дав им важные льготы по сравнению с коренным населением. Пусть не этим "привилегированным" удалось онемечить галицийцев, а сами они руссифицировались, но с тех пор в жилах галичан течет немало чужой крови.

К расовым отличиям надлежит прибавить отличия религиозные. Галиция первая из древних русских земель отступила от православия и приняла Унию.

Наконец, язык ее совсем не тот, что в Надднепрянщине. Даже наспех созданная "литерацка мова", объявленная общеукраинской, не способна скрыть существования двух языков, объединенных только орфографией.

Это нетрудно установить, положив книжки Квитки-Основьяненко, Шевченко, Марко Вовчка рядом с произведениями Вагулевича, Гушалевича, Ивана Франко и других галицийских писателей. До последней четверти XIX века, ни галицийская литература на Украине, ни украинская в Галиции – не были известны. Взаимное ознакомление началось после того, как возникло общеукраинское движение. Только тогда в Галиции стали популяризировать Шевченко, а на Украине – русинских авторов.

Известный историк литературы А. Н. Пыпин в свое время писал: "Галицийской литературе не принадлежат произведения той нашей литературы малорусской, которая развивалась уже в периоде разделения западного и восточного края южной Руси, под влиянием жизни и образованности общерусской. Начиная с Котляревского и даже еще раньше, условия нашей малорусской литературы были уже иные, чем условия книжности галицко-русской, и произведения малорусские усваиваются галичанами опять с известной долей искусственности". То же утверждает и Драгоманов, полагающий, что галицкую и украинскую литературы "треба вважати, коли не за зовсим окремы, то же дуже одмінны одна вид другой" {165}.

Нельзя забывать и о школе. Украина училась в общерусских школах, читала русския книги и впитывала русскую образованность, Галиция училась по-польски, а потом, в XIX веке, по-немецки. Несмотря на сильное развитие руссофильства, во второй половине XIX века, каждый образованный галичачин гораздо меньше имел понятия о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Гончарове, Толстом, Достоевском, чем о Мицкевиче, Словацком, Выспянском, Сенкевиче. Замечено, что даже сведения о России и Украине почерпались галичанами, чаще всего, из немецкой печати. Удивительно ли, что ко многим вопросам кардинальной важности украинцы и галичане относились и относятся по-разному? Трудно, например, найти образованного украинца, который бы порицал кн. Владимира Святого за насаждение на Руси византийской культуры. Для галичан – это одиозная личность. Он для них, прежде всего, не "святой", а только "великий", а историческая его миссия всячески осуждается: он дал Руси не ту веру и не ту культуру, которую следовало бы...

"Лихий вплив (влияние) православного Царьгороду не дав нашим силам сконсулидуватися, викликував революції, деморалізував тим самим населення". Так писал о. Степан С. Шавель в канадской газете "Українські Вісті" {166}. Царьград и Москва – два злых гения. "Москва вчила нас, як бунтуватися проти гетманів, Царьгород бунтував одного князя проти другого. Ни вид Москви, ни вид Царьгороду нічого доброго ми не навчилися, бо сами вони нічого доброго не посадили. Ни Царьгород, ни Москва не посадили принципів на яких моглаб була розвинути українська культура". Галичане не любят культурного прошлого южной Руси. Нелюбовь эту можно встретить не только в писаниях простого униатского священника, но на страницах ученых произведений галицийских профессоров, вроде Омельяна Огоновского.

С тех пор, как после раздела Польши Галиция перешла под власть Австро-Венгрии, она представляла глубокую провинцию, где племя русинов или рутенов, как его называли австрийцы, насчитывавшее в XIX в. менее двух миллионов душ, жило вперемежку с поляками. Преобладающее, попросту говоря, господствующее положение принадлежало полякам. Они были и наиболее богатыми, и наиболее образованными; представлены, преимущественно, помещиками, тогда

как русины почти сплошь крестьяне и мещане. Драматический момент во взаимоотношениях между Русью и Польшей заключается в том, что там, где эти две народности тесно сожительствовали друг с другом, первая всегда находилась в порабощении и в подчинении у второй. Русинская народность стояла накануне полной потери своего национального обличья. Все, что было сколько-нибудь интеллигентного и просвещенного (а это было, преимущественно, духовенство), говорило и писало по-польски.

Для богослужебных целей имелись книги церковнославянской печати, а все запросы светского образования удовлетворялись исключительно польской литературой. Путешественники посещавшие Галицию в 60-х годах отмечают, что беседа в доме русинского духовенства, во Львове велась не иначе, как на польском языке. И это в то время, когда в Галиции появились признаки "пробуждения" и начали говорить о создании собственного языка и литературы. Что же было в первой половине столетия, когда ни о каких национальных идеях помину не было? Лучше всего об этом рассказывают сами галичане. Перед нами воспоминания Якова Головацкого {167} – одного из авторов знаменитой "Русалки Днестровой". Он происходил из семьи униатского священника и признается, что отец с матерью всегда говорили по-польски и только с детьми по-русски. Отец его читал иногда проповеди в церкви "из тетрадок писанных польскими буквами". "В то время, говорит Головацкий, – почти никто из священников не знал русской скорописи. Когда же отец служил в Перняках, и в церкви бывала графиня с дворскими паннами, или кто-нибудь из подпанков, то отец говорил проповедь по-польски". Самого Головацкого отец учил грамоте "по печатному букварю церковнославянской азбуке – то называлось читати по-русски, но писати по-русски я не научился, так как ни отец, ни дьяк не умели писати русскою скорописью". Тот же Головацкий рассказывает эпизод из времени своего пребывания во львовской семинарии. Власть польского языка и польской культуры выступает в этом рассказе с предельной выразительностью. "Пасторалисты дали себе слово не говорить проповедей, даже во львовских церквях иначе, только по-русски. Плешкевич первый приготовил русскую проповедь для городской церкви, но подумайте, якова была сила предубеждения и обычая! Проповедник вышел на амвон, перекрестился, сказал славянский текст и, посмотрев на интеллигентную публику, он не мог произнести русского слова. Смущенный до крайности, он взял тетрадку и заикаясь ПЕРЕВОДИЛ свою проповедь и с трудом кончил оную. В семинарии решили, что во Львове нельзя говорить русских проповедей, разве в деревнях".

Таких случаев робости было не мало. Когда Добрянский составил для своих слушателей грамматику старославянского языка, он издал ее (в 1837 г.) по польски, и только в 1851 г, вышла она в русском переводе по просьбе "собора ученых русских" собравшегося во Львове в 1848 г. Статья его о введении христианской веры на Руси тоже напечатана была по-польски (1840 г.) и потом уже по-русски (1846).

Ни о каком знакомстве с русской литературой говорить не приходится. Русские книги знакомы были немногим находившим их лишь в больших библиотеках, либо получавшим по знакомству из России от Погодина и Бодянского. То же и с малороссийской книгой. Несмотря на то, что нарождавшаяся украинская литература имела к тому времени, кроме Котляревского, Гребенки, Гулака, также Квитку, Кулиша и Шевченко, она не была известна в Галиции. Знакомство с нею состоялось значительно позднее, в результате долгих усилий общеукраинских деятелей. Русинское самосознание спало глубоким сном и народ медленно, но неуклонно врос в польскую народность.

Здесь не место рассказывать, как произошло его национальное пробуждение. Тут и неизменные собиратели народных песен – Вацлав Залесский, Лука Голембиевский, Жегота Паули (все сплошь поляки); тут же и знаменитая "Русалка Днестрова" – первый литературный сборник на русинском наречии, вышедший в 1837 году.

Важно – что это было за пробуждение? Ответ дан давно, о нем можно прочесть даже у Грушевского.

Пробуждение было русское.

Во всех австро-венгерских владениях, населенных осколками русского племени – в Галиции, в Буковине, в Угорской Руси – национальное возрождение понималось как возвращение к общерусскому языку и к общерусской культуре. Затраченное поляками, венграми, румынами, немцами, население этих земель

стихийно тяготело к России, как к своей метрополии. Совершенно гипнотизирующее действие произвело на него движение сотысячной армии Паскевича в 1849 г., шедшей на подавление венгерского восстания. Она не только ослепила его своей мощью и окружила образ России нимбом непобедимости, но простой народ, живший в деревнях и местечках, был глубоко взволнован тем, что вся эта армада говорила на совершенно понятном, почти местном языке. Для угорских русин, пришествие русских было величайшим торжеством.

Придавленные мадьярским засильем, они видели в Паскевиче своего освободителя. Среди них давно уже началось брожение против мадьяр, и один из деятелей этого движения - Адольф Добрянский, вынужден был даже бежать в Галицию, где его застал приход русской армии. Добрянскому удалось добиться назначения его императорским австрийским комиссаром при русской армии, в каком-то звании он и прибыл к себе на родину. По его инициативе была послана в Вену депутация с изложением национальных нужд угорских русинов - с просьбой о выделении их земель в особые "столицы", с учреждением в них местной русинской администрации и русского языка в управлении и в школе. Просили даже основать в Унгваре русскую академию. Император, напуганный венгерским восстанием и видевший, в тот момент, в русинах своих естественных союзников, на все отвечал согласием. Добрянский был назначен "над-жупаном" (наместником) четырех столиц, учредил русскую гимназию, завел делопроизводство на русском языке и широко повел распространение в крае русской культуры. Ни малейших колебаний в выборе между неразвитым местным наречием и русским литературным языком не существовало. Закарпатская Русь с самого начала встала на путь общерусской культуры. То же наблюдалось в более глухой, неразвитой Буковине, совсем лишенной собственной интеллигенции.

Но продолжался этот ренессанс недолго. Как только венгерское восстание кончилось, как только австрийское правительство помирилось с мадьярами и венгерская аристократия снова приобрела влияние в государственных делах, началось преследование всего русского. Сам Добрянский был устранен, а местная интеллигенция подверглась гонению.

Что же касается Галиции, то там произошло подлинное чудо. Несмотря на многовековое вытравливание всякой памяти о ее русском прошлом, несмотря на усиленную иноземную колонизацию, в ней восторжествовало руссофильство. Хотя там сделана была попытка разработки местного наречия, но никто иной, как сам Яков Головацкий, инициатор этого дела, пришел к заключению о ненужности таких опытов, при наличии развитого русского языка.

Для него, как и для подавляющего большинства культурных галичан, выбор предстоял не между местным русинским наречием и русским языком, а между польским и русским. Галичанин должен быть либо поляком, либо русским - среднего нет. Стали издаваться газеты на русском языке. Одной из них, "Слову", выпала роль столпа, вокруг которого стали собираться все "москвофилы". Редактировал ее Яков Головацкий. Разумеется, язык как этой, как и других газет оставлял много желать с точки зрения русской грамотности, но редактора и писатели старательно работали над овладением ею. В. Дзедзицкий выпустил брошюру: "Как малороссу в один час научиться говорить по-русски". Еще в 1866 г. в "Слове" появилась статья, рассматривавшая русинов и русских как один народ и доказывавшая, что между украинцами и великороссами нет никакой разницы. Вся Русь, по словам газеты, должна употреблять единый литературный русский язык. Статья эта сделалась как бы манифестом "москвофилов". Кроме Якова Головацкого, к ним примыкало немало видных людей, из коих необходимо особо упомянуть Наумовича, бывшего сначала польским патриотом, а потом прошедшего тот же путь, что и Я. Головацкий - через увлечение галицийским народничеством к москвофильству.

Причины подобного тяготения к России в стране, где польское просвещение, польский язык сделали такие успехи и где интеллигентный слой людей представлен исключительно униатским духовенством, были бы необъяснимы, если бы не церковно-славянский язык. Униатская Церковь служила на этом языке, и он-то спас галичан от окончательной колонизации. Он постоянно напоминал о едином русском корне, о прямой преемственности русского литературного языка с языком киевской Руси. Вот почему вожаки украинства так ненавидели и ненавидят "церковнославянщину".

Москвофилы не ограничились пропагандой русского языка и культуры, но начали проповедь полного объединения Галиции с Россией, по какой-то причине

их прозвали также "объединителями". Они заводили связи с русским образованным обществом, главным образом через М. П. Погодина, выпускали русские книги, издали сочинения Пушкина, а в конце 90-х годов во Львове образовалось литературное общество имени А. С. Пушкина. Инициаторы движения, вроде Головацкого, Плещинского, Наумовича, до такой степени прониклись сознанием необходимости слияния русин с русскими, что сами, впоследствии, переселились на жительство в Россию, где продолжали заниматься научно-литературной деятельностью.

Сколь велико было руссофильство галичан во второй половине XIX века, свидетельствует "сам" Грушевский. "Москвофильство, - по его словам, - охватило почти всю тогдашнюю интеллигенцию Галиции, Буковины и закарпатской Украины" {168}. Другим свидетельством может служить деятельность Драгоманова. Сам он, хоть и не проживал в Галиции (за исключением короткого времени), но следил за нею внимательно, и когда убедился во всеобщих симпатиях к России, стал через своих друзей и единомышленников учреждать в Галиции русские библиотеки и распространять русскую книгу. "Смело могу сказать, говорил он впоследствии, - ни один московский славянофил не распространил в Австрии столько московских книг, как я, 'украинский сепаратист'". Преследуя, в первую голову, задачу социалистической пропаганды и просвещения, и не будучи узким националистом, он понял, на каком языке можно успешнее всего добиться результатов в этом направлении. В 1893 г. он обращал внимание своих надднепрянских читателей на факт неизменного перевеса москвофилов на всех выборах в Сейм и в Рейхстаг. До самой войны 1914 г. москвофильство пользовалось симпатиями БОЛЬШИНСТВА галичан и если бы не эта мировая катастрофа, неизвестно, до каких бы размеров разрослось оно. Но аресты и избиения в начале войны, а особенно после кратковременного пребывания в Галиции русских войск, нанесли ему тяжелый удар. Русофильская интеллигенция оказалась уничтоженной {169}. Морально ее доконала большевицкая революция в России, открыто принявшая сторону самостийнического антирусского меньшинства.

Это антирусское меньшинство называлось "народовством", но, как часто бывает в политике, название не только не выражало его сущности, а было маской, скрывавшей истинный характер и цели объединения. Ни по происхождению, ни по духу, ни по роду деятельности оно не было народным и самое бытие свое получило не от народа, а от его национальных поработителей.

Поляки, истинные хозяева Галиции, были чрезвычайно напуганы ростом москвофильства. Пользуясь своим первенствующим положением и связями с австрийской бюрократией, они сумели внушить венским кругам боязнь опасности могущей произойти для Австрии от москвофильского движения и требовали его пресечения. Австрийцы вняли.

Какого-нибудь твердого взгляда на галичан в Вене до тех пор не было; до середины 30-х годов их просто не замечали. Когда вышла "Русалка Днестровая", директор австрийской полиции Пейман воскликнул: "Нам поляки создают хлопот по горло, а эти глиняные головы хотят еще похоренную рутенскую народность возродить"! Но вскоре "рутенская" народность пришлась кстати.

В 1848 г., когда польское движение приняло угрожающий для австрийцев характер, галичане были натравлены на поляков. Такое же натравливание едва не произошло в 1863 г., когда галичанам было сказано, что пора "den Herrn Polen einbeizen". Каждый раз такое обращение к русинам сопровождалось ласками и предоставлением различных привилегий. В 1848 г., по инициативе австрийцев была создана "Головна Руска Рада" - некое подобие русинского парламента. Рада издавала "Зорю Галицкую" и основала Народный Дом в Львове, но, будучи искусственно порожденной, просуществовала недолго. В 1851 г. полякам удалось стовориться с австрийцами, и те перестают поддерживать русинов. Рада распадается. Эта слабость и беспомощность перед поляками усиливала москвофильское движение.

Особенный подъем русских симпатий начался с 1859 г., когда полякам удалось захватить управление Галицией полностью в свои руки и встать в качестве посредствия между русинами и австрийским правительством.

Назначенный наместником Галиции польский граф Голуховский повел систематическое преследование всего, что мешало полонизации края. Жертвами его стали, прежде всего, деятели руссофильской партии, в частности Я. Ф. Головацкий, занимавший с 1848 г. кафедру русского языка и литературы во Львовском университете. Голуховский вытеснил его не только из университета,

но удалил, также, из двух львовских гимназий и запретил к употреблению составленные им учебники. В значительной мере под влиянием этих преследований, Головацкий переселился в 1867 г. в Россию, где сделался председателем комиссии для разбора и издания древних актов в Вильне. Такова же судьба некоторых других видных руссофилов, вроде Наумовича. Но наибольшее впечатление на русинов произвел выдвинутый Голуховским проект введения в галицкой письменности латинского алфавита, так называемого "абцадла", грозившего им окончательной полонизацией. Все русское с этих пор стало пользоваться особенной популярностью, а русская азбука и церковно-славянский язык стали знаменем в борьбе с воинствующим полонизмом.

Поляки, впрочем, скоро поняли, что полонизация галичан в условиях Австрийской Империи – дело нелегкое. Нашлись люди, доказавшие, что оно и ненужное. Украинизация сулила больше выгод; она не столь одиозна, как ополячивание, народ легче на нее поддается, а сделавшись украинцем – уже не будет русским.

В этом духе началась обработка венского правительства, которому идея украинизации нравилась тем, что позволяла перейти из оборонительного положения в наступательное.

Обрусение галичан чревато было опасностью отделения края, украинизация не только не несла такой опасности, но сама могла послужить орудием отторжения Украины от России и присоединения ее к Галиции. Полагали, что хорошей приманкой в этом отношении станет конституция 1868 г., по которой все населявшие Австрийскую Империю национальности получили равноправие и культурную автономию. Галичанам ставилась задача: прельстить Украину этой конституцией. "Русско-украинское слово, – писал львовский профессор О. Огоновский, – замолкло в южной России и пользуется мирным приютом только в монархии австро-венгерской, где конституция дает отдельным народностям свободу оберегать исконные народные права".

Австрийцы, по-видимому, до такой степени увлеклись мечтами об отторжении Украины, что с течением времени возникла идея подыскать для будущего украинского королевства достойного кандидата на трон, какового нашли в лице принца Вильгельма Габсбургского, названного Василем Вышиванным. В Вене и в Львове заинтересованные круги убедили "Василя" перейти из латинского обряда в Унию. Сам наследник австрийского престола Франц-Фердинанд принял горячее участие в этой аванюре.

Как только польский план в Вене получил санкцию, в Галиции тотчас возникла "народная" партия в противовес "объединителям" (москвофилы) и целый вспомогательный аппарат в лице О-ва "Просвита", газет "Правда", "Дило", "Зоря", "Батькивщина" и многих других.

Ядро и основу "народной" партии составило униатское духовенство. Уния, в свое время, задумана была в целях денационализации подвластного Польше русского населения, но цели своей не достигла. Через несколько поколений после насильственного обращения, галицкое население стало рассматривать свою новую Церковь, как "национальную", отличную от польской. Но то обстоятельство, что униаты находились в юрисдикции Ватикана, испытывая постоянное влияние иезуитов, венских и краковских папских миссий, не могло не наложить печати на галицкое духовенство. Оно не могло выйти из русла общественно-политических идей католицизма и сделалось распространителем ультрамонтанства в крае. Особенно ревностно служил этим целям "Русский Сион" – орган львовских церковников. Он же стал одним из органов "народовства" и даже начал с некоторых пор печататься в типографии "Наукового Товариства им. Шевченка", а о. Качали, политический руководитель униатского духовенства, сделался председателем этого "товариства" – любимого детища народовской организации. "Правда", главный орган народовцев, не только оказывала всяческое почтение "Русскому Сиону", но в 1873 году распространяла предвыборный манифест клерикалов. Немало молодых людей из духовенства вступило в ряды народовцев.

Светская народовская интеллигенция чрезвычайно довольна была таким союзом. Драгоманову приходилось неоднократно слышать от львовских украинофилов, что Уния – "саме українська вира бо вкупи и православна и не москивська". Эта светская интеллигенция представлена была большею частью поэтами, литераторами, учителями, чиновниками. Среди них встречалось не мало поляков, умело прикидывавшихся друзьями галицийского народа и рьяно поддерживавших украинизацию.

Уже из этих кратких сведений можно заключить об общественно-политическом и культурном лице народовства. Оно задумано как строго охранительное, с точки зрения австрийской государственности и польских аграриев. Униатское ультрамонтанство придало ему колорит, явившийся полной неожиданностью для Драгоманова, стремившегося изо всех сил в Галицию - обетованную землю свободы. Как раз в тот год, когда ему удалось вырваться из фараонской России, в Галиции разыгрался любопытный эпизод. Туда пришло из Праги новое двухтомное издание "Кобзаря", в которое попали стихи и поэмы дотоле неиздававшиеся. Это было в пятнадцатую годовщину смерти Шевченко. Нынешний читатель, знающий, каким ореолом святости окружен у галичан "пророк и мученик Украины-Руси", подумает, что "Кобзарь" был встречен с колокольным звоном. Встреча, однако, вышла совсем иной. Весь клерикальный Львов кипел возмущением. Требовали отмены вечеров и празднеств, назначенных по случаю траурной годовщины. Профессор Омелян Огоновский написал в "Русском Сионе": "Заявляю публично, що если бы я був знав, що в Станиславови устроється вечер в память Шевченко, то бувбим учеником моим таки из кафедре заказав удил в том брати".

Причина такой реакции заключалась в стихах "апостола", совершенно неприлично звучавших для церковного уха: "Все брехня: попи й цари". Или:

. будем, брате,
З багряниць онучи драти,
Людьки з кадил закуряти,
"Явленними" печь топити,
Кропилами будем, брате,
Нову хату вымитати.

Атеизм Тараса Григорьевича был замечен еще в России, где на него составили, однажды, протокол по поводу богохульных речей. Максимович сам рассказывал Костомарову, что под Каневым Шевченко держал речь в шинке про Божию Матерь, называя ее "покрыткой" и отрицая непорочное зачатие. Поэма его "Мария", написанная, видимо, под впечатлением пушкинской Гавриилиады, вполне подтверждает наличие у него таких взглядов. Особенно возмутила Огоновского сцена с Архангелом Гавриилом, когда он "у ярочку догнав Марию...". Едва ли, однако, не самыми одиозными были стихи о Папе Римском:

На апостольском престоле
Чернец годованый сидить.

"Одно еще було отрадою нашою, - писал Огоновский, - що у нас не було до сих пор контррелегийных (антирелигиозных) писем в язици руським. Тепер, однако, и тия появились, а то в роди поезий шевченковских".

Обнаружив в этих "поэзиях" "много такого, що вири й моральности есть шкодливе" - клерикалы обрушились на общество "Просвиту", главного виновника пражского издания "Кобзаря" и распространителя его в Галиции. И тут воочью стало ясно, кто хозяин народовского движения. "Просвита" вела себя, как провинившийся школьник и робко оправдывалась, ссылаясь на то, что Шевченко не католик и не знает хорошо догматов. Ссылались на его душевную неуравновешенность, как результат перенесенных в ссылке страданий, но "поэзий" своего пророка никто и не думал защищать. В умаление своей вины "Просвита" указала на то, что вредное влияние шевченковских стихов на юношество сведено к минимуму, благодаря разделению "Кобзаря" на два тома. В первом собрано все, что народ может читать без вреда для своего умственного и нравственного здоровья, и, только во второй том попали "опасныя" произведения. Но второй том выпущен в меньшем количестве экземпляров, стоит гораздо дороже, и продавать его будут не всякому, а так сказать, "смотря по человеку". Шевченко оказался поделенным на две части - одну для профанов, другую для посвященных.

Опасен он был и такими поэмами, как "Гайдамаки", где воспеваются резня польских панов украинскими мужиками. Мотив ненависти крестьян к барам совершенно был неприемлем для Галиции, и Шевченко стали причислять в местном вкусе. Когда львовское народовство не определилось еще и не сформировалось, галицкия газеты вроде "Меты", "Вечерньши", помещая статьи о певце "казацкоукраинской республики" и рисуя его пророком восстания против Москвы, не забывали всегда прибавлять - "и Польши". Но уже к концу 60-х годов, особенно после образования общества "Просвита", Польша изымается из подобных контекстов. В книжке Ом. Петрицкого "Провидни идеи в письмах Т. Шевченко", выпущенной в 1872 г., поэт представлен только, как враг Москвы. В

1877 г., в "Газете Школьной", тот же Петрицкий писал: "Шевченко був отвертим противником России и ии панування над Україною". Но ни о Польше, ни об Австрии, владевшей изрядным куском территории, которую Петрицкий именовал тоже Украиной, не сказано ни слова.

По свидетельству Драгоманова, на всех вечерах и концертах, где декламировались стихи Шевченко, на всех чтениях для народа, можно было заметить строгий отбор: все антипольское, антиклерикальное, антипомещичье устранилось. Допускалось только антимосковское.

Случай с "Кобзарем" был полной неожиданностью для Драгоманова, и уже тогда раскрылись у него глаза на народовство, названное им впоследствии "австро-польской победоносцевщиной". Вместо свободы мысли, слова, совести и всех демократических благ, ради которых покинул родину, он увидел в конституционной стране такой вид нетерпимости и зажима, который хуже цензуры и административных запретов. Церковный контроль над умственной жизнью был ему особенно тягостен, он полагал, что религия и общественно-политическая жизнь - две сферы, которые не должны соприкасаться. В украинском вопросе он особенно стремился к исключению каких бы то ни было религиозных тем и мотивов. Но не так думали львовские "диячи".

Церковное влияние им представлялось важнейшим политическим рычагом. В продолжении второй половины XIX века, в Галиции шла деятельная работа по перестройке Унии на латинское католичество. Возникшая в XVI веке, как ступень к переходу от православия в католицизм, она теперь, через 300 лет, собиралась как бы завершить предназначенную ей миссию. Инициатива исходила, конечно, от польско-австрийских католических кругов и от Ватикана. Само собой разумеется, что государственно-краевая польская власть всемерно этому содействовала. Дошло до открытой передачи одного униатского монастыря в ведение иезуитов. П. Кулиш выпустил, по этому поводу, брошюру в Вене с протестом против возобновления католического Drang nach Osten в Галиции; энергично восстали и "москвофилы". Но среди народовцев началось брожение. Сначала, большинство было явно против церковной реформы и посылало совместно с москвофилами специальную депутацию в Вену для выражения протеста, однако, под натиском реакционного крыла возглавлявшегося "Моисеем львовских народовцев" Володимером Барвинским, оппозиция большинства была сломлена и к концу 80-х годов отказалась от противодействия реформе. Только небольшая группа, собравшаяся вокруг газеты "Дело" - "щось бормоче проти ней та не зважається на ришучу оппозицію" {170}. Но и эта группа была яростной противницей каких бы то ни было симпатий к православию, проявлявшихся среди москвофилов. Малейшее выступление в пользу православия вызывало у всех народовцев, без исключения, крики об измене нации и государству и немедленное обращение за помощью к панско-польско-католической полиции.

Не меньше, чем веротерпимость, раздражала народовцев "хлопомания" Драгоманова, его превознесение мужика, простого народа, и постоянное напоминание о его интересах. На этой почве у них и произошло первое столкновение с ним в 1876-1877 г.г. Защищать мужика против барина и натравливать его на барина можно и желательно в русской Украине, но в польской Галиции это означало "нигилизм", "космополитизм" и государственную измену.

Надднепрянские деятели сильно просчитались, надеясь найти в Галиции тихую заводь, где бы они спокойно писали антимосковские книги, прокламации, воспитывали кадры для работы на Украине и создали бы себе надежную штаб-квартиру. Гостеприимство им было оказано с полного одобрения австрийцев и поляков, но в то же время дано понять, что тон украинскому движению будут задавать не они, а галичане. Чтобы уяснить, что это означало для самочувствия "схидняков", надо помнить, что люди, устремившиеся в Галицию, вроде Кулиша, Драгоманова, - по уму, по образованию, по талантам, стояли неизмеримо выше своих галицких собратьев. Самые выдающиеся среди галичан, вроде Омеляна Огоновского, выглядели провинциалами в сравнении с ними. "Для росиян галицка наука - схолястика, галицка публицистика - реакційна, галицка беллетристика, псевдоклясична мертвечина", - писал Драгоманов {171}. Тем не менее, на него и на всех малороссов во Львове смотрели сверху вниз, полагая, что оные малороссы "ни мовы ридной, ни истории не знали", но кичливо посягали на западную образованность, на немецкую философию и науку. "До принятия мудрости немецкой паны украинци не були еще приспособлени, а опроче культура чужа могла б таких недолюджив зробити каликами моральними". Так

писала в 1873 году львовская самостийническая "Правда". По словам этой газеты "таки недоуки, полизавши дешто немецкой философии, всяку виру в Бога мусили втратити. От и жерело ужасного нигилизму".

Им отвели роль учеников и подручников, кормило же правления осталось в руках местных украинофилов – цесарских подданных и союзников польской шляхты. Поляки и австрийцы не для того начинали игру, чтобы доверить ее неизвестным и чужим людям. Контроль должен находиться в руках местных сил. Пришельцам надлежало, выражаясь современным советским языком, подвергнуться "перековке"; надо было вытряхнуть из них москальский дух. А под москальским духом разумелись, прежде всего, революция и социализм. Ведь то была эпоха цареубийств, террора, хождения в народ и самого широкого разлива революционных страстей.

Поляки, сами прославившие на Руси страшными революционерами, относились к русскому революционному движению брезгливо. Им очень нравилось, когда П. Лавров на банкете, или Вера Засулич на митинге в Женеве, по случаю 50-летия со дня польского восстания 1830 г. произносили горячие речи, причисляя это восстание к лику мирового освободительного движения. Нравилась им постоянная защита польского дела. Газета "Dzennik Polski" в 1877 г. писала: "Московские революционеры нуждаются в поляках, как поляки в московских революционерах". Но этот альянс с террористами и нигилистами терпим был лишь в той мере, в какой его находили полезным национальным видам Польши. Самый же нигилизм и социализм представлялся ничуть не симпатичнее самодержавия и считался явлением одного с ним порядка – порождением духа варварской нации. В воспоминаниях старых революционеров можно прочесть о неприязненном отношении польских эмигрантов, проживавших в Швейцарии, к русской революционной молодежи – студентам и студенткам цюрихского университета. В том же Цюрихе, в польском музее основанном графом Платтером, где директором состоял Духинский, висела карта Европы с надписью пояснявшею, что "туранская Московщина" всегда была отмечена знаком неволи и коммунизма, тогда как "арийская Польша и Русь" – свободой и индивидуальностью.

Галицийские поляки и выпестованные ими "народовцы" иными взглядами на москалей, разумеется, не отличались. "Русский Сион" – орган униатского духовенства писал в 1877 г.: "Социализм и нигилизм распространены только в северной России, которая переполнена тайными организациями и завалена агитационными листками и брошюрами". Газета полагала, что ни в Малой Руси, ни в Галиции подобное невозможно. Это не мешало им в каждом "дияче" прибывавшем из Малороссии видеть возможного носителя революционной бациллы. Схидняки подвергались, своего рода, карантину. И вот оказалось, что у самого крупного украинского лидера – Драгоманова – она бацилла обнаружена. Драгоманова встретили жестоким огнем. В печати начали высказывать предположения о нем, как об агенте царского правительства. Пришли к заключению, что царизм в своих происках дошел до идеи разложения Галиции изнутри путем посылки туда украинских социалистов. "Сотки рублив видають на вигодне житье по метрополиях чужих, сотками оплачують далеки дороги, сотки видають на публикации...", – писала "Правда". Драгоманова форменным образом затравили, так, что он вынужден был бежать в Женеву. Против друзей его возбудили судебное преследование.

В 1877–1878 гг. во Львове состоялось несколько процессов "социалистов". На процессах выяснилось, что галичанам и их хозяевам полякам страшен был не социализм, как таковой. Поляки привыкли делить социализм и социалистов на плохих и хороших. Хорошими были те, что поддерживали помещичьи польские восстания, ратовали за возрождение старопанской Польши и не вели агитации среди крестьян. В этом смысле, больше всего привлекала их немецкая социал-демократия, высказывавшаяся наиболее горячо за восстановление польского государства. Но стоило кому-то из немцев подать идею об издании листка на польском языке для пропаганды социализма среди познанских поляков, как польская печать злобно ощерилась на вчерашних друзей.

Так и социализм Драгоманова не вызвал бы столь острой реакции, если бы отличался более или менее безразличной для поляков окраской. Но он был, как раз, антипольский, антипомещичий. Драгоманову, как историку и как малоруссу, был хорошо известен ложный характер польской шумихи в Европе. Он много возражал Марксу и марксистам, отождествлявшим национальное возрождение Польши с успехами мировой революции, и столь же энергично боролся против механического усвоения этого взгляда русскими марксистами и революционерами,

близкими к Первому Интернационалу. Польские восстания и вся национально-освободительная борьба поляков представлялись ему реакционными старопанскими бунтами с целью возродить осужденную историей феодальную Речь Посполиту, считавшуюся всегда "адам для крестьян", особенно инациональных. Запад, по его словам, знал только обращенное к нему лицо национально угнетенной Польши, но не замечал ее угнетательского лица на Восток, где она выступала паразитом чужих национальностей. Лозунг "за нашу и вашу свободу!" останется ложью, по мнению Драгоманова, до тех пор, пока поляки не откажутся считать "своими" литовские, латвийские, белорусские и украинские земли. В таком смысле он и развивал свои взгляды в Галиции. Дело национального освобождения украинцев в областях распространения польского землевладения понималось им, как борьба украинского крестьянства с панами. На львовском процессе 1877 г. оглашено было его письмо к Павлику, найденное при обыске у польского социалиста Котурницкого. В нем Драгоманов писал: "Польские социалисты должны с первого же раза заявить, что их целью никоим образом не может быть восстановление польского государства 1772 г., даже социалистического, но организация польского народа на польской земле, в связи с украинскими социалистами, которые организуют свой народ на его земле".

Не трудно представить впечатление, произведенное такими высказываниями на галицких поляков. Никакие самые злостные террористы и коммунисты не могли вызвать большего беспокойства. Народовству предстояло показать, в какой степени оно заслуживает доверия и способно ли выполнить возложенную на него миссию? Справилось оно со своей задачей превосходно: в статье "Прояви социалистични миж украинцями и их значинье", "Правда" заявила вполне определенно, что если приднепрянская интеллигенция успела подпасть под влияние таких "лжепророков", то галицкие ее друзья должны будут "з пекучим болем в сердцу... взяти розбрат" с своими закордонными коллегами, а вину за такой печальный конец возложить на самих лжепророков.

Сделавшись дважды эмигрантом, Драгоманов из Женевы следил за львовскими делами, вел через друзей "просветительскую" деятельность, вербовал сторонников и тратил много усилий, чтобы создать свою фракцию в народковском лагере. Под конец ему удалось образовать радикальную группу, но этот успех вряд ли стоил понесенных затрат. Группа так бледна была во всех своих проявлениях, состояла из такого негодного материала, что не пережила своего творца и была сведена на нет оппортунистом Грушевским. Драгоманов долго не терял надежды поладить с народковцами и полностью отдаться той работе, ради которой уехал из России. В 1889 году наступило что-то вроде амнистии. Он снова едет во Львов и принимает редактирование крупного народковского органа "Батькивщина".

Сотрудничество и на этот раз оказывается коротким. Через несколько месяцев он бросает работу и уезжает из Галиции, чтобы никогда в нее не возвращаться. По собственному его признанию, он старался избегать всего, что могло бы вызвать недовольство местных самостийников, но это оказалось не простым делом. Ему предложили либо отказаться от своих принципов и вести журнал так, как этого требовала народковская элита, либо сложить редакторские обязанности. Он избрал последнее. "Мне пришлось претерпеть ужасные муки в борьбе с народковцами", - признавался он впоследствии.

Драгоманов был не единственным, испытывавшим галицийское гостеприимство. Кулиш, уехавший туда в начале 80-х годов и проживший в Галиции около 3-х лет, тоже не мог сойтись с народковцами. В 1882 г. вышла во Львове его книга "Крашанка" - сплошной вопль отчаяния:

"O ribaldi flagitiosi! Я приехал в вашу подгорную Украину оттого, что на днепровской Украине не дают свободно проговорить человеческого слова; а тут мне пришлось толковать с телятами. Надеюсь, что констатируя факты способом широкой исторической критики, я увижу вокруг себя аудиторию получше. С вами же, кажется, и сам Бог ничего не сделает, такие уж вам забиты гвозди в голову".

Народовцы не только социализма не принимали, но ни о какой славянской федерации слышать не хотели. По словам Драгоманова, они не желали следовать, даже "казацко-украинскому народовству и республиканству". Иными словами, на идеи и лозунги, под которыми развивалось русское украинство, в Австрии был наложен интердикт. Патриотизму киевскому противопоставлен патриотизм львовский, и он считался истинным. Народовцы объявляли себя выразителями не

одних галицийских чаяний, но буковинских, карпаторосских и наднепрянских.

Если в Киеве носились с идеей объединения всех славян, в том числе и русских, то во Львове это означало государственное преступление, грозившее развалом цесарской империи. Вместо славянской федерации, здесь говорили о всеукраинском объединении. Практически это означало соединение Украины с Галицией. Мыслилось оно не на республиканской основе; народовцы были добрые подданные своего императора и никакой другой власти не хотели. Полагая, что конституция 1868 года открыла для них эру благоденствия, они хотели распространения его и на своих "закордонных" братьев украинцев.

Называться украинцами, а Галицию именовать Украиной, народовцы начали в утверждение своего права заботиться и болеть сердцем за этих братьев стонавших под сапогом царизма. Галичан и малороссов объявили единым народом, говорящим на одном языке, имеющим общую этнографию. Стали популяризировать неизвестных дотоле в Галиции малорусских поэтов и писателей – Котляревского, Квитку, Марко Вовчка, Шевченко. Эпизод 1876 года лишь на время поколебал треножник "Великого Кобзаря". Как только удалось принарядить его на польский манер и спрятать куда-то "несозвучные" с народовством стихи, он был восстановлен в своем пророчестве и апостольстве.

Приняв казачье имя Украины и украинцев, народовцы не могли не признать своим родным и казачьего прошлого. Его "республиканством" и "демократизмом" не восхищались, но его русофобия, его песни и "думы", в которых поносилась Москва, пришлись вполне по душе. Стали создавать моду на все казачье. Как всякая мода, она выражалась во внешности. По львовским улицам начали, вдруг, разгуливать молодые люди одетые то ли кучерами, то ли гайдуками, вызывая любопытство и недоумение галичан, никогда не знавших казачества. Позднее, в сельских местностях стали возникать "Сечи". Так именовались добровольные пожарные дружины. Каждая такая Сечь имела своего "кошевого атамана", "есаула", "писаря", "скарбника", "хорунжого" и т. д. Тушение пожаров было делом второстепенным; главное занятие состояло в церемониях, в маршировках, когда во главе отряда таких молодцов в синих шароварах шел "атаман" с булавой, трубил "сурмач", а "хорунжий" нес знамя. Этим достигалось воспитание в соборно-украинском духе.

Никому, однако, в голову не приходило идти в своих казачьих увлечениях дальше костюма, особенно во всем, что касалось запорожского отношения к государственной власти и к Польше. По словам Драгоманова, народовская партия "не только мирилась с австро-польской правительственной системой, но сама превращалась в правительственную". Всякая тень агитации либо выпадов против Австро-Венгрии и Польши устранялась из ее деятельности.

Австрийским министрам никогда не писали таких "открытых писем", как адресованное русскому министру внутренних дел Сипягину и напечатанное во Львове в 1900 году: "Українська нація мусит добути собі свободу, хоч бы захиталась цила Росія. Мусить добути своє визволення з рабства національного и политичного, хоч бы полилися рики крови" {172}. По всем высказываниям "народовцев" выходило, что Россия единственный угнетатель племен "соборной Украины". Напечатав в том же 1900 году брошюру Н. Михновского "Самостийна Украина", провозглашавшего ее "вид гир Карпатських аж по Кавказки", они ни словом не обмолвились о том, что для образования столь пространной державы препятствием служит не одна Россия. Элементарный политический такт требовал, чтобы для той части ее, что помещалась возле "гир Карпатських", указан был другой национальный враг. Между тем, ни австрийцы, ни венгры, ни поляки в таких случаях не назывались.

Достоинно внимания, что и в наши дни галицийские панукраинцы, отзывающиеся с такой злобой о старой России, совершенно не упоминают Австрию в числе исторических врагов украинской культуры и незалежности. В популярных историях своего края, вроде "Истории Украины з иллюстрациями" {173}, цесарское правительство даже превозносится за учреждение школ "з немецкою мовою навчення". Благодаря этим школам, просвещение в крае сделало такие большие успехи, что "все те впливало (влияло) на культуру нашого народу, и так почалося наше національне видродження". И на той же странице – яростная брань по адресу русских царей, которые "завели московский устрий, московски школы, та намагались завести російську мову замість української". Нет числа возмущенным возгласам по поводу указа Валуева об украинском языке, но ни один галичанин не отозвался соответствующим образом о заключении правительственной австрийской комиссии, высказавшейся в 1816 г. о

галицийском наречии, как совершенно непригодном для преподавания на нем в школах, "где должно подготавливать людей образованных".

Получалась картина: люди боролись не за свое собственное национальное освобождение и не с государством их угнетавшим, а с чужим государством, угнетавшим "закордонных братьев". "Пропала славна Украина – клятый москаль орудие".

Гей москалю бисыв сыну,
Чортова дытыно,
Погубивесь ты свит цилый,
Цилу Украину.

Ничего, что стихи эти принадлежат не русину, а поляку Паулину Свенцицкому, они были "в самый раз" и задавали тон народовской прессе. Подхватывая их, журнал "Вечерница" писал: "Москали топчут на Украине правду и свободу, но пусть боятся малороссов: придет Божий суд, и когда-нибудь малороссы от Карпат до Кавказа сотворят такие поминки, что будет памятно внукам и правнукам". Это перевод стихов Ксенофонта Климковича. Столь же агрессивен этот писатель и в прозе. "Малорусский народ имеет на востоке Европы свою особую миссию: западные славяне вместе с малороссами начнут борьбу против северного опекуна и отбросят его на восток... к Пекину". Владимир Шашкевич призывал "славянскую Австрию" отбросить Москву на Север, "ибо Москва – опаснейший и грознейший враг прочих славян: она хуже Турции гнетет братние славянские народы" {174}.

Программный характер таких высказываний засвидетельствован, впоследствии, обществом "Просвита", поставившим Климковичу и Шашкевичу в заслугу, приготовление "грунта до дальшой, услышнейшой работы на народном поли".

Из всех ненавистников России и русского народа галицийские панукраинцы заслужили в настоящее время пальму первенства. Нет той брани, грязи и клеветы, которую они постеснялись бы бросить по адресу России и русских. Они точно задались целью все скверное, что было сказано во все времена о России ее врагами, сконцентрировать и возвести в квадрат. Что русские не славяне и не арийцы, а представители монголо-финского племени, среди которого составляют самую отсталую звероподобную группу, что они грязны, вшивы, ленивы, трусливы и обладают самыми низменными душевными качествами – это знает каждый галицийский самостийник с детского возраста. Какой-то профессор Г. Ващенко, в журнале "Ридне Слово" (№ 9-10 за 1946 г.), размышляя о "психологичних причинах недоли украинського народу", усмотрел эту "недолю" в соседстве с русскими, от которых украинцы, отличавшиеся всегда "духовным аристократизмом", невольно набрались рабских плебейских замашек, потому что русские с их преклонением перед жестокой и сильной властью – прирожденные рабы". "Низкопоклонство, подхалимство, неискренность – вот свойства типичного русского". В мюнхенском журнале "Seowo Polskie" от 18 мая 1946 г. появилось открытое письмо в редакцию галичанина, не пожелавшего поставить под ним своей подписи.

Письмо начинается с того, что автора чуть не хватил удар, когда он прочел в одном из предыдущих номеров того же журнала сочувственные строки о взаимной симпатии и приязни между польским и русским народами. "Неужели еще в Польше никто не догадался, что этот восточный империалист, в котором так мало славянского и столь много азиатского – враг польский № 1? Неужели действительно существует кто-либо в Польше, кто еще верит в дружбу или испытывает потребность дружбы с этим народом славяно-финско-монгольских бастардов?" По словам безымянного автора, лучше бы думать не о дружбе, а о том, как совместно с другими народами, пострадавшими от русских, "загнать их куда-нибудь за Урал и вообще в Азию, откуда эти приятели прибыли на несчастье человеческого рода"... Автор советует полякам дружить не с русскими, а с украинцами, потому что "можно пройти весь свет и не найти двух народов, более похожих друг на друга, чем польский и украинский". "Этнографическая граница между ними проходит – посередине их брачного ложа". Объединяет их и общеславянская миссия, как "самых чистых и самых старших представителей древней славянской культуры". К своему высокому обществу они могли бы привлечь разве только чехов. Вкупе с чехами они составили бы ядро "той чудесной коалиции, которая образуется между Балтийским морем, Адриатикой и Черным морем, и которая будет достаточно мощной, чтобы держать на поводу бастардов славяно-германских (пруссаков) на западе и бастардов

славяно-финско-монгольских, пруссаков востока". Чтобы не быть превратно истолкованным и не дать повода думать об антибольшевистском крестовом походе, автор поясняет: "Когда говорят "антибольшевистский блок угнетенных народов", то мыслят блок анти-русский. Не в большевизме суть, она лежит в другом, а именно - в опасном русском империализме, который извечно угрожал обоим нашим народам. И поэтому наша борьба должна направляться не только против большевизма, но против всякой империалистической России, России большевистской и царской, России фашистской и демократической, России панрусистской и панславистской, России буржуазной и пролетарской, России верующей и неверующей... России Милюкова и России Власова, вообще против России, которая уже сама по себе синоним империализма".

Интересна здесь не злоба, пышущая из каждой строчки, а причина злобы. Откуда она? Быть может, это результат занятия Галиции советскими войсками, или короткой оккупации ее русской армией в 1914 году? Но если допустить такую версию, то чем объяснить, что вся теперешняя русофобия галичан - простое повторение того, что они писали еще в XIX веке и до первой мировой войны, когда никакой русской власти в глаза не видели и, следовательно, не имели оснований быть ею недовольными? Расовые теории и яростная брань по адресу России насчитывают добрую сотню лет своего существования. Они, безусловно, не местного русинского, а иноземного корня. Перед нами - любопытный случай пересадки идеологии с одной национальной почвы на другую. Русофобия, в том виде, в каком ее исповедуют сейчас галицийские шовинисты, была получена в законченном виде от поляков. Насадив общеукраинское движение в Галиции, поляки снабдили его и готовой идеологией. К восприятию ее галичане подготовлены еще со времен Унии, когда им внушали, будто не они отступники от грекоправославной Церкви, а эта последняя представляет собой схизму, тогда как истинными сынами православного греческого вероисповедания могут считаться только униаты.

Нам приходилось уже обращать внимание на исключительную по энергии пропаганду, развитую поляками в Малороссии после ее присоединения к России и на старание поссорить малороссов с царским правительством. В горниле этой кипучей деятельности выработалась постепенно вся сумма воззрений на русских и на украинцев, которая в XIX веке была систематизирована, получила наукообразную форму и вручена была галичанам, как евангелие украинского национального движения. Выработка этой теории связана с именем польского профессора Духинского.

Франциск Духинский родился в 1817 г. и по происхождению был малоросс, хотя уже родители его оказались захвачены польским патриотизмом и польскими устремлениями. Выросший настоящим поляком, он с молодых лет интересовался русско-польскими отношениями в древности и писал в конце 30-х годов какая-то сочинения на эту тему. Эмигрировав, он поселился в Париже, потом в Швейцарии, жил в Италии, в Константинополе, потом опять в Париже, где стал профессором местной польской школы. Известность приобрел своими парижскими публичными лекциями по польской истории, в которых и развил знаменитую теорию о взаимных отношениях славянских племен. Успех его чтений среди французов был исключительный и объяснялся, кроме обычного для них невежества в вопросах славистики, также и русофобией, широко распространенной в тогдашней Франции. Исторические опусы свои Духинский напечатал в 1847-1848 г. г. в одном из польских изданий в Париже, а в 1858-1861 г. г. выпустил в виде трехтомного труда под заглавием "Zasady dziej w Polski i innych kraj w Slowianskich".

Труд этот давно забыт и ни одним ученым всерьез не принимается. Интересен он только как документ общественно-политической мысли своего времени. Излагая взаимоотношения поляков с прочими славянскими народами в прошлом, автор наибольшее внимание уделяет Руси. Русь, по его словам, представляет простую отрасль, разновидность народа польского; у них одна душа, одна плоть, а язык русский - только диалект, провинциальное наречие польского языка. Конечно, под Русью надлежит разуметь не тот народ, который себя называл этим именем в XIX веке - не москвитов. Русь - это галицкие русины и малороссы, которые только и достойны называться русским именем, тогда как современные русские присвоили это имя незаконно и в старину назывались москвитами и москалями. Произошло это присвоение сравнительно недавно, с тех пор, как москвиты захватили часть "русских" (украинских) территорий с их населением.

Екатерина Вторая высочайшим повелением даровала московскому народу имя русского и запретила называться древним именем "москвитян". В этом сказался, как бы, стыд варвара, вступившего в высшее культурное общество и захотевшего украсить себя именем благородного народа, спрятав свое хамское дикое имя подальше. В то время как русские, т. е. русины - чистые славяне, москали ничего общего со славянством не имеют. Это народ азиатский, принадлежащий к финско-монгольскому племени, и только слегка ославянившийся под влиянием русских (украинцев). Духинский категорически отрицает за москалями арийское происхождение, относя их к туранской ветви народов. Отсюда выводятся все низкия умственные и нравственные качества москалей и все ничтожество их культуры.

Большая часть польских образованных кругов приняла теорию Духинского с восторгом и повторяла ее на все лады. Во Львове в 1882 г. вышла книга некоего Вестронного "Przestroga Historji" (предостережение истории), где автор рассыпается изумительными вариациями на тему Духинского. По его словам, из 90 миллионов жителей Российской Империи, только четвертая часть говорит языком российским, и притом начала говорить им "не дальше, как сто лет тому назад". По словам автора, этот язык, происходящий от славянского языка, распространился вместе с религией среди народов московского государства еще тогда, когда в них не было ни капли славянской крови. "Жители империи особой московской народности не имели, мужества называться тем, чем они были в действительности, не имели мужества называться москалями, им казалось, что это оторвет их от Европы... В удивительном смешном ослеплении они думали, что имя москаля тождественно с варваром и что название их россиянами защитит их от укоров в варварстве. Им казалось, что Европа не знает о том, что делается в этой России, а хотя бы и знала - они лучше хотели быть варварами европейскими, чем достойным, свободным народом московским, хотели лучше угнетать и быть угнетаемыми, чем принять название москалей и признать себя финско-монгольским племенем, они назвали славянами".

Произведений, подобных этому, появилось множество, благодаря чему теория Духинского приобрела широкую известность, не только в польских землях, но и за границей. Она была воспринята французским историком Анри Мартеном и по причине полной неосведомленности европейцев о России долго процветала во Франции, как "научная". Понадобился авторитет Рамбо, чтобы вывести французскую науку из недостойного положения.

Русские украинофилы встретили учение Духинского отрицательно. В 1861 году, в ответ на появившуюся в сентябрьском выпуске "Revue Contemporaine" статью "La verit sur l' esprit russe", Костомаров напечатал в "Основе" отповедь "Правда полякам о Руси" с возражениями на исторические рассуждения Духинского.

Совсем иначе отнеслись к духинщине галицийские панукраинцы. Для них она явилась той идейной манной, на которой они возросли и которой питаются до сих пор. Они пошли на выучку к польскому шовинизму. Наибольшим успехом он пользовался именно во Львове - столице Галиции. Здесь собралась наиболее рьяно, наиболее гонорово настроенная часть польских националистов, главным образом, участников неудавшегося восстания 1863 г.

Кичливая заносчивость при жалком положении, позерство, самовыхваление, путчизм, страсть к заговорам и баррикадам, непрестанный барабанный бой в речах и в печатных выступлениях снискали им, даже у самих поляков, прозвание "трумтадратов". Эта группа никогда не ломала головы над размышлениями об излечении вековых болезней своей страны, дабы подготовить ее организм к возрождению. Она и слышать не хотела об этом, но бранила Россию на чем свет стоит, считая ее главной виновницей польских разделов. Чем крепче обругать, чем глубже унижить ее в своих речах, тем ближе казался день возрождения Польши. Духинский стал их кумиром, а Львов местом пышного цветения его теории. К ней присоединили и "Историю Русов". Сам Духинский высоко ценил это произведение. В своей книге "Peuples Aryas et Tourans", вышедшей в Париже в 1867 г., он назвал его "обвинительным документом против Москвы".

Национальная доктрина "Украинского Пьемонта" ясна: быть украинцем, значит быть антирусским. "Если у нас идет речь об Украине, то мы должны оперировать одним словом - ненависть к ее врагам... Возрождение Украины синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сестрам кацапам, к своим отцу и матери кацапам. Любить

Украину значит пожертвовать кацапской родней" {175}. О том, к каким страстям и настроениям апеллировал этот лозунг в самой Украине и как это отразилось на днепровском национализме, скажем в следующей главе. Здесь же упомянем, хоть вкратце, о заключительном этапе галицкого народовства.

С началом первой мировой войны, оно проявило свое лицо созданием отрядов австрийских янычар, под именем Сечевых Стрельцов, а также всевозможных шпионско-диверсантских организаций типа "Союза Вызволения Украины", работавших в пользу Австрии против России. Но мировая война кончилась крахом Австрийской Империи и полным переворотом в судьбе Галиции. Она оказалась, как полтораста лет тому назад, в составе возродившейся Речи Посполитой. Поляки сделали теперь не краевой, а государственной властью для русин; все их поведение резко изменилось. Возродились религиозные и национальные притеснения в формах, напоминающих XVIII век. Изменилось, разумеется, и отношение к народовской партии. Она им стала не нужна. Кое-что в ее практике допускалось как приманка для подсоветских украинцев, но во всем остальном она было стеснена и ограничена. Два бывших союзника превращались постепенно во врагов.

Но тут и сказалась сила инерции. Несмотря на то, что Польша стала, отныне, врагом номер 1 и яростным угнетателем галичан, национальная идеология "Украинского Пьемонта" осталась, как прежде, заостренной не против нее, а против Москвы. Переменить или преобразовать ее галичане оказались неспособны. Они пронизали ею всю свою печать, труды и учебники по украинской истории и подчинили ей систему воспитания молодого поколения. Детям самого нежного возраста внушали расово-ненавистнические взгляды на москалей, целые поколения оказались воспитанными в принципах духинщины и трумтадратства.

Не изменила их и вторая мировая война, снова уничтожившая независимую Польшу. Уйдя в эмиграцию, народовство осталось верным до сего дня духовному наследию 70-х и 80-х годов.

"Формальный национализм"

Мы здесь не пишем истории самостийничества. Наша задача – проследить, как создалось его "идейное" лицо. На Украине, к концу 70-х и в 80-х годах, оно совсем было утрачено. Перестав быть частью революционного или, по крайней мере, "прогрессивного" движения, украинство не знало, чем ему быть дальше. Лучшая часть "Громады" продолжала заниматься учеными трудами, писала стихи и романы, но огня, оживлявшего деятельность первых украинофилов от Рылеева и кирилло-мефодиевцев до Драгоманова, не было. Зато возник угарный чад, какой исходит от тлеющих углей после того, как пламя потухнет. Начался безыдейный украинизм, не ищущий себе смысла и оправдания. В отличие от своего предшественника он не задавался вопросом: зачем надо было внушать малороссийскому крестьянину, что он – "окрема" национальность, зачем надо было обучать его в школе не на общерусском письменном языке, а на разговорной мове? Костомаров и Драгоманов имели на этот счет обоснованное суждение, исходившее из соображений социального и политического прогресса. Никаких таких соображений у последующих украинофилов не было. Их логика проста: раз нас "пробудили" и назвали украинцами, особой национальностью, так надо и быть ею, надо, как все порядочные нации, обладать своей территорией, своим государством, языком, национальным флагом и своими послами при иностранных дворах.

Народился тип националиста, готового мириться с любым положением вещей, с любым режимом, лишь бы он был "свой" национальный. От 70-х и 80-х годов тянется нить к тому эпизоду 1919 г., когда один из членов Директории на заседании Украинской Рады заявил: "Мы готовы й на совитьску владу, аби вона была українська". Никто тогда оратору "не заперечил" и, впоследствии, многие видные деятели самостийничества, во главе с М. Грушевским, перешли к большевикам, удовлетворившись внешней национальной формой советской власти на Украине.

Проф. Корсаков рассказывает в своих воспоминаниях {176} о киевской молодежи, которая в 70-х годах группировалась вокруг Костомарова. Молодые люди любили и почитали его, называли "дидом", но в их обращении с ним

заметна была ласковая снисходительность, какая бывает иногда к милым, но выжившим из ума старичкам. Чувствовалось, что его чтят за прежние заслуги, но всерьез не принимают. Он высказался против искусственного создания нового литературного языка – ему на это не возразили, но язык продолжали сочинять с удвоенной энергией. Он предостерег от увлечения распространенным в Галиции учением Духинского, насыщенным ненавистью к москалям, – ему опять ничего не возразили, но национальная доктрина все более проникалась идеями Духинского. Он пользовался каждым случаем, чтобы заявить об отсутствии у украинского движения намерения отделить свой край от России или даже посеять семена розни между двумя братскими ветвями русского племени – а украинское движение в это время делало все, чтобы заложить основу такой розни. Напрасно он уверял весь мир, будто украинофильство ничего не ищет, кроме умственного, духовного и экономического развития своего народа, – он говорил только за самого себя. Воспитанному им юношеству уже тогда грезилась возрожденная рада, гетманы, бунчуки, червонные жупаны и весь реквизит казачьей эпохи.

Драгоманов, строго осуждавший такой образ мыслей, прозвал его "формальным национализмом". Его насаждение шло параллельно с ростом нового поколения и с превращением украинского самостийничества в провинциальный отголосок галицкого народовства. Кто не принял запрета наложенного на антиавстрийскую и антипольскую пропаганду, не дал ясных доказательств своей русофобии, кто не поцеловал туфли львовского ультрамонтанства, тот как бы отчислился от самостийничества.

Люди нового склада, не державшиеся ни за социализм, ни за космополитизм, полуобразованные, не чувствовавшие уз, что связывали прежних украинофилов с русской культурой, начали целовать эту туфлю и говорить о России языком Духинского.

Это они были теми "масками, размахивавшими картонными мечами", о которых писал Драгоманов. Еще в 70-х годах они развили подозрительную деятельность по ввозу галицийской литературы в Малороссию. Они же поставляли ложную информацию галичанам, внушая миф о существовании проавстрийской партии на Украине. Впоследствии, к началу 900-х годов, когда эти люди вышли на передний план, в них уже трудно было распознать малороссов. Многие отреклись от своих учителей, осудили их, назвав "поколением белых горлиц" – прекраснородных, но абсолютно недейственных. Они преисполнялись боевого пыла, требовали рек русской крови, беспощадной борьбы с московщиной.

Вождем этого поколения и наиболее последовательным выразителем формального национализма стал Михаил Сергеевич Грушевский – питомец киевского университета, ученик проф. В. Б. Антоновича. Он сделался тем идеологом безыдейности, которого недоставало формальному национализму. Он же блестяще выполнил задачу слияния днепровского украинства с львовским народовством, будучи одинаково своим и на Украине, и в Галиции. Человек он был, безусловно, талантливый, хотя вождем самостийничества его сделали не идея, не новые оригинальные лозунги, а большие тактические и маневренные способности. Только этими способностями и можно объяснить, что он, прошедший киевскую громадянскую (почти драгомановскую) школу, переселившись в 1894 году в Галицию, не только был там хорошо принят, но занял руководящее положение, стал председателем Наукового Товариства им. Шевченко и в течение 20 лет оставался признанным вождем общеукраинского движения. Выполняя программу и начертания народовцев, он сумел сохранить себя чистым от налета "австро-польской Победоносцевщины" и не оттолкнуть группы радикалов – последователей Драгоманова, численно незначительных, но пользовавшихся симпатиями заграничей. Он решился даже на союз с ними при выборах в Рейхстаг в 1897 г., и это не отразилось на благоволении к нему матерых народовцев.

Через два года он основал вместе с Романчуком партию, которая хоть и состояла из элементов, мало чем отличавшихся от последователей Барвинского, но носила название "Народно-Демократической". И опять это название прикрыло его от нареканий слева, а в то же время практика партии, особенно "дух" ее, вполне удовлетворяли барвинчиков.

Новая партия пошла, по выражению Грушевского, "по равнодействующей между консервативным и радикальным направлениями". Это была наиболее удобная для самого Грушевского позиция. Она и на Украине, и среди русской революционной интеллигенции не создала ему репутации реакционера, а в Галиции избавила от обвинений в нигилизме и социализме.

Конечно, он дал все доказательства лояльности в отношении Польши и

Австрии и соответствующей ненависти к России. Она ясно видна в его статье "Українсько-руське літературне відродженне", появившейся в 1898 г., где он мечтает о "прекрасном дне, когда на украинской земле не будет врага супостата" {177}; но особенно много клеветы и поношений России содержится в его статье "Die Kleinrussen", напечатанной в сборнике "Russen ber Russland", вышедшем во Франкфурте в 1906 г.

Если враждебных выпадов его против России можно насчитать сколько угодно, то трудно привести хоть один направленный против Австро-Венгрии. Особого внимания заслуживает отсутствие малейшего осуждения Духинщины. Препре "поколение белых горлиц" не по одним научно-теоретическим, но и по моральным соображениям отвергло это расово-ненавистническое учение. Грушевский ни разу о нем не высказался и молчаливо принимал, тесно сотрудничая с людьми, взошедшими на дрожжах теории, которой так удачно воспользовался в наши дни Альфред Розенберг.

По отношению к России, Грушевский был сепаратистом с самого начала. Сам он был настолько тонок, что ни разу не произнес этого слова, благодаря чему сумел прослыть в России федералистом типа Драгоманова. Даже летом 1917 года, когда образовалась Центральная Украинская Рада и тенденция ее основателей ясна была ребенку, многие русские интеллигенты продолжали верить в отсутствие сепаратистских намерений у Грушевского. Кое-кто и сейчас думает, что будь Временное Правительство более стоворчиво и не захвати большевики власть, Грушевский никогда бы не встал на путь отделения Украины от России. И это несмотря на то, что он летом 1917 г. выдвинул требование выделения в особые полки и части всех украинцев в действующей армии. Еще в 1899 г., в Галиции, при создании "Национально-Демократической Партии", он включил в ее программу тезис: "Нашим идеалом должна быть *Независимая Русь-Украина*, в которой бы все части нашей нации соединились в одну современную культурную державу" {178}. Отлично понимая невозможность немедленного воплощения такой идеи, он обусловил его рядом последовательных этапов. В статье "Украинский Пьемонт", написанной в 1906 году, он рассматривает национально-территориальную автономию, "как минимум, необходимый для обеспечения ее свободного национального и общественного развития" {179}.

Все, что происходило на Украине в годы революции, имело своим источником львовскую выучку Грушевского. Он больше, чем кто-либо, оказался подготовленным к руководству событиями 1917 г. в Малороссии.

Главным делом жизни этого человека, над которым он неустанно работал, был культурный и духовный раскол между малороссийским и русским народами. То было выполнение завещаний Духинского и "Истории Русов".

Началось с "правописания". Это было еще до Грушевского. В течение тысячи лет, малороссы и все славяне, за исключением католицизированных поляков и чехов, пользовались кириллицей. Лингвистами давно признано, что это лучшая из азбук мира, наиболее совершенно передающая фонетику славянской речи. Ни одному малороссу в голову не приходило жаловаться на несоответствие ее букв звукам малороссийского говора. Не было жалоб и на типографский "гражданский" шрифт, вошедший в обиход со времени Петра Великого. Но вот с середины XIX века начинается отказ от этой азбуки. Начинателем был Кулиш, в период своего неистового украинофильства. "Кулешовка", названная его именем, представляла ту же старую русскую азбуку, из которой изгнали, только, букву "ы", заменив ее знаком "и", а для восполнения образовавшейся пустоты расширили функцию "и" и ввели неизвестный прежде алфавиту знак "и". Это та азбука, которая узаконена сейчас в СССР. Но в старой России ее запретили в 90-х годах, а для Галиции она с самого начала была неприемлема по причине слишком робкого отхода от русского алфавита.

Русское правительство и русская общественность, не понимавшие национального вопроса и никогда им не занимавшиеся, не вникали в такие "мелочи", как алфавит; но в более искусенной Австрии давно оценили политическое значение правописания у подчиненных и неподчиненных ей славян. Ни одна письменная реформа на Балканах не проходила без ее внимательного наблюдения и участия. Считалось большим достижением добиться видоизменения хоть одной-двух букв и сделать их непохожими на буквы русского алфавита. Для этого прибегали ко всем видам воздействия, начиная с подкупа и кончая дипломатическим давлением. Варфоломей Копитар, дворцовый библиотекарь в Вене, еще в 40-х годах XIX века работал над планом мирной агрессии в отношении России. Он ставил задачей, чтобы каждая деревня там писала

по-своему. Вот почему в своей собственной Галиции не могли довольствоваться ничтожной "кулешовкой". Возникла мысль заменить русскую азбуку фонетической транскрипцией. Уже в 70-х годах ряд книг и журналов печатались таким образом.

Фонетическая транскрипция употребляется, обычно, либо в научно-исследовательской работе, либо в преподавании языков, но ни один народ в Европе не заменял ею своего исторически сложившегося алфавита.

В 1895 г., Науковое Товариство им. Шевченко, при поддержке народных лидеров Гардера и Смаль-Стоцкого, ходатайствует в Вене о введении фонетической орфографии в печати и в школьном преподавании. Мотивировка ходатайства была такова, что заранее обеспечивала успех: Галиции "и лучше и безопаснее не пользоваться тем самым правописанием, какое принято в России".

Москвофильская партия, представлявшая большинство галицийского населения, подняла шумный протест, требуя сохранения прежней орфографии. Но венское правительство знало, что ему выгоднее. Победило народное меньшинство и с 1895 г. в Галиции и Буковине министерство народного просвещения официально ввело "фонетику". Даже поляк Воринский (далеко не руссофил) назвал это "чудовищным покушением на законы лингвистики" {180}.

В недавно появившемся очерке жизни и деятельности доктора А. Ю. Геровского рассказано, какими грубыми полицейско-административными мерами насаждалось фонетическое правописание в Буковине и в Закарпатской Руси {181}.

Что же до галицийской читающей публики, то она, как рассказывает И. Франко, часто возвращала газеты и журналы с надписями: "Не смийте мени присылати такой огидной макулатуры". Или: "Возвращается обратным шагом к умалишенным" {182}.

Правописание, впрочем, не главная из реформ задуманных Науковым Товариством. Вопрос стоял о создании заново всего языка. Он был камнем преткновения самых пылких националистических страстей и устремлений. Как в России, так и в Австрии самостийническая интеллигенция воспитана была на образованности русской, польской, немецкой и на их языках. Единого украинского языка, даже разговорного, не существовало. Были говоры, порой, очень сильно отличавшиеся друг от друга, так что жители отдельных частей соборной Украины не понимали один другого.

Предметом самых неустанных забот, впрочем, был не разговорный, а литературный язык. Малороссия располагала великолепным разработанным языком, занявшим в семье европейских языков одно из первых мест. Это русский язык. Самостийники злонамеренно, а иностранцы и некоторые русские по невежеству, называют его "великорусским".

Великорусского литературного языка не существует, если не считать народных песен, сказок и пословиц, записанных в XVIII-XIX веке. Тот, который утвердился в канцеляриях Российской империи, на котором писала наука, основывалась пресса и создавалась художественная литература, был так же далек от разговорного великорусского языка, как и от малороссийского. И выработан он не одними великоруссами, в его создании принимали не меньшее, а может быть большее участие малороссы. Еще при царе Алексее Михайловиче в Москве работали киевские ученые монахи Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский и другие, которым вручен был жезл литературного правления. Они много сделали для реформы и совершенствования русской письменности. Велики заслуги и белорусса Симеона Полоцкого. Чем дальше, тем больше юго-западные книжники принимают участие в формировании общерусского литературного языка - Дмитрий Ростовский, Стефан Яворский, Феофан Прокопович. При Петре наплыв малороссов мог навести на мысль об украинизации москалей, но никак не о руссификации украинцев, на что часто жалуются самостийники.

Южнорусская письменность в XVII веке подверглась сильному влиянию Запада и восприняла много польских и латинских элементов. Все это было принесено в Москву. В свою очередь, киевские книжники не мало заимствовали от приказного московского языка, послужившего некоторым противоядием против латинизмов и полонизмов. Получившееся в результате языковое явление дало повод львовскому профессору Омеляну Отоновскому утверждать, будто реформаторская деятельность малороссийских книжников привела к тому, что уже "можно было не замечать никакой разницы между рутенским (украинским) и московским языками" {183}.

Еще в 1619 г. вышла в Евью та грамматика этого языка, написанная

украинским ученым Мелетием Смотрицким, по которой свыше полутора столетий училось и малороссийское, и московское юношество, по которой учились Григорий Сковорода и Михайло Ломоносов. Ни тому, ни другому не приходило в голову, что они обучались не своему, а чужому литературному языку. Оба сделали крупный вклад в его развитие. В Московщине и на Украине, это развитие представляло один общий процесс. Когда стала зарождаться светская поэзия и проза, у писателей тут и там не существовало иной литературной традиции, кроме той, что начинается с Нестора, с митрополита Иллариона, Владимира Мономаха, Слова о Полку Игореве, "житий", "посланий", той традиции, к которой относятся Максим Грек, Курбский и Грозный, Иоанн Вишенский и Исаия Ковинский, Мелетий Смотрицкий и Петр Могила, Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий, Ин. Гизель с его "Синописом", Сильвестр Медведев и Дмитрий Ростовский. Когда Богданович писал "Душеньку", Капнист "Ябеду" и "Оду на рабство", когда Гнедич переводил Илиаду – они создавали "российскую", но отнюдь не москальскую словесность. Ни Пушкин, ни Гоголь не считали свои произведения достоянием "великорусской" литературы. Как до, так и после Гоголя, все наиболее выдающееся, что было на Украине, писало на общерусском литературном языке. Отказ от него означает духовное ограбление украинского народа.

В самом деле, если уже в XVII и XVIII веках не было разницы между украинским и московским, как утверждает О. Огоновский, то не означает ли это существования языкового единства? Выбрасывая за борт московский, можно ли было не выбросить украинского? Полонофильствующее народовство готово было выбросить что угодно, лишь бы не пользоваться тем же языком, что Россия, а украинцы "со всхода" слишком страдали комплексом национальной неполноценности, чтобы не поддаваться этому соблазну. Их не отрезвили даже примеры Германии и Австрии, Франции и Бельгии, Испании и Южной Америки, чьи независимые государства существовали и существуют, несмотря на общность языков.

Началось лихорадочное создание нового "письменства" на основе простонародной разговорной речи, почти сплошь сельской. Введение ее в литературу – не новость. Оно наблюдалось еще в XVII веке у киевского монаха Оксенича-Старушича, переходившего иногда в своих устных и письменных проповедях на простонародную мову. Так делал в XI веке и новгородский епископ Лука Жидята. Практиковалось это в расчете на большую понятность проповедей. "Энеида" Котляревского написана, как литературный курьез, Квитка-Основьяненко, Гулак, Марко Вовчек – не более как "опыты", не претендовавшие на большую литературу и не отменявшие ее. Они были экзотикой и лишь в этой мере популярны. Не для отмены общерусской письменности упражнялись в сочинениях на "мове" и столпы украинского возрождения – Костомаров, Кулиш, Драгоманов. У первых двух это объяснялось романтизмом и к старости прошло. У Костомарова не только прошло, но превратилось в род страха перед призраком намеренно сочиненного языка. Такой язык не только задержит, по его мнению, культурное развитие народа, но и души народной выразить не будет. "Наша малорусская литература есть исключительно мужицкая", – замечает Костомаров, имея в виду Квитку, Гулака-Артемовского, Марко Вовчка. И "чем по языку ближе малороссийские писатели будут к простому народу, чем менее станут от него отдаляться, тем успех их в будущем будет вернее". Когда же на язык Квитки и Шевченко начинают переводить Шекспиров, Байронов, Мицкевичей – это "гордыня" и бесполезное занятие. Интеллигентному слою в Малороссии такие переводы не нужны, "потому что со всем этим он может познакомиться или в подлинниках или в переводах на общерусский язык, который ему так же хорошо знаком, как и родное малорусское наречие". Простому мужику это еще меньше нужно; он вообще не дорос до чтения Шекспира и Байрона, а для перевода этих авторов нехватает в его языке ни слов, ни оборотов речи. Их нужно заново создавать. К такому же обильному сочинительству слов должны прибегать и те авторы, что желают писать по-малороссийски для высокообразованного читателя. В этом случае отступление от народного языка, его искажение и умерщвление неизбежно. "Любя малорусское слово и сочувствуя его развитию, – заявляет Костомаров, – мы не можем, однако, не выразить нашего несогласия со взглядом господствующим, как видно, у некоторых малорусских писателей. Они думают, что при недостаточности способов для выражения высших понятий и предметов культурного мира, надлежит для успеха родной словесности вымышлять слова и обороты и тем обогащать язык

и литературу. У пишущего на простонародном наречии такой взгляд обличает гордыню, часто суетную и неуместную. Создавать новые слова и обороты – вовсе не безделица, если только их создавать с надеждою, что народ введет их в употребление. Такое создание всегда почти было достоянием великих дарований, как это можно проследить на ходе русской литературы. Много новых слов и оборотов вошли во всеобщее употребление, но они почти всегда появлялись вначале на страницах наших лучших писателей, которых произведение и по своему содержанию оставили по себе бессмертную память. Так, много слов и оборотов созданы Ломоносовым, Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Гоголем... Но что случилось с такими на живую нитку измышленными словами, как "мокроступы", "шарокаталище", "краткоодежие", "четвероплясие" и т. п.? Ничего кроме позорного бессмертия, как образчика неудачных попыток бездарностей! С сожалением должны мы признаться, что современное малорусское писательство стало страдать именно этой болезнью и это тем прискорбнее, что в прежние годы малорусская литература была чиста от такой укоризны. По крайней мере, у Квитки, Гребенки, Гулака-Артемовского, Шевченко, Стороженко, Марко Вовчка, едва ли найдется что-нибудь такое, о чем бы можно было с первого раза сказать, что малорус так не выразится" {184}.

Неодобрительно относился к искусственному созданию "литерацкой мовы" и Драгоманов, несмотря на то, что был одним из самых горячих протестантов запретительного указа 1876 года. Никто, кроме него же самого, не представил эти протестующие жесты в более невыгодном свете. В своих "Листах до наддніпрянской України", писанных в 1893 г., за два года до смерти, он делает такая признания, обойти которые здесь невозможно {185}. Он рассказывает, что еще в 1874-1875 г., в Киеве, задумано было издание серии популярных брошюр энциклопедического характера, на украинском языке. За дело принялись горячо и на квартире у Драгоманова каждую неделю происходили совещания участников предприятия. Но тут и выяснилось, что никто, почти, не умеет писать по-украински. На этом языке печатались, до тех пор, только стихи и беллетристика, но ни научной, ни публицистической прозы не существовало. Первые опыты ее предприняты были лишь тремя годами позднее в Женеве, где Драгоманов, в условиях полной свободы, не стесняемый никакими правительственными ограничениями, стал издавать журнал "Громаду". По его собственному признанию, он совсем не собирался выпускать его по-украински, и должен был сделать это только под давлением кружков "дуже горячих українцев", среди которых была не одна зеленая молодежь, но люди солидные и ученые.

"И что ж? Как только дошло до распределения статей для первых книг "Громады", сразу же послышались, голоса, чтобы допустить не только украинский, но и русский язык". Драгоманов опять признается, что печатание журнала по-русски было бы самым разумным делом, но он захотел поставить вопрос "принципально". Одной из причин такого его упорства было, якобы, желание "спробувати силу ширости и енергии українских прихильників" "Громады". И вот, как только удалось настоять на печатании по-украински, началось остывание "дуже горячих". Десять из двенадцати главных сотрудников журнала "не написали в нем ни одного слова и даже заметки против моего "космополитизма" были мне присланы одним украинофилом по-русски. Из двух десятков людей, обещавших сотрудничать в "Громаде" и кричавших, что надо "отомстить" правительству за запрещение украинской печати в России, осталось при "Громаде" только 4. Двум из них пришлось импровизированным способом превратиться в украинских писателей" {186}.

Шум по поводу запрета украинского языка был поднят людьми не знавшими его и не пользовавшимися им. "Нас не читали даже ближайшие друзья, – говорит Драгоманов. – За все время существования женевского издательства я получал от самых горячих украинофилов советы писать по-украински только про специальные краевые дела (домашний обиход!), а все общие вопросы освещать по-русски". Эти друзья, читавшие русские журналы "Вперед" и "Набат", не читали в "Громаде" даже таких статей, которые, по мнению Драгоманова, стояли значительно выше того, что печаталось в "Набате" и "Вперед", – статьи Подолинского, например. "Для них просто тяжело было прочесть по-украински целую книжку, да еще написанную прозой, и они не печатали своих статей по-украински ни в "Громаде", ни где бы то ни было, тогда как часто печатались по-русски". Такое положение характерно не для одних только 60-х и 70-х годов, но наблюдалось впродолжении всего XIX века. По свидетельству

Драгоманова, ни один из украинских ученых избранных в 80-х, 90-х годах почетными членами галицких "народовских" обществ не писал ни строчки по-украински. В 1893 г. он констатирует, что научного языка на Украине и до сих пор не существует, "украинская письменность и до сих пор, как 30 лет назад, остается достоянием одной беллетристики и поэзии" {187}.

Нельзя не дополнить этих признаний Драгоманова, воспоминаниями другого, очень почтенного малоросса, профессора С. П. Тимошенко. Застрявший случайно, в 1918 г. в Киеве, в короткое правление гетмана Скоропадского, он был близок к тому что созданной "Украинской Академии Наук". "По статуту, - пишет он, - научные труды этой академии должны были печататься на украинском языке. Но на этом языке не существует ни науки, ни научной терминологии. Чтобы помочь делу, при академии была образована терминологическая комиссия и были выписаны из Галиции специалисты украинского языка, которые и занялись изготовлением научной терминологии. Брались термины из любого языка, кроме родственного русского, имевшего значительную научную литературу" {188}.

Положение, описанное Драгомановым для 90-х годов, продолжало существовать и в 1918 году.

Эти высказывания - великолепный комментарий к указу 1863 г. "Малороссийского языка", на котором можно было бы строить школьное преподавание, действительно не существовало, и Валуев не выдумал "большинства малороссов", которые протестовали против его легализации. Гегемония русского литературного языка меньше всего объясняется поддержкой царской полиции. Истинную ее причину Драгоманов усматривает в том, что "для украинской интеллигенции, так же как и для украинофилов, русский язык еще и теперь является родным и природным". Он благодарит за это судьбу, потому что "українська публіка, як би зисталась без письменства російського, то була б глуха і сліпа". Общий его вывод таков: "Российская письменность, какова бы она ни была, является до сих пор своей, родной для всех просвещенных украинцев, тогда как украинская существует у них для узкого круга, для "домашнего обихода", как сказали Ив. Аксаков и Костомаров" {180}.

Вместе с вопросом о языке поднимался вопрос о литературе. Разделить их невозможно. Раздельность существовала лишь в точках зрения на этот предмет между малороссийским украинофильством и галицким народовством. У первого, назначение книг на "ридной мове" заключалось в просвещении простого народа, либо в революционной пропаганде среди крестьян. Поколение же, выпестованное народовцами, усматривает его не в плоскости культуры, а в затруднении общения между русскими и малороссами.

Костомаров и Драгоманов требовали предоставить язык и литературу самим себе; найдутся писатели и читатели на "мове" - она сама завоюет себе место, но никакая регламентация и давление извне не допустимы. Драгоманов часто говорил, что пока украинская литература будет представлена бездарными Конисскими или Левицкими, она неспособна будет вырваться из рук малороссийского читателя не только Тургенева и Достоевского, но даже Боборыкина и Михайлова. Культурное отмежевание от России, как самоцель, представлялось ему варварством.

Но уже в начале 90-х годов появляются публицисты типа Вартового, который, обозвав русскую литературу "шматом гнилой ковбасы", требовал полной изоляции Украины от русской культуры. Всех, считавших Пушкина, Гоголя, Достоевского "своими" писателями, он объявил врагами. "Кождїй хто принесе хочь крихту обмоскаленья у наш нарид (чи словом з уст, чи книжкою) - робит йому шкоду, бо видбиває його вид національного ґрунту" {190}.

Уже тогда обнаружился один из приемов ограждения национального грунта, приобретший впоследствии широкое распространение. Проф. С. П. Тимошенко {191}, отчувтившись в эмиграции, захотел в 1922 г. навестить двух своих братьев проживавших в Чехии, в Подебрадах. Подебрады были в то время крупным центром украинской самостоятельной эмиграции. Там он встретил немало старых знакомых по Киеву. И вот оказалось, что "люди, которых я давно знал и с которыми прежде общался по-русски, теперь отказывались понимать русский язык". Школа Вартового принесла несомненные плоды.

Напрасно думать, будто этот бандеровец того времени выражал одни свои личные чувства. То же самое, только гладко и благовоспитанно, выражено Грушевским в провозглашенном им лозунге "полноты украинской культуры", что означало политику культурной автаркии и наступление литературной эры представленной Конисским и Левицким-Нечуем. Именно этим двум писателям,

пользовавшимся у своих товарищей-граждан репутацией самых бездарных, приписывается идея "окремой" литературы. Писать по-украински, с тех пор значило - не просто предаваться творчеству, а выполнять национальную миссию. Человеку нашего времени не нужно объяснять, какой вред наносится, таким путем, истинному творчеству. Всюду, где литературе, помимо ее прямой задачи, навязывается какая-то посторонняя, она чахнет и гибнет. Этим, по-видимому, и объясняется, почему после Шевченко не наблюдаем в украинской письменности ни одного значительного явления. Под опекой галичан, она стала, по выражению Драгоманова, "украинофильской, а не украинской", т. е. литературой не народа, не нации, а только самостийнического движения. Поощрение оказывалось не подлинным талантам, а литературных дел мастерам, наиболее успешно выполнявшим "миссию". Писательская слава Нечуя, Конисского, Чайченко - создается галичанами; без них этим авторам никогда бы не завоевать тех лавров, что совершенно незаслуженно выпали на их долю. Про Конисского сами современники говорили, что его известность - "плод непоразуминня в галицо-украинских видносинах".

Но именно галицкая наука возвестила о существовании многовековой украинской литературы. В конце 80-х годов появился двухтомный труд, посвященный этому предмету [192]. Автор его, Омелян Огоновский, может считаться создателем схемы истории украинской литературы. Ею до сих пор руководствуются самостийнические литературоведы, по ней строятся курсы, учебники, хрестоматии.

Затруднение Огоновского, как и всех прочих ученых его типа, заключается в полном разрыве между новой украинской литературой, и литературой киевских времен, объявленной самостийниками тоже украинской. Эти две разные письменности ни по духу, ни по мотивам, ни по традициям ничего общего между собою не имеют. Объединить их, установить между ними преемственность, провести какую-нибудь нить от "Слова о Полку Игореве" к Квитке-Основьяненко, к Марко Вовчку или от Игумена Даниила, от Митрополита Иллариона и Кирилла Туровского к Тарасу Шевченко - совершенно невозможно. Нельзя, в то же время, не заметить доступную даже неученому глазу прямую генетическую связь между письменностью киевского государства и позднейшей общерусской литературой. Как уладить эти две крупные неприятности? Отказаться совсем от древнекиевского литературного наследия - значит, отдать его окончательно москалям. Это значило бы отказаться и от пышной родословной, от великодержавия, Владимира, Ярослава, Мономаха пришлось бы вычеркнуть из числа своих предков и остаться с одними Подковами, Кошками и Наливайками. Но принять киевское наследие и превознести его - тоже опасно. Тогда непременно возник бы вопрос - откуда взялся украинский литературный язык XIX века и почему он находится в таком противоречии с эволюцией древнего языка?

Огоновский разрешил эти трудности таким образом, что от древнего наследия не отказался, признал киевскую литературу "украинской", но объявил ее неполноценной, "мертвой", ненародной и потому ненужной украинскому народу. Он так и говорит: "До Ивана Котляревского письменная литература не была народною, потому что развитию ее препятствовали три элемента: во-первых церковнославянская византийщина, затем польская культура с средневековой схоластической наукой и, наконец, образовательное иго московского царства".

Мы уже имели случай указывать на нелюбовь Огоновского к православному византийскому влиянию на Руси, ко всей древнерусской культуре, развившейся на его основе. От нея, "веяло только холодом на молодой ум родного народа". Ценит он в киевском наследии лишь народную поэзию - былины, песни, сказания; что же касается письменности, то всю ее, за исключением разве "Слова о Полку Игореве", считает ненужным хламом. Она развивалась, как он выразился, "наперекор культурным стремлениям неграмотного люда". "Не оживляясь тою живою речью, которою говорила вся живая Русь", древняя литература, по его словам, не выражала духовной сущности народа. Здесь добираемся до истинной причины неприязни к ней самостийнического профессора: она была основана не на простонародном разговорном языке. Допустить, чтобы Огоновский не знал элементарной научной истины о нетождественности всех мировых литературных языков с языками разговорными и о значительном различии между ними - невозможно. Перед нами, несомненно, риторический трюк, с помощью которого стремятся научнообразно совершить подмену одного понятия другим, в политически спекулятивных целях. Душа народа, будто бы, жила в одной только устной словесности. "Книжники писали "Сборники", "Слова",

"Послания" и иные вещи князьям, иерархам и панам на потеху, а неграмотный народ пел себе колядки, песни и думы и рассказывал старые сказки". Совершенно ясно – под народом здесь разумеется лишь простонародье, крестьяне. Такое мужиковство человека, взошедшего на старопанских дрожжах, никого в наше время обмануть не может; оно вызвано не симпатиями к простому народу, а исключительно необходимостью оправдать возведение простонародной "мовы" в ранг литературного языка. Так он и говорит: письменная литература снова сделалась "душою народной жизни только в новейшем периоде, когда писатели стали действительно пользоваться языком и мировоззрением народа".

Таким путем удалось объявить недостойной, не выражающей украинского духа литературу не одного только киевского, но также и литовско-русского и польско-литовского, периодов и наконец – литературу XVII–XVIII веков. Оказалось, что 900 лет письменность южнорусская шла ложным путем и только с появлением И. Котляревского вступила на истинную дорогу.

Но все же она не объявлена чужим достоянием; О. Огоновский сохраняет за Украиной все права на нее и когда доходит до ее подробного разбора – проявляет исключительную придирчивость в смысле отнесения того или иного произведения к украинской литературе. Он, сколько нам известно, первый применил тот оригинальный метод для составления портфеля украинской письменности, который поразил даже его благожелателей, вроде Пыпина {193}. Он, попросту, начал механически перебирать произведения древней словесности и изымать оттуда все "украинское". Критерием служил, преимущественно, географический признак: где написано произведение? Остромирово Евангелие, предназначавшееся для новгородского посадника, отнесено к памятникам украинским потому, что выполнено в Киеве. "Хождение Игумена Даниила" признано украинским потому, что в авторе можно предполагать человека из черниговской земли. Даже Даниил Заточник – "был типом украинца". Современники не мало приложили стараний для согласования этого утверждения с последующими словами Огоновского: "Жаль только, что о жизни этого мужа мы ничего почти не знаем – неизвестно нам кто был Даниил, где родился, где и когда жил и т. д."

Огоновского нисколько не смущало ни то обстоятельство, что "Слово о Полку Игореве" сохранилось в псковском списке XIV века, ни то, что "Повесть Временных Лет" дошла до нас в суздальской редакции (Лаврентьевская Летопись), ни происхождение "Патерика Печерского", возникшего из переписки между суздальским и киевским иноками, следовательно, могущего рассматриваться, как порождение обеих частей Руси.

Проделав хирургическую операцию по отделению украинской части от москальской, Огоновский принимается за прямо противоположное дело, как только доходит до XIX века с его чисто уже "народной" литературой. Тут его задача не менее тонка и ответственна. Надо было показать, что галицкая и украинская литературы, возникшая и развившаяся независимо одна от другой, – не две, а одна. И опять, как в первом случае, выступает механический метод, на этот раз не разделения, а складывания.

Собрав в кучу всех украинских и галицких писателей, Огоновский располагает их в хронологическом порядке, так что после какого-нибудь Шашкевича и Устиновича идут Метелинский, Шевченко, Афанасьев-Чужбинский, а потом опять Гушалевиц, Климович и т. д.

Историко-литературный метод Огоновского имел большой успех и перенесен был на изучение всех других отраслей украинской культуры. Начались поиски сколько-нибудь выдающихся живописцев, граверов, музыкантов среди поляков, немцев или русских малороссийского происхождения. Всех их, даже тех, что родились и выросли в Вене, Кракове или Москве, заносили в реестр деятелей украинской культуры. Делалось это на том основании, что, как недавно выразилась одна самостийническая газета в Канаде, – "други народи видбили, видперли, перекуплювали, перемовляли, а то по их смерти крали украинских великих людей для збагачення своей культуры". Теперь этих "видбитых" и "видпертых" стали возвращать в украинское лоно. У русских довольно успешно отобрали Левицкого, Боровиковского, Боршнянского, Богдановича, Гнедича, и существует опасность, что отберут Гоголя.

Таким же образом возникли украинския математика, физика, естествознание. Ставши во главе Наукового Товариства им. Шевченко и реорганизовав его с 1898 г. по образцу академии, Грушевский поставил задачей создать украинскую науку. Через несколько лет он заявил на весь мир, что она

создана. Товариство разыскало труды написанные в разное время по-польски, по-русски, по-немецки людьми, у которых предполагали украинское или галицийское происхождение, все это переведено было на украинский язык, напечатано в "Записках" Товариства и объявлено украинским национальным достоянием. Одновременно с этим, Товариство поощряло всевозможные измерения черепов с целью открытия антропологического "типа украинца".

Появилась, наконец, "Коротка география Украины" труд львовского профессора С. Рудницкого {194}, благодаря которому мир познакомился с землями и водами соборной Украины. Книга произвела фурор очертаниями границ нового государства. Оказалось, что оно обширнее всех европейских стран, за исключением разве России; в нее вошли, кроме русской Украины, Галиции, Карпатской Руси и Буковины, также Крым, Кубань, часть Кавказа. Черное и Азовское моря объявлены "украинскими" и такое же название распространено на добрый кусок западного побережья Каспия. На иллюстрациях изображающих "украинские" пейзажи можно видеть Аю-Даг, Ай-Петри в Крыму, Военно-Грузинскую дорогу и Эльбрус на Кавказе. Автору удалось установить даже отличительные особенности украинского климата, НЕЗАВИСИМОГО И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО. Судя по тому, что редактором книги был сам Грушевский, она шла в русле проводимой им политики создания украинской науки.

Большая забота проявлена в создании и закреплении национальной терминологии. Земли соборной Украины дотоле именовались то Русью, то Малороссией, то Украиной. Были еще Новороссия, Буковина, Карпатская Русь, Холмщина. Все это надлежало унифицировать и подвести под одно имя. Раньше из этого не делали большой политики и все перечисленные термины были в ходу. Но примерно с 1900 года, термины "Русь" и "Малороссия" подверглись явному гонению; их еще трудно было вытравить окончательно, но все усилия направляются на то, чтобы заменить их "Украиной". Выпустив первый том "Истории Украины-Руси", Грушевский вынужден был сохранять это название, и для последующих томов, но во всех новых работах имя Руси опускалось и фигурировала одна "Украина".

Изменили календарную терминологию. Римские названия месяцев "январь", "февраль" и т. д, которые сейчас употребляет весь культурный мир, пришли в Киев вместе с христианством. Впродолжении 900 лет их употребляла киевская, литовско-русская, московская и петербургская письменность. Они вошли в быт всего православного востока Европы. Самостийникам понадобилось заменить их доморощенными "грудень", "серпень", "жовтень", отдалив себя, на этот раз, не только от России, но и от Европы.

То, что в 80-х годах сделано Огоновским в области литературоведения, то позднее, в начале XX века, выполне-

[... пропуск в оригинале ...]

временному самостийничеству схему истории Украины.

Излагать ее здесь сколько-нибудь подробно мы не можем; она достаточно широко известна. Скажем только, что если ее охватить общим взглядом, то получим, приблизительно, схему "Истории Русов", развернутую в виде большого исторического полотна, приобретающего вид современного научного труда, отмеченную знаком эрудиции, смелого привлечения первоисточников, но преследующую все ту же цель - под легенды подвести научный фундамент.

У Грушевского не было, подобно Костомарову, заблуждений относительно "Летописи Конисского". Поддельный и злонамеренный ее характер выяснен был к тому времени в полной мере, но у него мы видим ту же изначальную обособленность Малороссии от прочих русских земель не только территориальную, но этнографическую. Уже среди племен упомянутых Геродотом в VI веке до нашей эры, он готов отличать волынян от черниговцев. Никто до сих пор не решался говорить об украинцах, белорусах и великороссах в эпоху так называемого расселения славян, все считали эти деления позднейшими, возникшими через тысячу лет после "расселения", но Грушевский всех славян, живших по Днестру, по Днепру и дальше на восток до Азовского моря, прозванных Антами, - именуется "украинцами". Надо сказать, что такая смелость появилась у него не сразу. Еще в 1906 году он признавался: "Конечно, в IX-X веках не существовало украинской народности в ее вполне сформировавшемся виде, как не существовало и в XII-XIV вв. великоросской или украинской народности в том виде, как мы ее теперь себе представляем" {195}. Но уже в 1913 г. в "Иллюстрированной Истории Украины" он широко пользуется терминами "Украина" и "украинский" для самых отдаленных эпох. Киевское Государство

X-XIII вв. для него, конечно, государство украинское. В полном согласии со схемой "Истории Русов" и учением Духинского, он резко отделяет и киевские земли, и сидящий на них "украинский" народ от северной и северо-восточной Руси. Хотя власть киевских князей распространялась на теперешние белорусские и великорусские земли, говорившие и писавшие одним языком, исповедывавшие одну общую с киевлянами религию, а следовательно подверженные и общему культурному влиянию, он не относит их к киевскому государству, а рассматривает скорее как колонии этого государства. Он решительно ополчается против рассказа Начальной Летописи о призвании князей и о перенесении княжеской резиденции из Новгорода в Киев. Все это объявляется выдумкой. И Аскольд, и Дир, и Олег были природными киевскими князьями, а легенда о зарождении государственности на новгородском севере – позднейшая вставка в летопись.

Непрестанно подчеркивается более низкая в сравнении с Киевом культура северных и северо-восточных земель, но объясняется это не провинциальным их положением в отношении Киева, а какими-то гораздо большими отличиями. Из всей суммы высказываний видно, что эти отличия расовые. В полном согласии с точкой зрения Духинского, будущие великорусские области считались заселенными не славянами, а только славянизированными инородцами, главным образом, финно-угорскими племенами – низшими в расовом отношении. Ни циклопических сдвигов в судьбах народов под влиянием нашествий, вроде гуннского или татарского, ни перемены имен, ни смешения кровей и культур, ни переселений естественных и насильственных, ни культурной эволюции, ни новых этнических образований не существует для него. Украинская нация прошла через все бури и потопа, не замочив ног, сохранив свою расовую девственность, чуть не от каменного века. Как известно, татарское нашествие было особенно опустошительным для русского юга. Плано Карпини, лет через пять проезжавший по территории теперешней Украины, живой души там не видел, одни кости. Грушевский посвятил обширный том, около 600 страниц, в доказательство неправильности версии о запустении Украины при Батые. Историческая наука невысоко ценит это исследование, но в данном случае интересует не его правота или неправота, а породившая его тенденция, продиктованная сепаратистскими схемами и теориями. Грушевский не может считаться их творцом, они создались до него в казачьей Украине и в пораздельной Польше.

Потратив столько усилий, чтобы объявить Киевское Государство украинским, Грушевский оставляет его ничем почти не связанным с последующей историей Украины. В этом смысле он уступает даже "Истории Русов". Там, хоть, литовско-русская знать и уряд выводятся из киевских времен, даже гетманы казацкие и старшина связываются генеалогически с древней аристократией. У Грушевского нет и этого. Он не приемлет версии шляхетского происхождения казачества, оно у него – мужицкая сила; он взял в этом вопросе сторону Костомарова и Драгоманова.

Дойдя до казачьей "добы" (эпохи), забывает и про Киев, и про князей, и про древнюю культуру. Все это остается ненужным привеском к той истории, что наиболее мила его сердцу; взор его приковывается теперь к Запорожью – подлинной духовной и культурной родине "самостийной Украины".

Подобно О. Огоновскому, он ненавидит язык киевской эпохи, дошедший до нас в памятниках письменности и в церковно-славянской грамотности, но подобно Огоновскому же, записывает их в депозит Украины, единственно ради помпезности и пышной генеалогии. Он подделал культурную и государственную родословную казачества на тот же манер, на который в XVIII веке казаки подделывали свои фамильные гербы.

О том, как излагается у Грушевского история Малороссии в казачьи времена, тоже говорить много не приходится. Это – задолго до него сложившаяся точка зрения: переяславское присоединение к Москве не подданство, а "протекторат", Хмельницкий и старшина обмануты москалями, царские воеводы и чиновники всячески помыкали украинцами и угнетали их как только могли, а глупый украинский народ не в силах будучи разобраться, кто его угнетает, винил во всем своих неповинных гетманов и старшину. И непосильные поборы, и введение крепостного права – все дело рук москалей.

Единственно новое, что внес Грушевский в казачью "историографию" – это дух самостийнической программы XX века, в свете которой он интерпретирует переяславское присоединение. "Московское правительство не хотело предоставить полного самоуправления украинскому населению, не хотело

позволить, чтобы воеводы и прочие должностные лица избирались самим населением, чтобы все доходы с Украины собирались ее выборными чиновниками, поступали в местную казну и выдавались на местные Нужды" {196}.

Нам известно, что просьба Хмельницкого об избрании самими малороссами сборщиков податей была удовлетворена правительством; известно, что ни копейки из малороссийских сборов не шло в Москву, но если и на "местные нужды" тоже ничего не шло, то причиной тому казацкое хищничество. Что же касается "непозволения" выбирать воевод и прочих должностных лиц, то этот упрек особенно странен. Мы не знаем таких "должностных лиц" на Украине, которые не выбирались бы самим населением. Воеводы же, особенно в той роли простых начальников гарнизонов, которая за ними сохранилась на практике, были представителями царя и никем другим не могли избираться. Их невмешательство в украинские дела никакого ущерба местному сословному самоуправлению не наносило. Да и не было ни одной просьбы ни в 1654 году, ни позднее, об избрании воевод местным населением, так же как ни в одной челобитной не видим просьбы о "полном самоуправлении".

Курьезнее всего, что сам Грушевский, попенявши вдоволь на москалей, заявляет вдруг: "Правда, у самого украинского общества мысли о последовательном проведении принципа автономии только лишь нарастали и определялись, и резко ставить их оно не решалось" {197}. На самом деле, эти мысли не "нарастали" и не "определялись", а их просто не было. Появились они через 250 лет в голове председателя Наукового Товариства им. Шевченко.

Грушевский, как историк, ответствен не только за свои собственные писания, но и за высказывания своих приспешников и единомышленников, в частности, за появление легенды о "перяславской конституции". В брошюре Н. Михновского "Самостийна Украина" о ней не только сообщается как о факте, но приводятся статьи "перяславского контракта". Сказывается:

1. Власть законодательная и административная принадлежит гетманскому правительству без участия и вмешательства царского правительства.

2. Украинская держава имеет свое отдельное независимое войско.

...

4. Лица неукраинской национальности не могут занимать должностей в украинском государстве. Исключение представляют контролеры, следящие за правильностью сборов дани в пользу царя московского.

...

6. Украинская держава имеет право выбирать главу государства по собственному усмотрению и только ставить царское правительство в известность об этом избрании.

...

13. Нерушимость стародавних прав светских и духовных лиц и невмешательство царского правительства во внутреннюю жизнь украинской республики.

14. Право гетманского правительства свободных международных сношений с иностранными державами" {198}.

Трудно допустить, чтобы эта фантастика была сочинена вне какого бы то ни было влияния автора "Истории Украины-Руси", бывшего в то время первым авторитетом в области истории. Но если он действительно тут не при чем, то как мог человек в звании профессора равнодушно пройти мимо столь грубой фальсификации? Ученая совесть Костомарова всегда толкала его на протестующие выступления в подобных случаях. Эрудиция же и талант Грушевского поставлены были на службу не науке, а политике. Он и созданная им "школа" отличались от прежних историков-украинофилов тем, что фальсифицировали историю не в силу заблуждений, а вполне сознательно, всячески усугубляя "вредное", по выражению Костомарова, влияние "Истории Русов", пользуясь ее анекдотами, цитируя ее фальшивые документы и описывая в ее духе целые эпохи.

Каждый пастух, по словам Ницше, должен иметь в стаде еще и передового барана, чтобы самому, при случае, не сделаться бараном. В движении, возглавлявшемся Грушевским, таким "передовым" был Н. Михновский. Он громко высказывал то, о чем сам Грушевский предпочитал молчать, но что полезно было высказать. То был экстремист "формального национализма". Когда вбивание клиньев в культурное и общественное единство русско-малороссийского народа приняло характер настоящей мании, Н. Михновский оказался самым неистовым украинофилом, доходившим в своей страсти до диких проявлений. Созданная им в 1897 г. "Студентська Громада" в Харькове имела главной задачей борьбу с

увлечениями студентов русской культурой. Он питал лютую ненависть к украинцам, вроде Короленко, глухим и равнодушным к самостийническому движению и столь же безучастным к "украинской культуре". Весьма возможно, что это его приспешники занимались в Киеве нападениями на "общероссов" и избиениями их в переулках и темных углах. Старые киевляне до сих пор это помнят.

Любопытнее всего, что этот нацист девятисотых годов стал отцом украинской социал-демократии. Та "Українська Революційна Партия" (РУП), что образовалась в начале 1900 года и на III съезде в 1905 году сменила свое название на "Українську Соціал-Демократичну Робітничю Партію", - вдохновлена была Михновским. Его брошюра "Самостийна Україна" явилась своего рода манифестом партии. Появилась она с эпиграфом: "Украина для украинцев".

Сам Михновский, впрочем, членом этой партии не состоял, ограничившись ролью идейного руководителя. В его лице мы имеем редкий образец социал-демократа не только чуждого, но прямо враждебного известному лозунгу: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Он противопоставил ему другой: "Пролетариат господствующей и поращенной наций - два класса с противоположными интересами". Украинскому пролетариату он ставит две задачи - бороться с капиталом и одновременно с русским рабочим классом, который в поисках "липшого життя" лезет на Украину и здесь отбивает работу у местного рабочего.

Как известно, большая часть Украинской Революционной Партии (РУП) выделилась в так называемую "Спилку" руководимую О. Скоропис-Йолтуховским, и в 1905 г. слилась с РСДРП, полагая, что нет необходимости проявлять особенную заботу об украинском характере партии в стране, где подавляющая масса пролетариата состоит из украинцев: она никакой другой, кроме украинской, и быть не может; главное внимание надлежит сосредоточить не на этом, а на политическом и социальном развитии масс, к чему стремится вся российская социал-демократия. Но другая часть, переименовавшая себя в "Українську Соціал-Демократическу Робітничю Партію" (УСДРП), осталась на позициях Н. Михновского. Она исходила из его тезиса, согласно которому никакая борьба труда с капиталом и освобождение рабочего класса невозможны, пока не будет достигнуто революционным порядком, посредством вооруженной борьбы, государственное отделение Украины от России. Существует любопытное признание одного из членов УСДРП, В. Садовского, написавшего в эмиграции свои воспоминания об этой партии. Он называет не мало людей, таких как В. Степаньковский, М. Троцький, М. Порш, Д. Дорошенко, Д. Донцов, которые, будучи в свое время членами и РУП и УСДРП, оказались потом стоящими весьма далеко и от социализма, и от рабочего движения. Никакими социалистами, по мнению Садовского, они никогда не были, да не далеко ушли от них, в изображении автора, и все остальные члены УСДРП. Он откровенно заявляет, что "в тогдашнем нашем подчинении лозунгам марксистской ортодоксии заключался, в значительной мере, момент использования политической конъюнктуры"! {199}.

Это чрезвычайно ценно. РУП и УСДРП возникли, как политический маскарад. Только в свете таких признаний можно ясно себе представить, каким малозаметным и непопулярным растением был украинский сепаратизм, если ему для уловления душ приходилось рядиться в социал-демократическую тогу. Массы украинского народа шли в русле общероссийского политического движения, и все искусство Михновского сводилось к тому, чтобы подделаться под этот "шаг миллионов" и незаметно отвести народ от всероссийских страстей и устремлений на путь сепаратизма. Только для этой единственной цели он и пошел в социал-демократию. Увлекаться социализмом всерьез членам РУПа не полагалось. Если для Драгоманова социальные и политические свободы, поднятие экономического и культурного уровня жизни масс превышали, по значению, национальные соображения, если борьбу за них он мыслил, одновременно, как путь разрешения национальной проблемы, то у Михновского все перевернуто наизуоборот: путь к политическим преобразованиям и экономическим реформам лежит через достижение национальной "незалежности". Вот почему, когда члены РУП впали в драгомановский "уклон", начали всерьез заниматься социализмом и даже потянулись на слияние с Российской СДРП, Михновский порвал с ними и организовал новую "Українську Народну Партію" (УНП), которая выпустила в 1905 г. несколько сугубо самостийнических документов, вроде 10 заповедей и проекта украинской конституции. Несмотря на то, что проект предусматривал широкие социальные реформы, списанные с программ русских эсеров и

социал-демократов, вплоть до социализации земли, его движущие мотивы ничего общего с социализмом не имели. По словам украинского социал-демократа Бориса Мартоса, Михновский занят был одновременно мыслью "творити українську буржуазію" и распространять национальную идею среди богатых малороссов {200}. У богатых успех его был такой же, как у бедных. Группа Михновского и порожденных им "социал-демократов" продолжала оставаться столь ничтожным и малозаметным явлением, что ни имя вождя, ни имена организованных им партий не известны подавляющему большинству самостийников. Их знают только историки, да небольшая кучка оставшихся в живых членов этих организаций. Уделили мы им внимание с единственной целью обрисовать метод самостийничества - диссимуляцию и "использование политической конъюнктуры". После европейского опыта последних трех десятилетий, мы знаем, что это метод реакции и тоталитаризма, но в первой четверти XX столетия русские революционеры и социалисты охотно видели в членах РУП и УСДРП "своих" людей. А ведь из РУП-а вышли едва ли не все столпы эфемерной украинской государственности 1917-1919 г. г. - Симон Петлюра, Андрей Левицкий, председатель Директории Винниченко, министр иностранных дел при гетмане Дм. Дорошенко и многие другие. Ослепленные их "демократизмом" и социалистической фразеологией, многие и сейчас склонны отрицать какую бы то ни было генетическую связь их с реакционным галицким народовством.

Возникновение РУП и вся деятельность Михновского без инспирации, по крайней мере, без одобрения львовского ареопага - немыслимы. На тесные связи РУП с народовцами указывает не только печатание в Галиции ее брошюр и статей, не только львовский "трумтадратский" стиль поведения и высказываний, но также то обстоятельство, что в войне 1914-1918 г. г. украинские социал-демократы выступили на стороне Австро-Венгрии, основав там "Союз Вызволення України". В 1917 г. они переиздали в Вене главное произведение своего вождя, "Самостийну Україну", подчеркнув в предисловии преемственную связь между своим "Союзом" и прежней РУП. Они писали:

"Нужны ли кому более ясные доказательства того, что самостийная Украина есть наш старый лозунг, чем тот факт, что все четыре члена президиума "Союза Вызволення України" были деятельными членами "Революционной Украинской Партии" (РУП), первая брошюра которой носит название "Самостийна Україна".

Невозможно не сказать здесь, хоть в двух словах, еще об одном проявлении "формального национализма". Относится оно к области педагогики и связано с именем народного учителя Бориса Гринченко. В 1912 году, после его смерти, Х. Д. Алчевская, известная школьная деятельница Харьковской губернии, рассказала на страницах "Украинской Жизни" о любопытном случае из его практики. Он работал когда-то сельским учителем в имении Алчевской. Возвратясь однажды из-за границы, Алчевская не увидела в школе ни одной девочки, тогда как раньше их было много. Оказалось, что Гринченко попросту разогнал их и не принимал новых. Доискиваясь причины, Алчевская установила сугубо "национальный" ее характер: "не следует калечить украинскую женщину обучением на чуждом ей великорусском языке".

На бедного учителя произвело впечатление распространявшееся в те дни учение о женщине, как хранительнице национального типа. Вычитал он это, конечно из галицийской литературы, которую приобретал всеми способами. Был и сам сотрудником львовской "Правды". Он внимательно следил за появлением новых неологизмов, вводя их сразу же в лексикон своих учеников.

Школу свою он рассматривал, как рассадник будущих педагогов-самостийников. Наиболее способных ее питомцев, всячески продвигал в учительскую семинарию.

Ему принадлежит изобретение конспиративной системы преподавания сразу на двух языках. Официально оно велось по-русски, а тайно - по-украински. Введено было правило, по которому ученики обязаны отвечать на том языке, на котором их спрашивали. Благодаря этому, инспекторские посещения класса не были страшны. Из учебников Гринченко вырезал неудобные ему страницы и клеивал вместо них текст собственного сочинения, писанный печатными буквами. Такую же работу проделывал над хрестоматиями. Заводил при каждой школе отдельную малорусскую библиотеку. Найдя секрет успеха в деле культурного раскола русского племени, он стяжал лавры Михновского в самостийнической педагогике {201}.

Украинизация языка, науки, быта, всех сторон жизни, неизбежно должна была привести к мысли и об украинизации Церкви. Это и было сделано, хотя с

большим запозданием, как едва ли не последний по времени акт национального творчества сепаратистов. Причина тому, надо думать, - в большой внутренней трудности реформы.

Церковь и без того была "украинской" от рождения. Она возникла в Киеве, учреждена киевскими князьями, служила 900 лет на языке, введенном теми же князьями и всем киевским обществом X-го столетия. То был живой осколок Киевского Государства. Объявив это государство "украинским", самостийники автоматически переносили новое имя на православную Церковь. Теперь приходилось украинизировать украинское.

Кроме того, Грушевскому, как историку, лучше всех было известно, какую самоотверженную борьбу с католичеством выдержал южнорусский народ, защищая церковно-славянский язык. Достаточно почитать Иоанна Вишенского, чтобы видеть, какой поход учинен был против него и какой мощный отпор дан малороссийским народом в XVI-XVII в.в. Язык этот был буквально выстрадан и освящен кровью народа. Очевидно, по этой причине, а также в целях единения всех славян, Кирилло-Мефодиевское братство уделило в своем уставе особое внимание церковно-славянскому языку. Провозглашая свободу всякого вероучения, оно требовало "единого славянского языка в публичных богослужениях всех существующих церквей". Но вот Грушевский, провозгласив "долгой славянщину", воздвиг на него гонение. Объяснял он свою ненависть, подобно Огоновскому, "демократическими" соображениями: язык-де мертвый, непонятный народу и полный архаизмов. Но истинная причина заключалась, конечно, не в этом. Церковно-славянский язык служил основой общерусского литературного языка и общерусской литературной традиции, и пока украинский народ чтит его, он не отступит и от общерусской литературной речи. Идея самостийнической Церкви, где бы богослужение производилось на "мове", предопределена львовской политикой Грушевского. Но она, как все начинания сепаратистов, отмечена знаком ничтожного количества последователей.

Летом 1918 г. созван был Всеукраинский Церковный Собор, на котором о. Вас. Липковский поднял вопрос о богослуженном языке. Поставленный на голосование вопрос этот решен был подавляющим большинством голосов в пользу церковнославянского. Тогда попы-самостийники, без всякого согласия своих прихожан, учинили Всеукраинську Церковну Раду и объявили прежнее православие "панским", солидаризировавшись с точкой зрения униатского катехита Омеляна Огоновского на язык своей Церкви, как "реакционный". "Пора нам, народе украинский, и свою ридну мову принести в дар Богови и цим найкраще им и себе самих освятити и пиднести и свою ридну Церкву збудувати". Самостийники, видимо, не замечали, какой удар наносили своему движению, объявляя 900-летнее церковное прошлое Малороссии не своим, не "ридным".

Никаких чисто конфессиональных реформ Церковна Рада не произвела, если не считать включения в число церковных праздников "шевченковских дней" 25 и 26 февраля по старому стилю, - причислявшего поэта-атеиста, как бы, к лику святых угодников. Затем последовала украинизация святцев. Перед нами "Молитовник для вжитку украинской православной людности", выпущенный вторым изданием в Маннгейме в 1945 г. Там, греко-римские и библейские имена святых, ставшие за тысячу лет своими на Руси, заменены обыденными простонародными кличками - Тимошь, Василь, Гнат, Горпина, Наталка, Полинарка. В последнем имени лишь с трудом можно опознать св. Аполлинарию. Женские имена в "молитовнике" звучат особенно жутко для православного уха, тем более, когда перед ними значится "мученица" или "преподобная": "Святые мученицы Параська, Тодоська, Явдоха". Не успевает православный человек подавить содрогание, вызванное такой украинизацией, как его сражают "святыми Яриной и Гапкой". Потом идут "мученицы Палажка и Юлька" и так до... "преподобной Хиври".

Не подлежит сомнению, что в нормальных условиях, при свободной, ничем не стесняемой воле народа, все самостийнические ухищрения и выдумки остались бы цирковыми трюками. Ни среди интеллигенции, ни среди простонародья не было почвы для их воплощения. Это превосходно знали сепаратисты. Один из них, Сриблянский, писал в 1911 году: "Украинское движение не может основываться на соотношении общественных сил, а лишь на своем моральном праве: если оно будет прислушиваться к большинству голосов, то должно будет закрыть лавочку, - большинство против него" {202}.

Формальный украинский национализм победил при поддержке внешних сил и обстоятельств, лежавших за пределами самостийнического движения и за пределами украинской жизни вообще. Первая мировая война и большевицкая

революция – вот волшебные слоны, на которых ему удалось въехать в историю. Все самые смелые желания сбылись, как в сказке: национально-государственная территория, национальное правительство, национальные школы, университеты, академии, своя печать, а тот литературный язык, против которого было столько возражений на Украине, сделан не только книжным и школьным, но государственным.

Вторая мировая война завершила здание соборной Украины. Галиция, Буковина, Карпатская Русь, не присоединенные дотоле, оказались включенными в ее состав. При Хрущеве ей отдан Крым. Если при Брежневле отдадут Кавказ, то географический сон Рудницкого сбудется наяву.

Все сделано путем сплошного насилия и интриг. Жителей огромных территорий даже не спрашивали об их желании или нежелании пребывать в соборной Украине. Участь карпатороссов, например, просто трагична. Этот народ, веками томившийся под мадьярским игмом, выдержавший героическую борьбу за сохранение своей русскости и ни о чем, кроме воссоединения с Россией и возвращения в лоно русской культуры не мечтавший, лишен, даже, прав национального меньшинства в украинской республике – он объявлен народом украинским. Русская и мировая демократия, поднимающая шум в случае малейшего ущемления какого-нибудь людоедского племени в Африке, обошла полным молчанием факт насильственной украинизации карпатороссов.

Впрочем, не при таком же ли молчании прошла лет сорок пять тому назад принудительная украинизация малороссийского народа? Этот факт затерт и замолчан в публицистике и в истории. Ни простой народ, ни интеллигенция не были спрошены, на каком языке они желают учиться и писать. Он был предписан верховной властью.

Интеллигенция, привыкшая говорить, писать и думать по-русски и вынужденная в короткий срок переучиваться и перейти на сколоченный наскоро новый язык, – испытала немало мучений. Тысячи людей лишились работы из-за неспособности усвоить "державну мову".

Оправдались ли ожидания марксистских теоретиков насчет бурного культурного роста малороссийского населения, покажут будущие специальные исследования. Пока что, никакого переворота в этой области не наблюдаем. Образованность после введения "ридной мовы" повысилась ничуть не больше, чем была при господстве общерусского языка. Но самостийнические главари об этом меньше всего заботились. Предметом их вожделений была национальная форма, и как только большевики им предоставили ее, они сочли себя вполне удовлетворенными. Грушевский, Винниченко и другие столпы самостийничества прекратили борьбу с советской властью и вернулись в СССР. Формальнейший из формальных украинцев – Н. Михновский, скрывающийся до 1923 г. где-то на Кавказе, вернулся на Украину, как только услышал, что там начинается "украинизация по-настоящему". Но тут и открылась, видимо, цена формализма; Михновский вскоре повесился.

Большевики могли не производить ни украинизации, ни белоруссизации. Предоставление формы национального самоуправления грузинам, армянам, узбекам и др. имело смысл по причине подлинно национального обличья этих народов. Там национальная политика могла пробудить симпатии к большевизму. Но на Украине, где национализм высасывался из пальца, где он составлял всегда малозаметное явление – австромарксистская реформа явилась сущим подарком маньякам и фанатикам. Апелляция к Русской Украине дала бы больше выгод.

Впрочем, украинская политика большевиков до падения Германской Империи определялась не одной только австромарксистской программой, но и указаниями из Берлина. В Берлине же, кроме большевицких заслуг, ценили, также, заслуги самостийников. Теперь, когда факт субсидирования большевиков немцами в 1917 г. не подлежит сомнению, уместно напомнить и об украинских сепаратистах.

Во время войны они сотрудничали с большевиками в пользу общего хозяина – германского генерального штаба.

Когда началось это сотрудничество, точно не знаем, но весьма возможно, что уже в 1913 году они делали одно дело. В Австрии, в это время, действовал "Союз Вызволения Украины", представленный Д. Донцовым, В. Дорошенко, А. Жукотом, Мельневским, А. Скоропис-Иолтуховским. И для этого же времени отмечен факт получения Лениным денег от австрийцев.

По словам П. Н. Милюкова, в 1913 г. "Ленин в Кракове получил на издание своих сочинений австрийские деньги". Узнал об этом Милюков "от одного представителя отделившихся национальностей, получившего там же и в то же

время предложение австрийских субсидий" {203}. Быть может, уже тогда самостийники объединены были совместной работой с Лениным. По крайней мере, в листовке "Союза Вызвращения Украины", выпущенной в 1914 г., в Константинополе, Парвус и Ленин превозносятся как "наикраици марксистски головы" {204}. По-видимому, уже тогда Парвус был общим хозяином для тех и других, а в ходе войны он окончательно связал их через свое копенгагенское ведомство.

Австрийское правительство, кажется, охладело к своим агентам, и они очутились в сфере германской диверсионной акции. Архивы до сих пор хранят тайну подробностей этого сотрудничества, но уже в 1917 г. из рассказа прапорщика Ермоленко, заброшенного немцами в русский тыл, и секретаря швейцарского украинского бюро Степаньковского, арестованного контрразведкой Временного Правительства при переходе границы, выяснен факт одновременного сотрудничества большевиков и украинского Союза Вызвращения с Парвусом и его копенгагенским и стокгольмским центрами. Степаньковский указал Меленевского и Скоропись-Иолтуховского, находившихся в тесной связи с Ганецким – большевицким агентом, осуществлявшим посредничество между Лениным и Парвусом {205}. Можно ли было с приходом к власти забыть таких союзников?

Русское "общество" никогда не осуждало, а власть не карала самостийников за сотрудничество с внешними врагами. Грушевский, уехавший во Львов и впродолжении двадцати лет ковавший там заговор против России, ведший открытую пропаганду ее разрушения, – спокойно приезжал, когда ему надо было, и в Киев, и в Петербург, печатал там свои книги и пользовался необыкновенным фавором во всех общественных кругах. В те самые годы, когда он на весь мир поносил Россию за зажим "украинского слова", статьи его, писанные по-украински, печатались в святая святых русской славистики – во втором отделении Императорской Академии Наук, да еще не как-нибудь, а в фонетической транскрипции {206}.

Когда он, наконец, в 1914 году, попал на австрийской территории в руки русских военных властей и, как явный изменник, должен был быть сослан в Сибирь, – в Москве и в Петербурге начались усиленные хлопоты по облегчению его участи. Устроили так, что Сибирь заменена была Нижним-Новгородом, а потом нашли и это слишком "жестоким" – добились ссылки его в Москву.

Оказывать украинофильству поддержку и покровительство считалось прямым общественным долгом с давних пор.

И это несмотря на вопиющее невежество русской интеллигенции в украинском вопросе. Образцом может считаться Н. Г. Чернышевский. Ничего не знавший о Малороссии, кроме того, что можно вычитать у Шевченко, а о Галиции ровно ничего не знавший, он выносит безапелляционные и очень резкие суждения по поводу галицийских дел. Статьи его "Национальная бестактность" и "Народная бестолковость", появившиеся в "Современнике" за 1861 г. {207}, обнаруживают полное его незнание с местной обстановкой. Упрека галичан за подмену социальнато вопроса национальным, он, видимо и в мыслях не держал, что оба эти вопроса в Галиции слиты воедино, что никаких других крестьян там, кроме русинов, нет, так же как никаких других помещиков, кроме польских, за единичными исключениями, тоже нет.

Призыв его – бороться не с поляками, а с австрийским правительством – сделанный в то время, когда австрийцы отдали край во власть гр. Голуховского, яростного полонизатора – смешон и выдает явственно голос польских друзей – его информаторов в галицийских делах. Этими информаторами, надо думать, инспирированы указанные выше статьи Николая Гавриловича. Нападая на газету "Слово", он даже не разобрался в ее направлении, считая его проавстрийским, тогда как газета была органом "москвофилов". Зато те, что подбивали его на выступление, отлично знали на кого натравливали.

Получив в 1861 г. первые номера львовского "Слова", он пришел в ярость при виде языка, которым оно напечатано. "Разве это малорусский язык? Это язык, которым говорят в Москве и Нижнем-Новгороде, а не в Киеве или Львове". По его мнению, днепровские малороссы уже выработали себе литературный язык и галичанам незачем от них отделяться. Стремление большинства галицийской интеллигенции овладеть, как раз, тем языком, "которым говорят в Москве и Нижнем-Новгороде" было сущей "реакцией" в глазах автора "Что делать". Русская революция, таким образом, больше ста лет тому назад, взяла сторону народовцев и больше чем за полсотни лет до учреждения украинского государства решила, каким языком оно должно писать и говорить. Либералы,

такие как Мордовцев в СПбургских Ведомостях, Пыпин в Вестнике Европы, защищали этот язык, и все самостийничество, больше, чем сами сепаратисты. "Вестник Европы", выглядел украинофильским журналом.

Господствующим тоном, как в этом, так и в других подобных ему изданиях, были ирония и возмущение по поводу мнимой опасности для целостности государства, которую выдумывают враги украинофильства. Упорно внедрялась мысль о необоснованности таких страхов. По мнению Пыпина, если бы украинофильство заключало какую-нибудь угрозу отечеству, то неизбежно были бы тому фактические доказательства, а так как таковых не существует, то все выпады против него - плод не в меру усердствующих защитников правительственного режима. Украинофильство представлялось не только совершенно невинным, но и почтенным явлением, помышлявшим единственно о культурном и экономическом развитии южнорусского народа. Если же допускали какое-то разрушительное начало, то полагали его опасным исключительно для самодержавия, а не для России.

Когда открылась Государственная Дума, все ее левое крыло сделалось горячим заступником и предстателем за самостийнические интересы. Посредством связей с думскими депутатами и фракциями, украинские националисты имели возможность выносить с пропагандными целями обсуждение своих вопросов на думскую трибуну. Члены петербургского "Товарищества Украинских Прогрессистов" проложили дорогу к Милюкову, к Керенскому, к Кокошкину. Александр Шульгин в своей книге "L'Ukraine contre Moscou" пишет, что только февральский переворот помешал внесению запроса в Думу относительно высылки из Галиции в Сибирь прелата униатской Церкви графа Андрея Шептицкого - заклятого врага России. Генерал Брусилов, во время занятия русскими войсками Галиции, арестовал его за антирусские интриги, но выпустил, взяв обещание прекратить агитационную деятельность. Однако стоило Шептицкому очутиться на свободе, как он снова с церковной кафедры начал проповеди против русских. После этого он был удален из Галиции. За этого-то человека думцы обещали заступиться в самый разгар ожесточенной войны. Заслуги левых думских кругов перед украинскими самостийниками таковы, что тот же А. Шульгин считает нужным выразить на страницах своей книги благодарность П. Н. Милюкову. "Мы ему всегда будем признательны за его выступления в Думе".

Говорить о личных связях между самостийниками и членами русских революционных и либеральных партий вряд ли нужно, по причине их широкой известности. В эмиграции до сих пор живут москвичи, тепло вспоминающие "Симона Васильевича" (Петлюру), издававшего в Москве, перед первой мировой войной, самостийническую газету. Главными ее читателями и почитателями были русские интеллигенты. Особыми симпатиями украинофилы пользовались у партии Народников-Социалистов. Когда, в мае 1917 г., украинская делегация в составе Стебницкого, Лотацкого, Волкова, Шульгина и других приехала в Петроград, она прежде всего вошла в контакт с Мякотиным и Пешехоновым - лидерами Народных Социалистов. Делегация предъявила своим друзьям, сделавшимся столпами февральского режима, политический вексель, подписанный ими до революции, потребовав немедленного предоставления автономии Украине. Когда же те попросили потерпеть до Учредительного Собрания, самостийники поставили их на одну доску с реакционерами, напомнив слова Столыпина, "Сперва успокоение, потом реформы".

Академический мир тоже относился к украинской пропаганде абсолютно терпимо. Он делал вид, что не замечает ее. В обеих столицах, под боком у академий и университетов, издавались книги, развивавшие фантастические казачьи теории, не встречая возражений со стороны ученых мужей. Одного слова таких, например, гигантов, как М. А. Дьяконов, С. Ф. Платонов, А. С. Лаппо-Данилевский достаточно было, чтобы обратить в прах все хитросплетения Грушевского. Вместо этого, Грушевский спокойно печатал в Петербурге свои политические памфлеты под именем историй Украины. Критика такого знатока казачьей Украины, как В. А. Мякотин, могла бы до гола обнажить фальсификацию, лежавшую в их основе, но Мякотин поднял голос только после российской катастрофы, попав в эмиграцию. До тех пор он был лучший друг самостийников.

Допустить, чтобы ученые не замечали их лжи, невозможно. Существовал неписанный закон, по которому за самостийниками признавалось право на ложь. Разоблачать их считалось признаком плохого тона, делом "реакционным", за которое человек рисковал получить звание "ученого жандарма" или "генерала от

истории". Такого звания удостоился, например, крупнейший славист, профессор киевского университета, природный украинец Т. Д. Флоринский. По-видимому, он и жизнью заплатил за свои антисамостийнические высказывания. В самом начале революции он был убит, по одной версии – большевиками, по другой – самостийниками.

Но если были терроризованные и запуганные, то не было недостатка и в убежденных украинофилах. По словам Драгоманова, Скабичевский хвалил Шевченко и всю новейшую украинофильскую литературу, *не читавши* ее {208}.

К столь же "убежденным" принадлежал академик А. А. Шахматов. Александр Шульгин восторженно о нем отзывается, как о большом друге сепаратистов. Это он устроил самостийнической делегации, в 1917 году, встречу с лидерами групп и партий близких к Временному Правительству. Он же, надо думать, играл главную роль в 1906 г. при составлении академической "Записки" в пользу украинского языка.

Появилась в 1909 г. в Праге работа знаменитого слависта проф. Нидерле "Обозрение современного славянства" и сразу же переведена на русский язык, а через два года вышла в Париже по-французски. В ней уделено соответствующее внимание малороссам и великороссам, у которых, по словам Нидерле, "столь много общих черт в истории, традиции, вере, языке и культуре, не говоря уже об общем происхождении, что с точки зрения стороннего и беспристрастного наблюдателя это – только две части одного великого русского народа" {209}.

Приводим эту выдержку не столько ради нее самой, сколько по причине отсутствия ее в русском издании. Ее можно найти во французском переводе Леже, но в русском, вышедшем под маркой Академии Наук, она выпущена вместе с изрядной частью других рассуждений Нидерле.

Украинский национализм – порождение не одних самостийников, большевиков, поляков и немцев, но в такой же степени русских. Чего стоила полонофильская политика императора Александра I, намеревавшегося вернуть Польше малороссийские и белорусские губернии, взятые Екатериной и Павлом при польских разделах! Когда это не удалось вследствие недовольства правящих кругов, заявивших устами Карамзина: "Мы охладели бы душой к отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола", царь отдал этот край в полное распоряжение польскому помещицкому землевладению и старопанской колонизаторской политике. Николай Павлович не имел склонности дарить русские земли, но не очень в них и разбирался. Во время польского мятежа 1830–1831 г., он с легким сердцем отнес жителей западных губерний, т. е. малороссов и белорусов, к "соотечественникам" восставших. В учебнике географии Арсеньева, принятом в школах с 1820 по 1850 г., население этих губерний именуется "поляками". Какие еще нужны доказательства полной беспризорности Малороссии? Она, в продолжение всего XIX столетия, отдана была на растление самостийничеству и только чудом сохранила свою общность с Россией.

Едва ли не единственный случай подлинной тревоги и подлинного понимания смысла украинского национализма видим в статьях П. Б. Струве в "Русской Мысли" {210}. Это первый призыв, исходящий из "прогрессивного" лагеря к русскому общественному мнению "энергично, без всяких двусмысленностей и поблажек вступить в идейную борьбу с "украинством" как с тенденцией ослабить и даже упразднить великое приобретение нашей истории – общерусскую культуру".

Струве усмотрел в нем величайшего врага этой культуры – ему представляется вражеским, злонамеренным самое перенесение разговоров об украинизме в этнографическую плоскость как один из способов подмены понятия "русский" понятием "великорусский". Такая подмена плод политической тенденции скрыть "огромный исторический факт: существование русской нации и русской культуры", "именно русской, а не великорусской". "Русский", по его словам, "не есть какая-то отвлеченная "средняя" из всех трех терминов (с прибавками "велико", "мало", "бело"), а живая культурная сила, великая развивающаяся и растущая национальная стихия, творимая нация (nation in the making, как говорят о себе американцы)".

Только после большевицкого эксперимента, сделавшего так много для превращения русской культуры в "великорусскую", можно в полной мере оценить такую постановку вопроса. Русская культура – "неразрывно связана с государством и его историей, но она есть факт в настоящее время даже более важный и основной, чем самое государство".

Низведение ее до местной, "великорусской", дает основание ставить рядом

с нею, как равные – малорусскую и белорусскую. Но ни одна из этих "культур" – еще не культура. "Их еще нет, – заявляет Струве, – об этом можно жалеть, этому можно радоваться, но во всяком случае, это факт". Недаром евреи в черте оседлости, жившие по большей части среди белорусов и малоруссов, приобщались не к малорусской и белорусской, а к русской культуре {211}. На всем пространстве Российской Империи, за исключением Польши и Финляндии, Струве не видит ни одной другой культуры, возвышающейся над всеми местными, всех объединяющей. "Гегемония русской культуры в России есть плод всего исторического развития нашей страны и факт совершенно естественный". Работа по ее разрушению и постановка в один ряд с нею других, как равноценных, представляется ему колоссальной растратой исторической энергии населения, которая могла бы пойти на дальнейший рост культуры вообще.

Сколь ни были статьи П. В. Струве необычными для русского "прогрессивного" лагеря, они не указали на самую "интимную" тайну украинского сепаратизма, отличающую его от всех других подобных явлений – на его искусственность, выдуманность.

Гораздо лучше это было видно людям "со стороны", вроде чехов. Крамарж называл его "противоестественным" {212}, а Parlamentar, орган чешских националистов, писал об "искусственном взращивании" украинского национализма {213}. До прихода к власти большевиков он только драпировался в национальную тогу, а на самом деле был авантюрой, заговором кучки маньяков. Не имея за собой и одного процента населения и интеллигенции страны, он выдвигал программу отмежевания от русской культуры, вразрез со всеобщим желанием. Не будучи народен, шел не на гребне волны массового движения, а путем интриг и союза со всеми антидемократическими силами, будь то русский большевизм или австро-польский либо германский нацизм. Радикальная русская интеллигенция никогда не желала замечать этой его реакционности. Она автоматически подводила его под категорию "прогрессивных" явлений, позволив красоваться в числе "национально-освободительных" движений.

Сейчас он держится исключительно благодаря утопической политике большевиков и тех стран, которые видят в нем средство для расчленения России.

Примечания

1 Ю. Щербакивский – "Формация украинської нації", Прага 1942; тоже Нью-Йорк 1958.

2 Д. А. Одинец – "Из истории украинского сепаратизма". "Современные Записки" No. 68.

2а Jan Potocki – "Voyage dans les steppes d'Astrakhan et du Caucase". 1829, Paris. Merlin.

3 Такое толкование принято было М. С. Грушевским. Но чувствуя его неудобство для украинофильства и для всей своей исторической схемы, он, тем не менее, ни к какому другому ясному объяснению не пришел. Уже в 1919 г. в "Короткой Истории Украины", на стр. 3 он пообещал: "А звитки назва України пішла – се потім побачимо". Но ни в этой, ни в других книгах не посвятил нас в результаты "побачення". Один из его последователей и кажется, учеников, Сергей Шелухин, считает все его суждения по этому поводу – "хаосом догадок". См. Сергей Шелухин "Украина – назва нашої землі з найдавніших часів". Прага 1936.

4 Thadeusz Chacki – "O nazwiku Ukrainy i poczetku kozak w" Собр. соч. Варшава, 1843–1845.

5 См. об этом: Кн. А. М. Волконский – "Историческая правда и украинофильская пропаганда". Турин, 1920. – А. Царинный – "Украинское движение; краткий исторический очерк". Берлин, 1925.

5а А. Tarnowsky. Ks. W. Kalinka. Krak w 1887, с.167–170.

6 А. А. Корнилов – "Общественное движение при Александре II". М. 1909, стр. 182.

7 Особенно склонен к этому С. Н. Щеголев, собравший обильный материал в польской публицистике XIX–XX вв. См. его "Современное украинство", 1914, а также, ранее вышедшее "Украинское движение, как современный этап

- южнорусского сепаратизма", Киев 1912.
- 8 А. Ю. З. Р. т. III, No. 369.
- 9 Н. И. Костомаров - "Богдан Хмельницкий, данник оттоманской порты". "Вестник Европы". Том VI. 1878.
- 10 Д. И. Эварницкий - "История Запорожских казаков", Том II, стр. 248. СПб, 1895.
- 11 А. Ю. З. Р. т. III No. 369; Д. Н. Бантыш-Каменский, "История Малой России", т. II, стр. 8.
- 12 "Do Polak w". Перепечатано П. Кулишем в приложении ко II т. его "Истории воссоединения Руси", с редкого издания, вышедшего в Кракове в 1575 г.
- 13 См. Н. И. Костомаров - "Гетман Иван Свирговский", Исторические монографии т. 2, СПб. 1863.
- 14 "Путешествие попа Лукьянова". Цитируется по П. Кулишу - "Польская колонизация юго-западной Руси". "Вестн. Европы" том II. 1874 г.
- 15 Киев, 1957. 16 M. Kostomarov - "Knyhy bytija ukrains'koho narodu", texte publi par E. Borschak avec une introduction et des notes, Paris, 1947. Второе их издание с переводом на французский язык: "Le livre de la genese du peuple ukrainien", par Georges Luciani. Paris, 1956.
- 16а М. Драгоманов - "Великорусский интернационал и польско-украинский вопрос". Казань 1907. стр. 35.
- 17 Стр. 21.
- 18 См. Костомаров - "Богдан Хмельницкий". т I, стр. 320-330. СПб 1859.
- 19 С. М. Соловьев - ""История России". Том XII, стр. 424. М. 1961 г.
- 20 П. Голубовский - "Печенеги, торки, половцы". Киев, 1884.
- 21 См. об этом у П. Кулиша в его "Истории воссоединения Руси" Том I и в "Польской колонизации юго-западной Руси". А также: А. А. Новосельский - "Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века". М.-Л. 1948; G nter St kl. "Die Entstehung des Kosakentums". Isar-Verlag. M nchen, 1953.
- 22 Твори Пантелеймона Кулиша, т. VI, стр. 578 у Львови 1910.
- 23 С. М. Соловьев - "История России". Том X, стр. 438, М. 1961.
- 24 Г. Ф. Миллер. "Рассуждение о запорожцах". Чт. Моск. О-ва Ист. и Др. Росс. 1846 No. 5 стр. 58.
- 25 П. Кулиш - "Польская колонизация юго-западной Руси".
- 26 С. М. Соловьев - Том XV, стр. 180. М. 1962.
- 27 Голубев "П. Могила", т. II, стр. 403-407; М. Грушевский "История Украины-Руси", т. 8, ч. 1, стр. 143-144.
- 28 "Supplementum ad historica Russiae monumenta ex archivis ad bibliotecis extraneis". Petropoli, 1848, 185-187. Н. И. Костомаров - Богдан Хмельницкий т. 1, СПб, 1859, стр. 289.
- 29 Там же, т. II, стр. 9.
- 30 "Воссоединение Украины с Россией. Документы и Материалы", т. III. М. 1954. No. 82.
- 31 Там же, No. 166.
- 32 Статейный список посольства В. В. Бутурлина. См. "Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы", т. III. М. 1954. No. 205.
- 33 Там же.
- 34 Сюжет этот исчерпывающе освещен в работе В. А. Мякотина "Переяславский договор 1654 года". Прага, 1930.
- 35 "Воссоединение Украины с Россией", т. III, No. 82.
- 36 Там же. No. 205, No. 243.
- 37 Эта цитата, приведенная В. А. Мякотиним, в его труде "Очерки сов. истории Украины", взята по-видимому из неопубликованной еще работы Д. М. Оди́нца.
- 38 Акты Южн. и Западн. России, III, No. 369.
- 39 С. М. Соловьев - "История России", т. XI. М. 1961, кн. VI, стр. 116.
- 40 Н. И. Костомаров - "Руина". "Вестн. Европы", т. IV, август 1879 г.
- 41 С. М. Соловьев - "История России", т. XII. М. 1961, кн. VI, стр. 487.
- 42 С. М. Соловьев - "История России", т. XI. М. 1961. кн. VI, стр. 21.
- 43 Русский Биографич. Словарь, т. 23, стр. 145. СПб, 1911.
- 44 Г Карпов. - "Критический обзор разработки главных русских источников до истории Малороссии относящихся". М. 1870, стр. 25.

- 45 С. М. Соловьев - "История России", т. XI. М. 1961, кн. VI, стр. 16.
- 46 Там же, стр. 14.
- 47 Н. И. Костомаров - "Гетманство Выговского". Историч. монографии и исследования, т. II, СПб. 1863, стр. 186.
- 48 Там же, стр. 142.
- 49 С. М. Соловьев - "История России", т. XI. М. 1961, кн. VI, стр. 51.
- 50 С. М. Соловьев - "История России", т. XI, М. 1961, кн. VI, стр. 54.
- 51 Там же, стр. 384.
- 52 Н. И. Костомаров - "Гетман И. С. Мазепа". Русск. История в жизнеописаниях. Вып. VI. СПб. 1876.
- 53 С. М. Соловьев - "История России", т. XIV. М. 1962, кн. VII, стр. 597-598.
- 54 Н. И. Костомаров - "Руина". "Вестн. Европы", т. III, июнь 1879, стр. 449.
- 55 С. М. Соловьев, т. XII, М. 1961, стр. 366.
- 56 Там же, стр. 868.
- 57 С. М. Соловьев, т. XII, стр. 374.
- 58 А. Ефименко - "Малорусское дворянство". "Вестник Европы", т. IV, август 1891. Александра Яковлевна Ефименко создала себе крупное имя в науке и неоднократно чествовалась на ученых съездах. Она открыла на севере России древнюю форму крестьянского хозяйства, так наз. "дворище", а некоторое время спустя, это же явление обнаружила в Белоруссии ("печище"). Ее перу принадлежит ряд ценных работ по русской и по украинской истории. В 1919 г. она была расстреляна петлюровцами за то, что дала у себя приют преследуемому ими человеку. См. ее некролог, написанный С. Ф. Платоновым, в журнале "Дела и Дни", No. 1, 1920.
- 59 С. М. Соловьев - т. XII, стр. 389.
- 60 "Бумаги Императрицы Екатерины II", СПб. 1871, т. I, стр. 389.
- 61 Соловьев - т. XII, стр. 384.
- 62 Н. И. Костомаров - "Гетман Ив. Степ. Мазепа". Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Вып. VI. СПб. 1876.
- 63 С. М. Соловьев. - История России, т. XII, М. 1961, кн. VI, стр. 388.
- 64 С. М. Соловьев, т. XI, М. 1961, кн. VI, стр. 16.
- 65 Там же, т. XII, стр. 371.
- 66 Голиков И. И. - Дополнение к деяниям Петра Великого, т. XV. М. 1795, стр. 216-218.
- 67 Соловьев, т. XII, стр. 370.
- 68 Н. И. Костомаров - "Гетманство Выговского", Истор. монографии и исследования, т. II, СПб. 1863, стр. 142.
- 69 "История о невинном заточения боярина Матвеева". М. 1785, стр. 61.
- 70 "История Русов" - Чтения в Моск. О-ве Истор. и Древностей Российских. No. 4, 1846, стр. 98. 71 Костомаров - "Гетманство Выговского", стр. 142.
- 72 Александер Оглоблин - "Annales de la Petite Russie", Шерера и "История Русов". Научовий Збирник Украинського Вильного Университету. т. V, Мюнхен, 1948.
- 73 Соловьев - т. XIV, стр. 499. М. 1962, кн. VII.
- 74 Том II, стр. 469.
- 75 М. 1951. Учпедгиз. стр. 402.
- 76 Полное Собр. Законов Российской Империи, т. XXI, No. 15.724, стр. 907.
- 77 А. М. Лазаревский. Описание Старой Малороссии, 3 тома. - Его же - Малороссийск. посполитые крестьяне. - Его же - Историч. очерки полтавской Лубенщины. - Его же - Из истории сел и селян Левобережной Малороссии. - А. Я. Ефименко "Малорусское дворянство". Вестник Европы, т. IV, авг. 1891. - А. Романович-Словатинский - "Дворянство в России". Киев 1912 г. - В. А. Мякотин. "Очерки Социальной Истории Украины в XVII-XVIII в.". Прага, 1924-1926. III выпуска. Фрагменты ее печатались в "Русском Богатстве" в 1912 г. No. 8, 10, 11.
- 78 А. Я. Ефименко - Малорусское дворянство. (Вестник Европы, т. IV, авг. 1891, стр. 533).
- 79 А. М. Лазаревский. Очерки малороссийских фамилий. Русский Архив, 1875, кн. 9.
- 80 Ефименко, стр. 532.
- 81 Лазаревский. Русский Архив, 1875, кн. 8, стр. 408.

- 82 А. Я. Ефименко, стр. 543.
- 83 С. М. Соловьев. - Ист. России, М. 1961, т. XII, стр. 356 (кн. VI).
- 84 Проф. Мих. Грушевский. - Иллюстрированная История Украины. СПб 1913, стр. 486.
- 85 "Велика История Украины". Львов - 1948 - Виннипег. Стр. 553.
- 86 "Велика История Украины". Львов - 1948 - Виннипег. Стр. 527.
- 87 Газета "Америка", 12 жовтня 1946 г. Филадельфия.
- 88 Киевская старина 1893, I, 41-76
- 89 Собр. Госуд. Грамот и Договоров, т. III, No. 137.
- 90 Г. Карпов - Критич. обзор разработки главных русских источников до истории Малороссии относящихся. Москва, 1870 г.
- 91 Письмо в редакцию "Вестник Европы", т. IV, авг. 1882 г. Там же Костомаров предостерегает от неосторожного пользования казацкими Летописями, составленными сплошь людьми, занимавшими видные казачьи чины. "Во всех наших летописях, - замечает он, - необходимо пройти руке беспристрастного и добросовестного критика". Это завещание до сих пор не выполнено украинофильской историографией.
- 92 Современному читателю нетрудно заметить сходство этого мотива с пропагандой наших дней, утверждающей, будто Гитлер не утвердился на Волге и не завладел всем миром исключительно по вине самостийнических партизан Бандеры и Бульбы.
- 93 С. М. Соловьев - т. XV, стр. 271. М. 1962.
- 94 Василь Шимко - "Полтавська трагедия" - "Наш Вик" (Our Age). Торонто, 3 вересня (сент.) 1949 г.
- 95 Соловьев - т. XV, стр. 215.
- 96 Соловьев - т. XVI, стр. 592.
- 97 См. Соловьев - т. XV, глава IV.
- 98 К Мазепе пришли в шведский лагерь только сечевики-запорожцы в количестве от 1.500 до 2.000 человек.
- 99 Н. И. Костомаров - "Мазепа". Историч. монография. М. 1883, стр. 446.
- 100 Соловьев - т. XVI, стр. 592.
- 101 Александер Оглоблин - "Les Annales de la Petite Russie" Шерепа и "История Русов". Научовый Збирник Украинського Вильного Университету, т. V. М nchen, 1948.
- 102 С. М. Соловьев - т. XVIII, глава III. Н. И. Костомаров - "Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей". Вып. VI, "Петр Великий". А. М. Лазаревский - Павел Полуботок. Русск. Архив 1880.
- 103 Киевская Старина, 1893, 1, стр. 54.
- 104 А. М. Лазаревский - Отрывки из семейного архива Полетик, Киевская Старина, 1891, No. 4.
- 105 Киевская Старина, 1882, II; 1888, III.
- 106 М. Грушевский - Иллюстрированная История Украины. СПб, 1913. стр. 430.
- 107 Там же, стр. 431.
- 108 А. Н. Пынин - История русской этнографии, т. III, стр. 20. СПб. 1891.
- 109 М. Н. Катков - Передовицы за 1863 г., вып. 1, стр. 276-279, М. 1887.
- 110 "Листы на Наддніпрянську Україну".
- 111 Листы.
- 112 "Русская Старина", 1888, декабрь, стр. 599.
- 113 И. Беккер - Декабристы и польский вопрос. (Вопросы Истории, 1948, No. 3).
- 114 Восстание декабристов. Материалы т. IX, стр. 73, 1950.
- 115 Там же, стр. 72.
- 116 В. И. Семевский - Политические и общественные идеи декабристов. СПб, 1909, стр. 300.
- 117 М. В. Нечкина - Общество Соединенных Славян. ГИЗ 1927. Georges Luciani - La Societ des Slaves Unis. Universit de Bordeaux 1963. На стр. 34 здесь можно прочесть: "Pas un mot, pas une allusion dans leurs declarations, pas un geste de leur comportement de supposer qu'ils aient le moins sympathise avec une forme quelconque de l'ukrainisme".
- 118 В. И. Семевский - Политич. и общ. идеи декабристов. стр. 303.
- 119 Восст. декабристов. Материалы т. IX, стр. 41.

- 120 Там же.
- 121 Киевская Старина, 1903, No. 12, стр. 137; Семевский, стр. 302.
- 122 Восстание декабристов. Материалы т. IX, стр. 189.
- 123 Там же, стр. 40, 62.
- 124 Централархив - Восстание Декабристов. Материалы, т. I, стр. 180.
- 125 С. Н. Щеголев - Украинское движение, как современный этап южнорусского сепаратизма, Киев, 1912, стр. 27.
- 126 "Былое", 1919 г., XIV, стр. 94.
- 127 "Власть и общественность на закате старой России", т. I, стр. 222. Париж, 1936 г.
- 128 М. Драгоманов - "Шевченко, Українофили и социализм". "Громада". No. 4, 1879 г.
- 129 "Основа", 1861 г., IV, стр. 53.
- 130 М. Драгоманов - "Громада" No. 4, 1879 г.
- 131 П. Кулиш - История воссоединения Руси, т. II, стр. 25.
- 132 М. Kostomarow - "Кнyhy bytija ukrainskoho narodu", Paris, 1947.
- 133 Воспоминания о двух малярах. "Основа", 1861 г., IV, стр. 53.
- 134 "Громада" No. 4, 1879.
- 135 Сборник памяти Тараса Шевченко, Киев, 1915. Аналогичные высказывания можно найти в незаконченном романе Костомарова "Паныч Натальч". См.- Georges Luciani: "Le livre de la genese du peuple ukrainien". Paris, 1956, p. 46.
- 136 А. Н. Пыпин - "История Русской Этнографии". т. III, стр. 156-157.
- 137 Автобиография - "Литературное Наследие", СПб, 1890, стр. 28.
- 138 Книги бытия украинского народу.
- 139 А. Пыпин - Некролог Костомарова. Вестн. Европы, май 1885.
- 140 "Две русския народности", Историч. Монографии и исследования, т. I, стр. 229. СПб, 1863.
- 141 Книги бытия.
- 142 "По поводу книги М. О. Карловича", В. Е., т. II, апрель 1885.
- 143 "Вест. Европы", т. 1, февраль 1882.
- 144 Записки о жизни Гоголя, 185, стр. 6.
- 145 "Основа", 1861. Обзор литературы.
- 146 П. Кулиш - "Крашанка".
- 147 Костомаров - "Историческая поэзия", Вестн Европы, т. VI, декабрь 1874.
- 148 Словарь Брокгауза-Эфрона, т. 41, стр. 314.
- 149 "Опыт украинской политико-социальной программы", Женева, 1884. 150 См. его Некролог М. А. Максимовича - "Вестн. Европы", 1874, март.
- 151 Опыт Укр. полит.-соц. программы, стр. 31-32.
- 152 "La litterature oukrainienne proscrite par le Gouvernement Russe". Rapport present au Congres litteraire de Paris (1878) par Michel Dragomanow. Geneve, 1878.
- 153 М. Лемке - "Эпоха Цензурных реформ 1859-1865 годов". СПб., 1904, стр. 302-304. Хрестоматия по истории СССР, т. III, 1952, стр. 157-158.
- 154 М. Драгоманов - Листы на наднипряньску Украину, Киев, 1917, стр. 47.
- 155 Новое Русское Слово, 25 июня 1953. New York.
- 156 М. Грушевский - Иллюстрированная История Украины, стр. 512, СПб. 1913.
- 157 М. П. Драгоманов - "Великорусский Интернационал и польско-украинский вопрос". Казань, 1907, стр. 55.
- 158 Великорусский интернационал, стр. 82-83.
- 159 В. Яновский - "Спогади волонтьора". Литерат.-Науковий Вистник, 1911, VII-VII, стр. 92-93.
- 160 "Великорусский интернационал и польско-украинский вопрос", стр. 61.
- 161 "Свитло", 1912, III, стр. 71; "Последние Новости", 1912, No. 174.
- С. Н. Щеголев - Украинское движение, 1912, стр. 483-84.
- 162 С. Н. Щеголев, - стр. 477.
- 163 Игорь Бутенко - "Что должен знать каждый об украинцах", Мюнхен, 1948 г., стр. 14
- 164 Там же, стр. 15.
- 165 А. Н. Пыпин - "Малорусско-польские отношения", Вестн. Европы, т. I, февраль 1886 г. М. П. Драгоманов - "Шевченко, Українофили и социализм",

- Громада, No. 4, 1879 г.
- 166 "Историчне значиння Унии". "Українські Вести", 15 февр. 1946 г.
- 167 "Литературный сборник" Дедицкого. II-III, стр. 121.
- 168 Иллюстрированная история Украины, СПб., 1913, стр. 507.
- 169 Потрясающую картину австрийских зверств, не уступающих по жестокости гитлеровским, дают 4 выпуска "Талергофского Альманаха", вышедших во Львове между 1924 и 1934 гг. В 1964 г. они переизданы П. С. Гардым под заглавием "Военные преступления Габсбургской монархии 1914 1917 гг. Галицкая Голгофа". Trumbull, Conn., U.S.A.
- 170 Драгоманов - "Листы на Наднипрянскую Украину".
- 171 Там же, стр. 72.
- 172 Журнал "Молодая Украина". См. предисловие Юрия Колларда к новому изданию "Самостийной Украины" Михновского, стр. 8. Видавництво "Український Патриот" 1948.
- 173 Львов, 1944 г.
- 174 Твори Л. Глебова, К. Климовича и В. Шашкевича. Львів, 1911.
- 175 "Українська Хата" 1912, VI, стр. 350.
- 176 Д. Корсаков - Конст. Дмитриевич Кавелин. "Вестн. Евр.", авг 1887.
- 177 Литер. Науковий Вистник, 1898.
- 178 "Дило", 1899. No. 288.
- 179 "Укр. Вестник" No. 2. Перепечатана в сборнике "Освобождение России и украинский вопрос". СПб, 1907.
- 180 С. Н. Щеголев - Украинское движение. Киев 1912, стр. 106.
- 181 Свободное слово Карпатской Руси. No. 9-10, 1965, U.S.A.
- 182 И. Франко - "Молода Украина", стр 37.
- 183 О. Огоновский - История литературы русской, ч. I, Львов, 1887.
- 184 Н. Костомаров - Задачи украинофильства. Вестн. Европы т. I, февраль 1882.
- 185 В частности, от многого, что писал раньше, он отказывается, и многое из прежних высказываний не разделяет.
- 186 М. Драгоманов, Листы на наднипрянску Украину, стр. 63-64.
- 187 Там же.
- 188 С. Тимошенко - Воспоминания, стр. 283-84. Париж 1963.
- 189 Драгоманов - Листы, стр. 62; 67.
- 190 Листы на наднипрянску Украину, стр. 43.
- 191 Воспоминания, стр. 283-84.
- 192 История литературы русской. Написав Омелян Огоновский, ч. I-II, Львів, 1887-1889.
- 193 А. Пыпин - "Особая история русской литературы", Вестн. Европы, т. V, сент. 1890.
- 194 Киев, 1910 г.
- 195 Проф. Михаил Грушевский - Очерк истории украинского народа. Изд. второе, СПб, 1906.
- 196 Иллюстрированная История Украины. СПб, 1913, стр. 312.
- 197 Иллюстр. История Украины, стр. 312.
- 198 Микола Михновский - "Самостийна Украина", стр. 20. Видавництво "Українск. Патриот", 1948 г. Перепечатано с издания 1900 г.
- 199 В. Садовский - Студентське життя у Києві у 1904-1904 роках. Сборник "3 минулого", т. II, 1939, Варшава, стр. 10.
- 200 См. предисловие Ю. Колларда к изданию "Самостийной Украины", 1948 г.
- 201 С. Щеголев, Современное украинство. Киев 1914, стр. 78.
- 202 Українська Хата, 1911. Цитується по С. Н. Щеголеву - Українское Движение, Киев, 1912, стр. 152.
- 203 П. Н. Миллюков - Россия на переломе, т. I, стр 217.
- 204 С. П. Мельгунов - Золотой немецкий ключ большевиков. Париж, 1940, стр. 18.
- 205 Там же, стр. 90-91.
- 206 Сборник статей по славяноведению, 1904.
- 207 См. также "Литературное Наследство", вып. 3, 1932 г.
- 208 "Листы", стр. 80.
- 209 Niederle, L.: "La race Slave". Trad. du cheque. Paris, 1911, p. 58.
- 210 "На разные темы". - Русская Мысль, январь 1911 г. "Общерусская культура и украинский партикуляризм". - Русская Мысль, январь 1912 г.

211 Одна еврейская газета на русском языке, издававшаяся в Киеве, писала, что она отнюдь не противница и не ненавистница малороссов, "но когда Шекспира и Ибсена переводят на мертвое, для оживления измененное профессором Грушевским до неузнаваемости и непонимаемости наречие - это противно. Таких явлений мы, конечно, противники, и будем с ними бороться и будем их высмеивать". ("Южная Копейка", 1911, No. 309. Цитируем по С. Н. Щеголеву, стр. 472).

212 См. интервью д-ра Крамаржа, данное сотруднику "Нового Времени". "Новое время", октябрь 1911. No. 12804. 213 С. Н. Щеголев - Украинское движение 1912, стр. 479.